



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

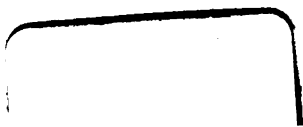
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG Smirnov, I.  
3435  
S55 Zastupniki Narodnye









Ив. Смирновъ.

**ЗАСТУПНИКИ  
НАРОДНЫЕ.**

---

**И. С. Тургеневъ.**

**Н. А. Некрасовъ.**

---

**Москва—1908.**



Смирновъ, Ив.

Ив. Смирновъ.

# ЗАСТУПНИКИ НАРОДНЫЕ.

И. С. Тургеневъ

Н. А. Некрасовъ.



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К<sup>о</sup>. Пименовская ул., соб. д.  
Москва—1908.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе . . . . .

## I.

I. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, какъ авторъ „Записокъ охотника“ . . . . .	3— 13
Глава I. Аннибаловская клятва . . . . .	5— 8.
1. Среди побоевъ и истязаній . . . . .	8— 2
2. Ратники добра . . . . .	28— 42
Глава II. Великая скорбная симфонія русской земли . . . . .	44— 62
Глава III. Старая Русь . . . . .	69—101
1. Господа . . . . .	69— 91
2. Рабы . . . . .	92—101
Глава IV. Сермяжные герои . . . . .	102—177
1. Рационалистъ . . . . .	112—117
2. Богатырь сермяжный . . . . .	118—123
3. Странный старикъ . . . . .	124—133
4. Край родной долготерпѣнья . . . . .	134—146
5. Выходы . . . . .	147—163
6. Горькое время—горькія пѣсни . . . . .	164—177
Заключеніе . . . . .	178—184

## II.

II. Николай Алексѣевичъ Некрасовъ . . . . .	185—273
Глава I. Раненое сердце . . . . .	187—202
1. Тяжелый сонъ . . . . .	188—195
2. Пробужденіе . . . . .	196—202
Глава II. Заступникъ народный . . . . .	203—245
1. Жребій народа . . . . .	207—228
2. Народъ-богатырь . . . . .	229—245
Глава III. Муки больной совѣсти . . . . .	246—261
Глава IV. У великой могилы . . . . .	262—273





То имена великія:  
Носили ихъ, прославили  
Заступники народныя.

27 декабря 1907 года исполнилось тридцать лѣтъ со дня смерти Н. А. Некрасова; 22 августа 1908 года исполняется двадцать пять лѣтъ со дня смерти И. С. Тургенева.

Великой и дорогой памяти ихъ и посвящена эта книга.

Въ „тяжелыя времена“, „въ ночи, когда свободно рыскалъ звѣрь, а человекъ бродилъ пугливо“, вышли эти „ратники добра“ на общественное служеніе, и лучшія волненія души, благороднѣйшія порывы молодой и сильной жизни отдали тому, кого „больная совѣсть“ ихъ назвала „обиженнымъ, униженнымъ“ братомъ,—народу. „Изящная правда“ одного и „тягучій стихъ“ другого одинаково сильно, хотя и своеобразно, втѣснялись въ пробуждавшееся, послѣ „богатырской дремы“, общественное сознание и отдавались въ немъ „святымъ жгучимъ безпокойствомъ“ за жребій народа—раба.

И стали они „заступниками народными“.

„Великое святое дѣло совершилось“... „Дуракъ Иванушка засмѣялся“... Но еще не успѣли исчезнуть въ этомъ смѣхѣ старыя слезы, какъ послышались новыя рыданія: „благодатное время надеждъ“, „къ удовольствію дикихъ невѣждъ“, „обѣтовъ своихъ не сдержало“, и стало „прошедшимъ“ оно прежде, чѣмъ „невольникъ покинулъ тюрьму“...

И чѣмъ ближе къ намъ, тѣмъ все сильнѣе и сильнѣе становились эти рыданія, все громче и громче „раздавался этотъ вой“ народа, освобожденнаго, но не освободившагося и потому несчастнаго...

Печальныя поминки „заступниковъ народныхъ“ совпали съ знаменательнымъ кануномъ пятидесятилѣтія великаго дня свободы. „Надежды“ все еще не свершились... „Среди мрака“, въ „вихрѣ злобы и бѣшенства“ особенно тяжело и грустно думать о великомъ, которое ушло... Но „если нѣтъ величія въ живыхъ, нужны намъ великія могилы“:

И укоръ, и поученье въ нихъ...

И хочется думать, что, на тризнѣ скорбной собравшись дружною семьей, многочисленные ученики и послѣдователи великихъ покойниковъ, по русскому обычаю, помянуть добрымъ словомъ то дѣло, которое сдѣлали руки ихъ, и тотъ трудъ, которымъ трудились они, дѣлая его: въ наши „великіе трудные дни“ такое доброе слово чрезвычайно дорого. Этой-то бесѣдѣ поминальной и хотѣлось бы мнѣ послужить своими литературными очерками.

Я понимаю, задача эта, если бы я взялъ ее въ широкомъ масштабѣ, мнѣ не по силамъ. Но тѣхъ, кто въ „переднемъ углу“ за поминальной трапезой сидитъ и рѣчь о великихъ покойникахъ держитъ, не всегда бываетъ слышно въ концѣ стола, да и рѣчи ихъ высокія не для всѣхъ. Вотъ, думалось мнѣ, здѣсь, въ заднихъ рядахъ пришедшихъ поклониться „великимъ могиламъ“, слушатели найдутся, и у меня есть что имъ сказать: перескажу, какъ умѣю, просто, точно и полно рѣчи тѣхъ, кому они пришл поклониться,—такъ, чтобы свѣтлые образы „заступниковъ народныхъ“ возможно ярче засвѣтились въ ихъ умахъ, чтобы „великая скорбная симфонія“ И. С. Тургенева и „музыка злобы“ Н. А. Некрасова возможно рѣзче зазвучали въ ихъ сердцахъ, чтобы сильныя и благородныя стремленія великихъ „ратниковъ добра“ укрѣпили ихъ, усталыхъ и скорбныхъ, и „на правый наставили путь“.

Вѣрится, что съ такими намѣреніями положенный, не оскорбить этотъ вѣнокъ „великія могилы“. Небольшой и невидный, изъ сѣверныхъ цвѣтовъ Тургенева и „крапивы“ Некрасова сплетенъ онъ... Плели его руки, быть можетъ, и не сильныя, но чистыя, омытыя любовью къ „заступникамъ народнымъ“ и вѣрой въ святое великое дѣло, которому они служили...

Пускай намъ говорить измѣнчивая мода,  
Что тема старая—„страданія народа“  
И что поэзія забыть ее должна,—  
Не вѣрьте, юноши! Не старѣетъ она!  
О, если бы ее могли состарить годы!  
Процвѣлъ бы Божій міръ!.. Увы, пока народы  
Влачатся въ нищету, покорствуя бичамъ,  
Какъ тощія стада по выжженнымъ лугамъ,  
Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза,  
И въ міръ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза!..

I. .

Иванъ Сергѣевичъ

Тургеневъ,

какъ авторъ „Записокъ  
Охотника“.



## ГЛАВА I.

# „Аннибаловская клятва“.

„... крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшилъ бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва“... *И. С. Тургеневъ.*

„Я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ“, говоритъ (въ своей статьѣ „По поводу Отцовъ и Дѣтей“) Тургеневъ и вмѣстѣ съ Гёте оставляетъ слѣдующій завѣтъ своимъ „молодымъ собратьямъ“ по перу:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!  
Ein jeder lebt's—nicht vielen ist's bekannt,  
Und wo ihr's packt—da ist's interessant!

т.-е. (самъ переводить онъ): „Запускайте руку (лучше я не умѣю перевести) внутрь, въ глубину человѣческой жизни! Всякій живетъ ею, не многимъ она знакома, и тамъ, гдѣ вы ее схватите, тамъ будетъ интересно!“ „Силу этого „схватыванія“, этого „уловленія“ жизни,—продолжаетъ Тургеневъ,—даетъ только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя; но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода: воззрѣній и понятій и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе... Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе, и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи“...

Можетъ ли человѣкъ „схватывать“, „уловлять“ то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя?



Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить, какъ заповѣдь, онъ сказалъ: „...дорогою *свободной*

Иди, куда влечетъ тебя *свободный* умъ“.

Итакъ, предъ нами художникъ-реалистъ: „Я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живой правдой людской физиономіи... Люблю больше всего свободу... Все человѣческое мнѣ дорого“... Уже въ концѣ жизни, по поводу обвиненія его въ тенденціозности, Тургеневъ подробно объяснялъ, какъ совершался переводъ этой „уловленной“ „живой правды“ въ художественное созданіе. „У меня выходитъ литературное произведеніе такъ, какъ растетъ трава“.

„Я встрѣчаю, напримѣръ, въ жизни какую-нибудь Оеклу Андреевну, какого-нибудь Петра, и представьте, что вдругъ въ этой Оеклѣ Андреевнѣ, въ этомъ Петрѣ, въ этомъ Иванѣ поражаетъ меня нѣчто особенное—то, чего я не видѣлъ и не слыхалъ отъ другихъ. Я въ него вглядываюсь; на меня онъ или она производитъ особенное впечатлѣніе; вдумываюсь, затѣмъ эта Оекла, этотъ Петръ, этотъ Иванъ удаляются, пропадаютъ неизвѣстно куда, но впечатлѣніе, ими произведенное, остается, зрѣетъ. Я сопоставляю эти лица съ другими лицами, ввожу ихъ въ сферу различныхъ дѣйствій, и вотъ создается у меня цѣлый особый мірокъ... Затѣмъ, нежданно негаданно является потребность изобразить этотъ мірокъ, и я удовлетворяю этой потребности съ удовольствіемъ, съ наслажденіемъ“...

„...Я долженъ сознаться, говорить Тургеневъ въ указанной выше статьѣ, что никогда не покушался „создавать образъ“, если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большой долей свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой бы я могъ твердо ступать ногами“.

Итакъ, безъ обслѣдованія этой почвы, безъ опредѣленія этой среды, безъ историко-біографическихъ справокъ мы не поймемъ Тургенева, не оцѣнимъ основныхъ мотивовъ его поэтическаго творчества, не почувствуемъ всей силы и прелести этой „великой скорбной симфоніи русской земли“ (какъ называетъ Мельхиоръ де Воюэ „Записки Охотника“), о которой мы, словами Тургенева о мелодіи Лемма, можемъ сказать, что русскій человѣкъ

дотолѣ „не слышалъ ничего подобнаго: сладкая страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце: она вся сіяла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотю; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святаго; она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса“. Откуда же она — эта „безсмертная грусть“ великой скорбной симфоніи, которою звучать Тургеневскія творенія?

И приведу по этому вопросу замѣчательный своей глубиной и правдой отвѣтъ Брандеса: „Черезъ всѣ произведенія Тургенева, говоритъ онъ, несется широкая, захватывающая волна меланхолии. Какъ бы правдивы и объективны ни были воспроизведенные имъ образы, и хотя онъ никогда не влагаетъ лиризма въ свои повѣсти и романы, тѣмъ не менѣе въ совокупности его произведенія оставляютъ лирическое впечатлѣніе. Въ нихъ сказалось столько чувства, и это чувство—постоянно печаль, личная, необыкновенная печаль, безъ капли чувствительности. Тургеневъ никогда не отдается весь чувству, онъ обнаруживаетъ его постепенно, но ни одинъ изъ западно-европейскихъ рассказчиковъ не проникнуть въ такой степени печалью, какъ онъ... Меланхолия Тургенева—всецѣло меланхолия славянскаго племени съ его недугами и печальми; она происходитъ по прямой линіи отъ меланхолии славянскихъ народныхъ пѣсенъ“. Эти слова Брандеса доказываютъ замѣчательную чуткость иностраннаго критика: да, Тургеневъ меланхоликъ, и его печаль, его грусть вышли дѣйствительно изъ того же родника, что и тоска и стонъ русской народной пѣсни,—жизнь родила ее, эту „великую скорбную симфонію“, „жизнь невеселая, жизнь одинокая“.

---

## „Среди побоевъ и истязаній“.

О вѣрте мнѣ: не весела  
 Картина русская семья...  
 Семья для насъ всегда была  
 Лихая мачеха—не мать...

*Ап. Григорьевъ.*

Для Тургенева его семья была „лихая мачеха—не мать“, но сама она „мачехой“ и стала оттого, что жизнь ее изломала, искалѣчила, вытравила въ ней гуманныя начала, замѣнивъ ихъ суровой, мрачной, подавляющей лучшіе порывы души человѣческой, борьбой за существованіе. Исторія его матери Варвары Петровны—одна изъ обыкновенныхъ исторій того времени,—тяжелая, скорбная лѣтопись обидъ, оскорбленій, преслѣдованій, нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій... слабой, беззащитной дѣвушки—сироты... Дѣтство и молодость Варвары Петровны прошли при возмутительно тяжелыхъ условіяхъ; а между тѣмъ въ ней текла лутовиновская кровь, тѣхъ Лутовиновыхъ, которые, даже въ то время, необузданностью и неукротимой жестокостью шли далеко впереди другихъ: „А хоть бы, напримѣръ, опять таки скажу про вашего дѣдушку, говорить охотнику однодворецъ Овсянниковъ. Властный былъ человѣкъ! Обижалъ нашего брата. Вѣдь вотъ вы, можетъ, знаете клинъ-то (земли)... Онъ у васъ подъ овсомъ теперь... Ну, вѣдь онъ нашъ,—весь, какъ есть, нашъ. Вашъ дѣдушка у насъ его отнял; выѣхалъ верхомъ, показалъ рукой, говоритъ: „мое владѣніе“, и завладѣлъ“... А когда законный владѣлецъ осмѣлился жаловаться на такой незаконный захватъ, „его взяли, привели къ вашему дому, да подъ окнами и высѣкли“. Таковъ одинъ изъ дѣдовъ И. С. Тургенева, одинъ изъ Лутовиновыхъ. Да и мать Варвары Петровны не отличалась мягкостью характера. Вы помните рассказъ Тургенева „Смерть“. Въ концѣ его онъ рассказываетъ,

какъ при немъ умирала одна старушка-помѣщица. Священникъ сталъ читать надъ ней отходную; да вдругъ замѣтилъ, что больная-то дѣйствительно отходитъ и поскорѣе подалъ ей крестъ. Помѣщица съ неудовольствіемъ отодвинулась. „Куда спѣшишь батюшка“,—проговорила она коснѣющимъ языкомъ:—„успѣешь“... Она приложилась, засунула было руку подъ подушку и испустила послѣдній вздохъ. Подъ подушкой лежалъ цѣлковый: она хотѣла заплатить священнику за свою собственную отходную... Эта старушка-помѣщица—родная бабка Тургенева. О ней же одинъ изъ иностранцевъ передаетъ слѣдующій рассказъ Тургенева. Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличомъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердилась однажды на казачка, который ей прислуживалъ, за какой-то недосмотръ и въ порывѣ гнѣва схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ такъ сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее непріятное впечатлѣніе. Она нагнулась, приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову и, сѣвши на нее, задушила несчастнаго...

Вотъ то тяжелое наслѣдіе отцовъ, которымъ, „едва изъ колыбели“, была богата Варвара Петровна. Человѣкъ, близко знавшій ее и безпристрастный въ своихъ сужденіяхъ о ней, ея воспитанница, г-жа Житова, въ своихъ „Воспоминаніяхъ о семьѣ И. С. Тургенева“ <sup>1)</sup> говоритъ: „Въ Варварѣ Петровнѣ обнаруживались иногда порывы нѣжности, доброты и гуманности, свидѣтельствовавшіе о сердцѣ далеко не безчувственномъ. Ея эгоизмъ, властолюбіе, а подчасъ и злоба развивались вслѣдствіе жестокаго и унизительнаго обращенія съ нею въ дѣтствѣ и юности“...

Эти дѣтство и юность Варвары Петровны такъ изображаются г-жой Житовой. „Овдовѣвши еще почти молодою, мать Варвары Петровны вторично вышла замужъ за Сомова, тоже вдовца и отца двухъ взрослыхъ дочерей. Катерина Ивановна никогда не любила своей дочери отъ перваго брака и сдѣлалась, подъ вліяніемъ своего второго мужа, мачехою для Варвары Петровны и матерью для дѣвицъ Сомовыхъ, ея падчерицъ. Все дѣтство Варвары Петровны было рядомъ униженій и оскорбленій, были случаи даже жестокаго обращенія. Я слышала нѣкоторыя подробности, но рука отказывается повторять всѣ ужасы, которымъ подвергалась она. Сомовъ ее ненавидѣлъ, заставлялъ въ дѣтствѣ подчиняться своимъ капризамъ и капризамъ своихъ дочерей,

<sup>1)</sup> „Вѣстникъ Европы“, 1884, кн. 11 и 12.

билъ ее, всячески унижалъ и, послѣ обильнаго употребленія „ерофеича“ и мятной сладкой водки, на Варварѣ Петровнѣ срывалъ свой буйный хмель. Когда же ей минуло 16 лѣтъ, онъ началъ ее преслѣдовать иначе... Во избѣжаніе позора самаго унижительнаго наказанія за несогласіе на позоръ Варвара Петровна вынуждена была бѣжать изъ дома вотчима. „Пѣшкомъ, полуодѣтая, она прошла верстъ шестьдесятъ и нашла убѣжище въ домѣ родного дяди своего Ивана Ивановича Лутовинова, тогда владѣльца села Спасскаго.

Дядя принялъ ее подъ свою защиту, и, несмотря на требованія матери, не пустилъ ее обратно въ домъ вотчима.

Въ домѣ своего дяди Варвара Петровна отдохнула отъ оскорбленій и жестокостей. Но дядя, хотя и обращался съ нею хорошо, былъ человѣкъ весьма суровый и скупой. Онъ, что называется, держалъ ее въ ежовыхъ рукавицахъ, и она жила почти взаперти въ Спасскомъ. Покоряться его волѣ и причудамъ пришлось Варварѣ Петровнѣ довольно долго. Ей было почти тридцать лѣтъ, когда умеръ Иванъ Ивановичъ Лутовиновъ.

По смерти дяди Варвара Петровна, оставшись единственною наслѣдницею большого состоянія, вздохнула полною грудью свободнаго человѣка и, очевидно, сказала себѣ: теперь я все могу.

Такой сильный характеръ, такой горячій темпераментъ, какъ ея, вырвавшись на просторъ изъ долгихъ тисковъ, могъ легко проявить себя въ тѣхъ порывахъ, въ какихъ онъ и проявился. До сихъ поръ для нея не существовало ни ласки, ни любви, ни свободы; теперь ей досталась въ руки полная власть, и она могла все это имѣть.

Горькія воспоминанія о томъ, что она испытала тогда, прорывались у нея иногда въ разговорѣ.

„Быть сиротою безъ отца и безъ матери тяжело; но быть сиротою при родной матери ужасно; а я это испытала, меня мать ненавидѣла... У меня не было матери; мать была мнѣ какъ мачеха; она была замужемъ; другія дѣти, другія связи, я была одна въ мірѣ“...

По смерти дяди и уже будучи лѣтъ тридцати слишкомъ, Варвара Петровна вышла замужъ за Сергѣя Николаевича Тургенева <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Мой отецъ, человѣкъ еще очень молодой, красивый, женился на ней по расчету,—говоритъ Тургеневъ въ очеркѣ „Первая любовь“.—Она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: непре-

Вышедши замужъ, Варвара Петровна зажила тою широкой барской жизнью, какою живали наши дворяне въ былыя времена. Богатство, красота ея мужа, ея собственный умъ и умѣнье жить привлекли въ ихъ домъ все, что было только знатнаго и богатаго въ Орловской губерніи. Свой оркестръ, свои пѣвчіе, свой театръ съ крѣпостными актерами,—все было въ вѣковомъ Спасскомъ для того, чтобы каждый добивался чести быть тамъ гостемъ.

Послѣ долгихъ страданій и продолжительной неволи сознание собственной силы развило въ Варварѣ Петровнѣ тотъ эгоизмъ и жажду власти, которые такъ многихъ изъ окружающихъ ее заставляли страдать.

Она давала мучительно чувствовать свою власть, тяготѣвшую надъ всѣмъ окружающимъ ее, но при этомъ была даже любима; можно сказать, что ея ласковый взглядъ, ласковое слово осчастливливали тѣхъ, на долю которыхъ они выпадали. Въ ней была смѣсь доброты съ постояннымъ желаніемъ испытывать на всѣхъ покорность ея волѣ; и горько доставалось тѣмъ, кто не безпрекословно повиновался ей.

---

станно волновалась, ревновала, сердилась (ср. въ „Муму“: „День ея *нерадостный и несчастный*, давно прошел“), но не въ присутствіи отца, она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно, отдаленно... Я не видалъ чловѣка болѣе изысканно спокойнаго, самоувѣреннаго и самовластнаго“. Тургеневъ въ откровенной бесѣдѣ съ друзьями называлъ своего отца „великимъ ловцомъ передъ Господомъ“. Поэтическій комментарий къ этой оцѣнкѣ даетъ рассказъ „Первая любовь“: „Размышляя впоследствии о характерѣ моего отца,—говоритъ здѣсь И. С.,—я пришелъ къ тому заключенію, что ему было не до меня и не до семейной жизни; онъ любилъ другое и наслаждался этимъ другимъ вполне. „Самъ бери, что можешь, а въ руки не давай; самому себѣ принадлежать—въ этомъ вся штука жизни“,—сказалъ онъ мнѣ однажды. Въ другой разъ я, въ качествѣ молодого демократа, пустился въ его присутствіи, разсуждать о свободѣ (онъ въ тотъ день былъ, какъ я это называлъ, „добрый“; тогда съ нимъ можно было говорить о чемъ угодно).—Свобода,—повторилъ онъ,—а знаешь ли ты, что можетъ чловѣку дать свобода? — Что?

— Воля, собственная воля, и власть она дастъ, которая лучше свободы. Умѣй хотѣть и будешь свободнымъ, и командовать будешь.

Отецъ мой прежде всего и больше всего хотѣлъ жить—и жить... Быть можетъ, онъ предчувствовалъ, что ему не придется долго пользоваться „штукой“ жизни: онъ умеръ сорока двухъ лѣтъ.

Опредѣляя свои отношенія къ отцу и его къ себѣ, Тургеневъ говоритъ: „Странное вліяніе имѣлъ на меня отецъ—и странныя были наши отношенія. Онъ почти не занимался моимъ воспитаніемъ, но никогда не оскорблялъ меня; онъ уважалъ мою свободу, онъ даже былъ—если такъ можно выразиться, вѣжливъ со мною... только онъ не допускалъ меня до себя“.



Но тѣмъ, кто любилъ ее, кто былъ преданъ ей, доставалось горше всѣхъ. Можно было думать, что она хотѣла выместить на другихъ свое несчастное дѣтство, свою подавленную подъ гнетомъ семейной обстановки молодость и дать другимъ испытать тѣ же страданія, какія сама испытала<sup>1)</sup>. Глубокій трагизмъ слышится въ этомъ признаніи-мольбѣ Варвары Петровны почти наканунѣ смерти: „Ma mère, mes enfants! Pardonnez-moi. Et Vous, Seigneur, pardonnez moi aussi—car l'orgueil, ce pêché mortel fut toujours mon pêché“<sup>2)</sup>.

Варвара Петровна болѣе другихъ дѣтей любла Ивана Сергѣевича—„Ванечку“, своего „Веніамина“, но—„странною любовью“. C'est que Jean c'est mon soleil à moi, пишетъ она въ дневникъ: je ne vois que lui et lorsqu'il s'éclipse, je ne vois plus clair, je ne sais plus, où j'en suis.—Le coeur d'une mère ne se trompe jamais, et Vous savez, Jean, que mon instinct est plus sûr, que ma raison<sup>3)</sup>. Да, это была именно „инстинктивная“ любовь, тѣмъ менѣе разумная, чѣмъ болѣе въ ней было непосредственной силы.

„Тяжело было дѣтство Ивана Сергѣевича, говоритъ—біографъ Тургенева.—Въ груди ребенка билось чуткое впечатлительное сердце, жаждавшее тепла и ласки, а кругомъ ужасный домъ наполненный грозными призраками и, кажется, еще болѣе грозными или равнодушными и забытыми живыми людьми. Здѣсь не понимаютъ стремлений, сродныхъ дѣтской душѣ. Мать не знала дѣтства. Она едва ли не стала помнить себя сиротой, прошла жизнь въ школѣ одиночества и гнета. Трудно было снизойти послѣ такого пути до пристального наблюденія надъ міромъ ребенка, повидимому, малымъ и ограниченнымъ, но для любящаго взора исполненнымъ чарующихъ тайнъ и чудесъ... А между тѣмъ здѣсь развивался и міръ исключительный, міръ будущаго великаго художника, безконечно богатый своеобразными ощущеніями, темными, едва уловимыми намеками, нѣжнѣйшими побѣгами,—всѣмъ, чему суждено впоследствии именоваться гениемъ и творчествомъ. Но здѣсь никого нѣтъ, кто бы даже въ лучшія минуты неясныхъ предчувствій почувялъ грядущую силу.

„Напротивъ. Здѣсь все сдѣлають, чтобы заглушить и искоренить божественную искру... Только чудная сила, породившая величайшаго проповѣдника гуманности и мысли въ царствѣ на-

<sup>1)</sup> „Вѣстникъ Европы“, 1884 г., кн. XI, стр. 74—76.

<sup>2)</sup> Ibid., кн. XII, стр. 629.

<sup>3)</sup> Ibid., кн. XI, стр. 80.

силія и мрака, выведеть къ свѣту свое избранное дѣтище...“<sup>1)</sup>. И видится мнѣ другой, по истинѣ великій, святой образъ матери-страдалницы, вспоминается чудный гимнъ сыновней любви самоотверженной подвижницѣ:

И если я наполнить жизнь борьбою,

говорить Некрасовъ,

За идеаль добра и красоты  
И носить пѣснь, слагаемая мною,  
Живой любви глубокия черты—  
О, мать моя, подвигнуть я тобою,  
Во мнѣ спасла живую душу ты!  
И счастливъ я...

Тургеневъ не былъ счастливъ, потому что не было у него такой матери.

„Мать моя,—разсказывалъ самъ Иванъ Сергѣевичъ,—была женщиной вполне вылившейся въ форму XVIII и первыхъ десятилѣтій XIX в. Пушкина она едва-едва признавала за замѣчательнаго писателя, но литературу русскую далѣе Пушкина положительно не признавала“<sup>2)</sup>. „Она понимала цѣну образованія,—говорить о матери Тургенева Анненковъ,—но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство съ литературами Европы и сближеніе съ передовыми людьми всѣхъ странъ не могло измѣнить коренныхъ понятій русскаго дворянина и притомъ такихъ, какія господствовали въ ея семействѣ изъ рода въ родъ“. „Я постичь не могу,—говорила разъ Варвара Петровна Ивану Сергѣевичу,—какая тебѣ охота быть писателемъ. Дворянское ли это дѣло? Самъ говоришь, что Пушкинымъ не будешь... Ну еще стихи... такіе, какъ его... пожалуй, а писатель! что такое писатель? по-моему *écrivain ou gratte-papier est tout un*. И тотъ, и другой за деньги бумагу мараютъ... Дворянинъ долженъ служить и составить себѣ карьеру и имя службой, а не бумагомараньемъ. Да и кто же читаетъ русскія книги? Опредѣлился бы ты на настоящую службу, получалъ бы чины, а потомъ и женился бы, вѣдь ты теперь можешь одинъ поддержать родъ Тургеневыхъ!“

Иванъ Сергѣевичъ шутками отвѣчалъ на увѣщанія матери, но когда дѣло дошло до женитьбы, онъ громко расхохотался: „Ну, ужъ это, тапан, извини, и не жди—не женюсь!..“

<sup>1)</sup> Ив. Ивановъ. И. С. Тургеневъ, стр. 10—11.

<sup>2)</sup> „Русская Старина“, XL, 202.

„А я такъ вотъ чего не пойму,—продолжалъ Иванъ Сергѣевичъ,—почему ты, шатап, съ такимъ презрѣніемъ говоришь о писателяхъ? было время, что вы всѣ барыни бѣгали за Пушкинымъ—сама ты любила и уважала Жуковскаго!“

— „Ахъ, это совсѣмъ другое дѣло,—Жуковский!.. Какъ было не уважать его—ты знаешь, какъ близокъ былъ онъ ко двору!“

Еще болѣе уяснить воззрѣнія Варвары Петровны на русскую литературу слѣдующее:

Удостоила она, наконецъ, прочесть „Мертвыя души“.

— „Ужасно это смѣшно!—похвалила она по-русски,—mais à vrai dire je n'ai jamais lu rien de plus mauvais genre et de plus inconvenant,“—окончила она по-французски <sup>1)</sup>. Неудивительно, что съ такими литературными взглядами Варвара Петровна, умершая въ 1850 г., т.-е. когда Тургеневъ насчитывалъ семь лѣтъ писательства, по собственному признанію Ивана Сергѣевича, не признавала въ немъ писателя, не читала совершенно ни одной статьи его, ни даже „Записокъ Охотника“, которыя уже были по достоинству оцѣнены критикой и создали Тургеневу почетное положеніе въ средѣ писателей.

Въ дѣлѣ воспитанія Варвара Петровна знала одно педагогическое средство—розгу. „Мнѣ нечѣмъ помянуть своего дѣтства,—съ горечью, съ болью въ сердцѣ признавался впослѣдствіи Тургеневъ,—ни одного свѣтлаго воспоминанія. Въ нашемъ домѣ царила непомѣрная строгость, и матери моей я боялся, какъ огня. Взыскивали съ меня за все, точно съ рекрута Николаевской эпохи. Рѣдкій день проходилъ безъ розгъ, а когда я отваживался спросить, за что меня наказывали, мать категорически заявляла: „тебѣ объ этомъ лучше знать, догадайся“. Разъ <sup>2)</sup> одна приживалка, уже старая, Богъ ее знаетъ, что она за мной подглядѣла, донесла на меня моей матери. Мать безъ всякаго суда и расправы тотчасъ же начала меня сѣчь, — сѣкла собственными руками, и на всѣ мои мольбы сказать, за что меня наказываютъ, приговаривала: „самъ знаешь, самъ долженъ знать, самъ догадайся, за что я сѣку тебя“.

На другой день ребенокъ окончательно отказался угадать свою вину. Тогда наказаніе повторили и обѣщали повторять его до тѣхъ поръ, пока онъ не сознается въ своемъ преступленіи. Мнимый преступникъ пришелъ въ смертный ужасъ. Ему пред-

<sup>1)</sup> Изъ „Воспоминаній“ г-жи Житовой, „Вѣстникъ Европы“, XI, стр. 111—112.

<sup>2)</sup> Разсказъ приводится въ изложеніи г. Иванова. Цит. соч., стр. 11—12.

ставился единственный путь спасенія—бѣгство изъ родного дома. И вотъ какъ онъ самъ въ послѣдствіи описывалъ свое настроеніе. Планъ бѣгства, конечно, приводился въ исполненіе ночью.

„Я уже всталъ. Потихоньку одѣлся и въ потемкахъ пробирался коридоромъ въ сѣни. Не знаю самъ, куда я хотѣлъ бѣжать,—только чувствовалъ, что надо убѣжать и убѣжать такъ, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасеніе. Я крался, какъ воръ, тяжело дыша и вздрагивая. Какъ вдругъ въ коридорѣ появилась зажженная свѣчка, и я къ ужасу моему увидѣлъ, что ко мнѣ кто-то приближается—это былъ нѣмецъ, учитель мой. Онъ поймалъ меня за руку, очень удивился и сталъ меня допрашивать.—Я хочу бѣжать,—сказалъ я и залился слезами.—Какъ, куда бѣжать?—Куда глаза глядятъ.—Зачѣмъ?—А затѣмъ, что меня съкутъ, и я не знаю, за что съкутъ.—Не знаете?—Клянусь Богомъ, не знаю.

„Тутъ добрый старикъ обласкалъ меня, обнялъ и далъ мнѣ слово, что уже больше наказывать меня не будутъ.

„На другой день, утромъ, онъ постучался въ комнату моей матери и о чемъ-то долго съ ней наединѣ бесѣдовалъ. Меня оставили въ покоѣ“. Полонскій, слушая воспоминанія Ивана Сергѣевича, спросилъ: „неужели же отецъ твой никогда не вступался за тебя?“—„Никогда!—отвѣчалъ Иванъ Сергѣевичъ.—Отецъ думалъ, что если меня такъ часто наказываютъ, то не иначе какъ я это вполне заслужилъ...“

Болѣзненно сжималось нѣжное, любящее сердце впечатлительнаго мальчика отъ этой ужасной муштровки; онъ бѣжалъ, невольно, инстинктивно бѣжалъ отъ нея въ другую среду, къ дворнѣ, къ „людямъ“. Какою жестокою ироніей звучитъ это слово „люди“, которымъ называли тѣхъ, кого не хотѣли признавать за человѣка. Но именно здѣсь находилъ затравленный барченокъ искреннее сочувствіе и сердечную ласку; здѣсь „всѣ его любили, всякій въ немъ чуялъ своего и душою былъ преданъ ему“. Когда, уже взрослымъ, Иванъ Сергѣевичъ пріѣзжалъ къ матери, среди дворовыхъ слышалось: „нашъ ангелъ, нашъ заступникъ ѣдетъ!“ Слабый и безправный ребенокъ искалъ себѣ защиты среди тѣхъ, которыхъ его мать называла своими „подданными“. Не судъ ли самой жизни это сближеніе, этотъ союзъ, роковой для крѣпостническаго деспотизма помѣщиковъ?!

Точно крѣпостное право само породило одного изъ гуманнѣйшихъ борцовъ противъ гнета и насилія, клявшагося въ послѣдствіи „аннибаловской клятвой“ и оставшагося ей вѣрнымъ...

Тургеневу суждено было наблюдать послѣдній моментъ вѣкового рабства: оно уже умирало, оно уже разлагалось, но въ ужасной предсмертной агоніи это страшное чудовище дѣлаетъ послѣднее усиліе и своими костлявыми, холодбующими пальцами силится задушить несчастныхъ, обреченныхъ ему, и... многихъ душить... Именно такое впечатлѣніе получаешь, когда читаешь ужасную „семейную хронику“ Тургеневыхъ - Лутовиновыхъ... „Сколько чловѣческихъ заботъ, обмановъ, слезъ, моленій и проклятій оно тяжеловѣсный представитель“ — это вѣковое зло русской жизни, нашедшее себѣ страшный оплотъ въ какой-то нечловѣческой злобѣ Варвары Петровны.

„Никто не могъ равняться съ нею въ искусствѣ оскорблять, унижать, дѣлать несчастнымъ чловѣка, сохраняя приличіе, спокойствіе и свое достоинство“ (Анненковъ). „Достаточно ей было замѣтить въ комъ нибудь изъ прислугъ нѣкоторую самостоятельность, признакъ самолюбія, или сознаніе своей полезности, она всячески старалась того унижить или оскорбить, и если, несмотря на это, тотъ, на кого направлялись ея преслѣдованія, смиренно ихъ выносилъ, то опять попадалъ въ милость; если же нѣтъ, то горько доставалось за непокорность“.

„Въ домѣ даже было техническое названіе для такого рода испытаній, говорили: „барыня теперь придирается къ Ивану Васильеву“, „это было тогда, когда барыня придиралась къ Семену Петрову“ или: „а вотъ увидите, станетъ ужъ барыня придираться къ Петру Иванову—очень смѣло сталъ онъ съ ней говорить“.

Вотъ для примѣра одна изъ многихъ драмъ лутовиновскаго дома въ Спасскомъ въ правдивой передачѣ приѣмной дочери Варвары Петровны, г-жи Житовой <sup>1)</sup>. „Въ то время у всѣхъ богатыхъ помѣщиковъ въ дворнѣ была своя аристократія, семьи которой изъ рода въ родъ были болѣе приближенными къ своимъ господамъ. Такой аристократіи въ тургеневскомъ домѣ было особенно много, а во главѣ ея стояла Агашенька и мужъ ея, Андрей Ивановичъ Поляковъ <sup>2)</sup>, какъ секретарь и главный дворецкій... Всѣ важныя бумаги по имѣніямъ, всѣ билеты и наличныя тургеневскія деньги были всегда подъ сохраненіемъ Андрея Ивановича. На рукахъ же у Агашеньки находились всѣ остальныя богатства Варвары Петровны. Бѣлье, серебро, кружева, сундуки шитья по батисту и канвѣ, плоды трудовъ такъ

<sup>1)</sup> „Воспоминанія“ г-жи Житовой. „Вѣстникъ Европы“, XI, 96.

<sup>2)</sup> „По желанію дѣтей ихъ“ г-жа Житова „дастъ этимъ лицамъ вымышленныя имена“.

называемых кружевницъ и пяличницъ, которыя зимой пряли тальки неимовѣрной тонины, а лѣтомъ вышивали и плели кружева; всѣ брилліанты, жемчугъ, золотыя вещи, сундуки съ шальями, платками, шелковыми матеріями и прочее,—все хранилось подъ надзоромъ честнѣйшей Агафьи Семеновны. Нѣсколько лѣтъ ужъ они состояли при своихъ должностяхъ, когда въ 1842 г. Варварѣ Петровнѣ пришла фантазія сочетать бракомъ своихъ первыхъ по рангу и вѣрнѣйшихъ слугъ. Ни тому, ни другому бракъ этотъ на умъ не приходилъ; нравились ли они другъ другу, этого Варвара Петровна и не потрудилась спросить—она этого пожелала, т.-е. въ переводѣ: приказала, слѣдовательно, и быть тому... Бракъ этотъ, неожиданный и по приказу, оказался весьма счастливымъ. Оба они были умные, добрые и честные люди, и, вѣроятно, эти хорошія качества послужили къ полнѣйшему согласію между ними и повели ихъ къ завидному счастью въ ихъ супружеской жизни.

„Когда у Агашеньки родилась первая дочь, Варвара Петровна очень заботилась о здоровьѣ матери, дала ей время поправиться, не велѣла спѣшить ей возвращаться къ ея обязанностямъ; но лишь только молодая мать появилась передъ своей госпожой, ее встрѣтило неожиданное горе.

„— Какъ я рада, что ты опять при мнѣ,—было первымъ словомъ Варвары Петровны,—безъ тебя все не такъ идетъ, никто мнѣ не угодитъ, и я все недовольна. А теперь выбери себѣ въ деревняхъ любую бабу въ кормилицы своей дѣвчкѣ, и я ее отправлю въ Петровское. При себѣ я ребенка тебѣ держать не позволю; какая ты мнѣ можешь быть слуга съ нею? ты постоянно будешь рваться къ ней, ее надо отдать кормилицѣ, и я объ этомъ распоряджусь.

„Бѣдная мать остолбенѣла при этихъ словахъ, но возразить не дерзнула, да и смѣлъ ли кто возражать? Приговоры Варвары Петровны были безапелляціонны.

„Распоряженіе отправить ребенка съ кормилицей въ ближайшую деревню было сдѣлано, но не исполнено. Къ счастью, а главное къ чести всей многочисленной дворни Варвары Петровны, въ ней не было наушниковъ. Многое творилось не такъ, какъ она велѣла, многое отъ нея скрывалось, и не было случая, чтобы кто-либо донесъ ей о томъ, что могло вызвать ея гнѣвъ.

„Такъ и на этотъ разъ: ребенокъ Агафьи Семеновны въ деревню отправленъ не былъ, и мать, находясь при барынѣ и день и ночь, сама кормила потихоньку свою дѣвочку. Днемъ ее при-



носили окольными путями черезъ садъ во флигель, а ночью ее держали въ пристройкѣ, отдѣлявшейся довольно большими сѣнями отъ дома, такъ что при растворенныхъ дверяхъ и окнахъ крики ребенка Варвара Петровна слышать не могла.

„И вотъ такимъ-то образомъ, постоянно въ страхѣ и трепетѣ, когда на крыльцѣ, когда подъ дождемъ или на холодѣ, пришлось бѣдной Агафѣ выкормить троихъ дѣтей. Для старшихъ Варвара Петровна дала няньку, а меньшого постоянно приказывала отдавать любой крестьянкѣ на прокормленіе. Несчастныя малютки бывали больны, оставались въ чужихъ рукахъ, а бѣдная мать могла ихъ видѣть только два раза въ день, когда отпускаясь обѣдать, ужинать или пить чай. И теперь живо передъ моими глазами лицо моей дорогой Агашеньки въ эти ужасные годы ея жизни. Сколько разъ я видѣла ея прекрасные, выразительные глаза, устремленные не то съ мольбой, не то съ укоромъ на иконы.—За что, за что?—казалось, хотѣли произнести ея крѣпко сжатые губы.

„Но одна изъ ужаснѣйшихъ драмъ въ ея многострадальной жизни произошла послѣ рожденія ея третьей дочери.

„Въ декабрѣ въ этотъ годъ Варвара Петровна выѣхала изъ Спасскаго въ Москву. Агафья Семеновна должна была послѣдовать за ней недѣли черезъ двѣ, при этомъ отданъ былъ строгій приказъ устроить дѣтей въ Спасскомъ и съ собой никого не привозить. Но наболѣвшее сердце бѣдной матери не могло перенести уже разлуку съ такими крошечными дѣтьми. Въ отчаяніи своемъ она рѣшила уже больше ничего не скрывать, не обманывать барыню, а взять съ собой дѣтей и открыто въ этомъ признаться Варварѣ Петровнѣ.

„Зимою въ декабрьскіе морозы привезла она ихъ и поздно вечеромъ подѣхала къ московскому дому Тургеневыхъ.

„Варварѣ Петровнѣ пришли доложить:—обозъ пріѣхалъ изъ Спасскаго.

„— А Агафья?

„— Пріѣхала-съ,—былъ краткій отвѣтъ.

„— Скажи ей, пусть отдохнетъ, а завтра утромъ чтобы къ моему одѣванію пришла.

„На другой день утромъ, когда Варвара Петровна позвонила, на звонокъ ея вышла Агашенька.

„Никогда не видала я на ней ни прежде, ни послѣ такого суроваго, рѣшительнаго лица, когда она, поцѣловавъ у барыни руку, отошла на нѣсколько шаговъ отъ ея постели.

„— Ну, что, какъ пріѣхала?—спросила Варвара Петровна.

„Агашенька молча подала реестръ всѣхъ прошивокъ, кружевъ и всего сработаннаго въ этотъ годъ плячницами и кружевницами.

„Варвара Петровна посмотрѣла, положила бумагу на столъ.

„— Хорошо, ступай!—и взяла чашку въ руки.

„Агафья сдѣлала нѣсколько шаговъ и остановилась у двери.

„— Ступай,—повторила Варвара Петровна,—я позову.

„— Сударыня,—произнесла Агафья, и голосъ ея дрогнулъ, она тяжело дышала.

„— Что тебѣ?—досадливо вскрикнула Варвара Петровна.

„— Варвара Петровна!—продолжала Агафья болѣе твердымъ, почти грубымъ голосомъ:—я привезла съ собою всѣхъ своихъ дѣтей... воля ваша... я не могла...

„— Какихъ дѣтей? Что ты мнѣ сказала?

„— Сударыня!—вскрикнула Агашенька и бросилась на колѣни,—ради самого Бога, позвольте мнѣ ихъ оставить здѣсь; я вамъ буду служить, какъ служила, день и ночь буду при васъ, только оставьте... чтобы я только знала, что они тутъ...

„— Вонъ!—раздался голосъ Варвары Петровны.

„— Воля ваша, я не уйду, дѣлайте со мною, что хотите, Варвара Петровна! у васъ у самихъ были дѣти маленькія, могутъ ли они безъ матери? Бога ради, одной вашей милостыни прошу, не отнимайте у меня дѣтей!—И бѣдная женщина на колѣняхъ поползла къ постели барыни.

„— Вонъ!—былъ ей отвѣтъ.

„— ...Я все могу съ тобою сдѣлать, я тебя на поселенье сошлю, дѣтей твоихъ я сейчасъ въ воспитательный домъ отправлю!—слышалось изъ спальни.

„— Хоть въ Сибирь, хоть на поселенье, а съ дѣтьми... дѣтей нельзя... я не дамъ дѣтей!—уже какъ-то безсвязно лепетала Агафья, все стоя на колѣняхъ.

„Варвара Петровна сильно позвонила и закричала: — дѣвушки!

„На зовъ ея вошли двѣ горничныя.

„— Возьмите ее, выведите ее, тащите!—приказывала барыня.

„Но въ эту минуту Агафья уже ничего не сознавала, она была точно въ изступленіи. Горничныя взяли ее подъ руки, но она быстро встала на ноги, рванулась отъ нихъ, и за рыданіями и за движеніемъ горничныхъ я разслыхала только слова:—звѣри... и тѣ своихъ дѣтей...

„— Молчать!—крикнула Варвара Петровна,—я тебя въ часть везу отправить, ты у меня въ острогѣ сгниешь.

„— Куда хотите, а я ихъ лучше задушу своими руками, а не отдамъ,—что имъ безъ матери...

„— Въ часть, въ часть, вонъ!—почти съ пѣной у рта кричала Варвара Петровна.—Что же вы?..—Агафья все стояла, а призванныя горничныя точно окаменѣли.

„— Агафья Семеновна, пойдѣмте,—шепнула одна изъ нихъ.

„Несчастливая женщина сдѣлала шагъ къ двери, но вдругъ опять повернулась лицомъ къ барынѣ; на ея добромъ лицѣ, на ея прекрасныхъ глазахъ сверкнула злоба и раздался уже опять звенящій твердый голосъ:

„— Были мы вамъ, сударыня, съ мужемъ вѣрные, усердные слуги, а теперь изъ-подъ палки мы не слуги!..

„Тутъ я увидала ужасную сцену: Варвара Петровна захрипѣла, бросилась съ постели, одной рукой схватила Агафью за горло, а другою точно силилась разорвать ей ротъ... съ ней сдѣлался нервный припадокъ... Успокоившись, барыня велѣла позвать конторщика и отдала ему слѣдующій приказъ: „Сегодня же на подводахъ, пріѣхавшихъ вчера изъ Спасскаго, отправить обратно въ Спасское Агашкиныхъ трехъ дѣтей“. Къ счастью, онъ не былъ исполненъ“ <sup>1)</sup>.

Такъ „счастливая, невозвратимая (для многихъ) пора дѣтства“ прошла для Тургенева въ постоянномъ трепетаніи его чуткаго, нѣжнаго сердца, среди мучительно-тяжелыхъ вопросовъ и думъ, на которые такъ грубо наталкивала его ужасная дѣйствительность. Много въ ней непонятнаго ребенку. Его умственный кругозоръ еще слишкомъ малъ и тѣсенъ, онъ не можетъ уловить идею факта, установить причинную связь между явленіями. Но факты у него постоянно на глазахъ, и непроизвольно чертится въ его душѣ страшный своею запутанностью узоръ жизни... Ребенокъ растетъ, мысль его крѣпнеть, и пережитое поднимается въ разсвѣтающемъ сознаніи, точно ужасный призракъ, во всей своей холодящей осязаемости. А „кто знаетъ, (скажемъ словами Гончарова, по поводу воспитанія Ильи Ильича Обломова), какъ рано начинается развитіе умственнаго зерна въ дѣтскомъ мозгу? Какъ услѣдить за рожденіемъ въ младенческой душѣ первыхъ понятій и впечатлѣній? Можетъ быть, дитя, когда еще едва выговаривало слова, а можетъ быть—еще вовсе не

1) „Вѣстникъ Европы“, 1884 г., кн. XI, стр. 87—93.

выговаривало, даже не ходило, а только смотрѣло на все тѣмъ пристальнымъ, нѣмымъ дѣтскимъ взглядомъ, который взрослые называютъ тупымъ, оно уже видѣло и угадывало значеніе и связь явленій окружающей его среды, да только не признавалось въ этомъ ни себѣ, ни другимъ... Дѣтскій умъ наблюдаетъ всѣ совершающіяся предъ нимъ явленія; они западаютъ глубоко въ душу его, потомъ растутъ и зрѣютъ вмѣстѣ съ нимъ". Вы помните Костю въ „Бѣжиномъ лугѣ“—мальчика лѣтъ 10-ти съ „задумчивымъ и печальнымъ взоромъ“? Въ этомъ проникновенномъ воссозданіи дѣтскаго характера есть несомнѣнно родныя, созвучныя, съ дѣтства знакомыя автору, ноты и настроенія. Прислушайтесь внимательно къ его рѣчамъ, взгляните попристальнѣе въ его не по-дѣтски серьезное, печальное личико, и вамъ станетъ понятно сдѣланное мною сближеніе...

„Годы проходятъ, лучшіе годы“, и безотчетная истома любящаго сердца, неясная тревога и грусть дѣтской души мало-помалу освѣщаются для будущаго писателя свѣтлой, чрезвычайно напряженно работающей мыслью. И подъ ея тревожно-пытливымъ анализомъ открываются уму даровитаго мальчика не только отдѣльныя подробности окружающей его жизни въ страшныхъ фигурахъ забытыхъ, засѣченныхъ, сосланныхъ изъ-за „причудъ“ „скупой и скучающей“ барыни-матери, у которой рѣдкія вспышки веселья—„веселые часы“—смѣнялись „мрачнымъ и кислымъ расположеніемъ духа“<sup>1)</sup>,—все понятнѣе становится ему самый укладъ жизни, общій строй ея, тотъ самый, о которомъ его мать такъ рѣшительно говорила одному изъ провинившихся: „...Въ своихъ *подданныхъ* я властна, и никому за нихъ не отвѣчаю... Такъ я до тебя жила и послѣ тебя я такъ жить буду“... Въ безумномъ упоеніи своей властью, которой измѣрялись для нея и правда и добро, мать Ивана Сергѣевича не считала нужнымъ что-либо скрывать отъ дѣтей, и зло и неправда отцовъ проходили предъ нимъ въ цѣломъ рядѣ загубленныхъ жизней, никому ненужныхъ страданій. „Мнѣ случалось видѣть,—вспоминалъ Иванъ Сергѣевичъ,—какъ къ матери, сидѣвшей у окна, подходили, понуря голову, ссылаемые ею дворовые за какую-нибудь провинность и обязанные передъ отъѣздомъ явиться на поклонъ къ барынѣ“. „Громадный старинный домъ Тургеневыхъ въ сорокъ комнатъ

<sup>1)</sup> Ср. разск. „Муму“. Прототипъ „барыни-вдовы“—Варвара Петровна Г-жа Житова въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ („Вѣстникъ Европы“, кн. XI, стр. 119—123) подробно излагаетъ „печальную драму“ „нѣмого Андрея“, которая художественно воссоздана Тургеневымъ въ разсказѣ „Муму“.

представлялъ изъ себя гнѣздо всевозможныхъ нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій,—говоритъ г. Ивановъ.—Здѣсь ни во что ставили человѣческія слезы и человѣческое счастье. Разбить дорогое чувство, однимъ жестомъ разрушить надежду всей жизни, однимъ капризомъ обездолить цѣлую семью казалось своего рода праздникомъ, торжествомъ власти... Сколько совершалось здѣсь драмъ день за днемъ, никѣмъ низримыхъ, никому невѣдомыхъ!.. Незримыхъ и невѣдомыхъ многіе годы; но настало время, явился и въ этомъ мірѣ человѣкъ, собравшій и взвѣсившій капли непризнанныхъ слезъ“... <sup>1)</sup> „Сквозь созданную его матерью среду „побоевъ и истязаній“ Тургеневъ пронесъ невредимо свою мягкую душу, въ которой именно зрѣлище неистовствъ помѣщичьей власти, задолго еще до теоретическихъ воздѣйствій, подготовило протестъ противъ крѣпостного права“ <sup>2)</sup>. „До „Записокъ Охотника“ было далеко,—говоритъ самъ Тургеневъ.—Я былъ просто мальчикъ—чуть не дитя“. Но „ненависть къ крѣпостному праву уже тогда жила во мнѣ; она, между прочимъ, была причиной тому, что я, возросшій среди побоевъ и истязаній, не осквернилъ руки своей ни однимъ ударомъ“ <sup>3)</sup>. Вотъ одна—и, конечно, не единственная—картинка, нарисованная самимъ писателемъ и освѣщающая для насъ тотъ путь, идя по которому Тургеневъ научился сознательно ненавидѣть господъ и братской любовью полюбить рабовъ.

Тургеневу было двѣнадцать лѣтъ. „Однажды,—рассказываетъ Тургеневъ (отъ имени „Петра Петровича Б.“ въ рассказѣ Пунинъ и Бабуринъ),—бабушка <sup>4)</sup> отправилась въ садъ и меня съ собой взяла. Всюду, между деревьевъ по луговинамъ, мелькали бѣлыя, красныя, сизыя рубахи; всюду слышался скрежетъ и лязгъ скребущихъ лопатъ, глухой стукъ земляныхъ комьевъ о косо поставленныя сита. Проходя мимо рабочихъ, бабушка своимъ орлинымъ окомъ тотчасъ замѣтила, что одинъ изъ нихъ усердствовалъ меньше прочихъ и шапку снялъ какъ будто нехотя. Это былъ очень еще молодой парень, съ испытнымъ лицомъ и впа-

<sup>1)</sup> Цит. соч., стр. 9—10.

<sup>2)</sup> Слова С. А. Венгерова. Ст. И. С. Тургеневъ въ Энциклоп. Словарѣ Брокг.-Ефр. 67 полут. ср. ст. И. С. Тургеневъ, какъ авторъ „Записокъ охотника“ въ сборникѣ „Главные дѣятели освобожденія крестьянъ“. Изд. Брокгауза-Ефрона, 1903.

<sup>3)</sup> Изъ письма Тургенева къ С. А. Венгерову; приведено въ его „Критико-біографическомъ этюдѣ“: И. С. Тургеневъ, стр. 99.

<sup>4)</sup> „Строгая и гнѣвная бабушка“, выведенная въ этомъ рассказѣ,—мать Тургенева.

лыми, тусклыми глазами. Нанковый кафтанъ, весь порванный и заплатанный, едва держался на узкихъ его плечахъ.

— Кто это?—спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочкахъ выступавшаго за нею слѣдомъ.

— Вы... про кого... изволите...—залепеталъ было Филиппычъ (старый лакей).

— О, дуракъ! Я про этого говорю, что волкомъ на меня посмотрѣлъ. Вонъ стоитъ—не работаетъ.

— Этогь-съ! Да-съ... Э... э... это Ермиль, Павла Аѳанасьева покойнаго сынокъ.

Этотъ Павелъ Аѳанасьевъ былъ, лѣтъ десять тому назадъ, мажордомомъ у бабушки и пользовался особеннымъ ея расположеніемъ; но, внезапно впавъ въ немилость, такъ же внезапно превратился въ скотника, да и въ скотникахъ не удержался, покотился дальше, кубаремъ, очутился, наконецъ, въ курной избѣ заглазной деревни на пудѣ муки мѣсячины и умеръ отъ паралича, оставивъ семью въ крайней бѣдности.

— Ага!—промолвила бабушка;—яблоко, видно, недалеко отъ яблони падаетъ. Ну, придется распорядиться и съ этимъ. Мнѣ такихъ, что исподлобья смотреть, не надобно.

Бабушка вернулась домой—и распорядилась. Часа черезъ три Ермила, совершенно „снаряженнаго“, привели подъ окно ея кабинета. Несчастный мальчикъ отправлялся на поселеніе; за оградой, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, виднѣлась крестьянская телѣженка, нагруженная его бѣднымъ скарбомъ. Такія были тогда времена! Ермиль стоялъ безъ шапки, понутивъ голову, босой, закинувъ за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное къ барскому дому, не выражало ни отчаянія, ни скорби, ни даже изумленія; тупая усмѣшка застыла на безцвѣтныхъ губахъ; глаза, сухіе и съжатые, глядѣли упорно въ землю. Бабушкѣ доложили о немъ. Она встала съ дивана, подошла, чуть шумя шелковымъ платьемъ, къ окну кабинета и, приложивъ къ переносицѣ золотой двойной лорнетъ, посмотрѣла на новаго ссыльнаго. Въ кабинетѣ, кромѣ ея, находились въ эту минуту четыре чело-вѣка: дворецкій, Бабуринъ (конторщикъ), дневальный казачокъ и я.

Бабушка качнула головой сверху внизъ.

— Сударыня,—раздался вдругъ хриплый, почти сдавленный голосъ. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснѣло... покраснѣло до темноты; подъ насупленными бровями появились маленькія, свѣтлыя, острыя точки... Не было сомнѣнія: это онъ, это Бабуринъ произнесъ слово: „Сударыня!“

Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнетъ съ Ермила на Бабурина.

— Кто тутъ... говорить?—произнесла она медленно, въ носъ. Бабуринъ слегка выступилъ впередъ.

— Сударыня,—началь онъ:—это я... рѣшилъ. Я полагаю... Я осмѣливаюсь доложить, что вы напрасно изволите поступать такъ... какъ вы сейчасъ поступить изволили.

— То-есть?—повторила бабушка тѣмъ же голосомъ и не отводя лорнета.

— Я имѣю честь...—продолжалъ Бабуринъ отчетливо; хотя съ видимымъ трудомъ выговаривая каждое слово:—я изъясняюсь насчетъ этого парня, что ссылается на поселеніе... безъ всякой съ его стороны вины. Такія распоряженія, смѣю доложить, ведутъ лишь къ неудовольствіямъ... и къ другимъ—чего Боже сохрани!—послѣдствіямъ и суть не что иное, какъ превышеніе данной господамъ помѣщикамъ власти.

— Ты... гдѣ учился?—спросила бабушка послѣ нѣкотораго молчанія и опустивъ лорнетъ.

Бабуринъ изумился.—Чего изволите-съ?—пробормоталъ онъ.

— Я спрашиваю тебя: гдѣ ты учился? Ты такія мудренныя слова употребляешь.

— Я... воспитаніе мое...—началь было Бабуринъ.

Бабушка презрительно пожала плечомъ.—Стало быть,—перебила она,—тебѣ мои распоряженія не нравятся. Это мнѣ совершенно все равно—въ своихъ подданныхъ я властна, и никому за нихъ не отвѣчаю,—только я не привыкла, чтобы въ моемъ присутствіи разсуждали и не въ свое дѣло мѣшались. Мнѣ ученые филантропы изъ разночинцевъ не надобны; мнѣ слуги надобны безотвѣтные. Такъ я до тебя жила и послѣ тебя я такъ жить буду. Ты мнѣ не годишься: ты уволенъ. Николай Антоновъ,—обратилась бабушка къ дворецкому,—разсчитай этого человѣка; чтобы сегодня же къ обѣду его здѣсь не было! Слышишь? Не вводи меня въ гнѣвъ. Да и другого, того... дурака-приживальщика съ нимъ отправить. Чего жъ Ермилка ждетъ?—прибавила она, снова глянувъ въ окно.—Я его осмотрѣла. Ну, чего еще?—Бабушка махнула платкомъ въ направленіи окна, какъ бы прогоняя докучливую муху. Потомъ она сѣла на кресло и, обернувшись къ намъ, промолвила угрюмо:—Ступайте всѣ люди вонъ!

Всѣ мы удалились, всѣ, кромѣ казачка-дневальнаго, къ которому слова бабушки не относились, потому что онъ не былъ „человѣкомъ“.

Приказъ бабушки былъ исполненъ въ точности. Къ обѣду и Бабуринъ и другъ мой Пунинъ выѣхали изъ усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо дѣтское отчаяніе. Оно было такъ сильно, что заглушало даже то чувство благоговѣйнаго удивленія, которое внушила мнѣ смѣлая выходка республиканца Бабурина. Послѣ разговора съ бабушкой, онъ тотчасъ отправился къ себѣ въ комнату и началъ укладываться. Меня онъ не удостоивалъ ни словомъ, ни взглядомъ, хотя я все время вертѣлся около него, то-есть, въ сущности,—около Пунина. Этотъ совсѣмъ потерялся и тоже ничего не говорилъ, зато безпрестанно взглядывалъ на меня, и въ глазахъ его стояли слезы... все однѣ и тѣ же слезы: онѣ не проливались и не высыхали. Онъ не смѣлъ осуждать своего „благодѣтеля“,—Парамонъ Семеновичъ не могъ ни въ чемъ ошибиться,—но очень было ему томно и грустно. Мы съ Пунинымъ попытались было прочесть на прощанье нѣчто изъ „Россиады“; мы даже заперлись для этого въ чуланъ,—нечего было думать идти въ садъ,—но на первомъ же стихѣ запнулись оба, и я разревѣлся, какъ теленокъ, несмотря на мои двѣнадцать лѣтъ и претензіи быть большимъ. Уже сидя въ тарантасѣ, Бабуринъ обратился, наконецъ, ко мнѣ и, нѣсколько смягчивъ обычную строгость своего лица, промолвилъ: „Урокъ вамъ, молодой господинъ: помните нынѣшнее происшествіе и, когда вырастите, постарайтесь прекратить таковыя несправедливости. Сердце у васъ доброе, характеръ еще неспорченный.. Смотрите, берегитесь: этакъ вѣдь нельзя!“ Сквозь слезы, обильно струившіяся по моему носу, по губамъ, по подбородку, я пролепеталъ, что буду... буду помнить, что обѣщаюсь... сдѣлаю... непремѣнно... непремѣнно... <sup>1)</sup>).

Но тутъ на Пунина, съ которымъ мы передъ тѣмъ раздвѣдцать обнялись—(мои щеки горѣли отъ прикосновенія его небритой бороды, и весь я былъ пропитанъ его запахомъ)—тутъ на Пунина нашло внезапное изступленіе! Онъ вскочилъ на сидѣнье тарантаса, поднялъ обѣ руки кверху и началъ громовымъ голосомъ (откуда онъ у него взялся!) декламировать извѣстное переложеніе Давидова псалма Державинымъ:

Возсталъ Всесильный Богъ, да судить  
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ!..  
Доколь вамъ, рекъ, доколь вамъ будетъ

---

<sup>1)</sup> Начальный моментъ „Аннибаловской клятвы“ И. С. Тургенева. О ней рѣчь ниже.



Щадить неправедныхъ и злыхъ?  
Вашъ долгъ есть сохранять законы...

— Сядь!—сказаль ему Бабуринъ.

Пунинъ сѣлъ, но продолжалъ:

Вашъ долгъ спасать отъ бѣдъ невинныхъ,  
Несчастливымъ подать покровъ,  
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ...

Пунинъ при словѣ „сильныхъ“—указаль пальцемъ на барскій домъ, а потомъ ткнулъ имъ въ спину сидѣвшаго на козлахъ кучера:

Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ!  
Не вмешуютъ! Видять и не знаютъ...

Прибѣжавшій изъ барскаго дома Николай Антоновъ закричалъ во все горло кучеру: „Пошелъ! ворона! пошелъ, не зѣвай!“ и тарантасъ покотился. Только издали еще слышалось:

Воскресни Боже, Боже правый!..  
Приди, суди, карай лукавыхъ—  
И будь одинъ Царемъ земли!

Въ тотъ же день, узнавъ, что Ермилъ находится еще на деревнѣ и только на другое утро рано препровождается въ городъ, для исполненія извѣстныхъ законныхъ формальностей, которыя, имѣя цѣлью ограничить произволъ помѣщиковъ, служили только источникомъ добавочныхъ доходовъ для предержавшихъ властей,— въ тотъ же день я отыскалъ его и, за неимѣниемъ собственныхъ денегъ, вручилъ ему узелокъ, въ который увязаль два носовыхъ платка, пару стоптанныхъ башмаковъ, гребенку, старую ночную рубашку и совѣзмъ новенькій шелковый галстукъ...

Бабушка, которая почему-то оставляла меня въ покоѣ весь этотъ памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я сталъ послѣ ужина съ ней прощаться.

— У васъ глаза красны,—замѣтила она мнѣ по-французски:— и отъ васъ избою пахнетъ. Не буду входить въ разбирательство вашихъ чувствъ и вашихъ занятій,— я не желала бы быть вынужденной наказывать васъ; но надѣюсь, что вы оставите всѣ ваши глупости и будете снова вести себя, какъ прилично благородному мальчику. Впрочемъ, мы теперь скоро вернемся въ Москву, и я возьму для васъ гувернера, такъ какъ я вижу, чтобы справиться съ вами, нужна мужская рука. Ступайте“.

Но „глупости“, чѣмъ дальше, становились осмысленнѣе и серьезнѣе, и „мужской рукѣ“ наемнаго гувернера оказалось не подъ силу „справиться“ съ ними.

Такъ, къ Ивану Сергѣевичу вполне приложимы слова Достоевскаго, сказанныя имъ о Некрасовѣ: „это было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда незаживавшая рана его и была началомъ и источникомъ всей... поэзіи его потомъ на всю жизнь“. „Великая скорбная симфонія“ звучитъ не только въ „Запискахъ Охотника“, болѣзненно-лобзающіе звуки доминируютъ въ творествѣ Ивана Сергѣевича отъ начала до того поистинѣ святого конца, когда „одинокій аки перстъ“, „не будучи въ состояніи ни ходить, ни стоять, ни ѣздить“, точно „устрица или моллюскъ“, въ непрерывной страшной агоніи, но еще „ближе принимая къ сердцу“ людскія страданія“, — Иванъ Сергѣевичъ на краю могилы посылаетъ послѣдній завѣтъ людямъ: „Живите и любите людей, какъ я ихъ всегда любилъ“. Да, это было въ самомъ началѣ жизни раненое сердце и такъ глубоко, что рана не зажила до самой смерти: „Горе сердцу, не любившему смолоду!“

---

## II.

### „Ратники добра“.

„Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра“.

*Н. В. Гоголь.*

Съ годами, по мѣрѣ того какъ крѣпла и развивалась мысль и изъ неясныхъ, но сильныхъ дѣтскихъ порывовъ и волненій слагалось опредѣленное міровоззрѣніе, Тургеневъ начинаетъ понимать безусловную неизбѣжность „отторженія отъ родной почвы, насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣпившихъ его къ тому быту, среди котораго онъ выросъ... Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная—не представляла ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротивъ: почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія—отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я другого пути передъ собой не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера <sup>1)</sup>). Мнѣ

<sup>1)</sup> Ср. слова г-жи Житовой („Вѣстникъ Европы“, кн. XII, 584). Указывая на то, что въ присутствіи сына Варвара Петровна „точно перерождалась, она, не боявшаяся никого, не измѣнявшая себя ни для кого, при немъ ста-

необходимо нужно было удалиться от моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшилъ бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва<sup>1)</sup>. Тургеневъ дѣйствительно „удалился отъ своего врага“ на европейскій Западъ и „удалился именно для того, чтобы сильнѣе напасть на него“.

Тургеневъ былъ не первый и не единственный въ русскомъ обществѣ „западникъ“. „Западничество“ было для Тургенева, какъ и для многихъ даровитыхъ его сверстниковъ, естественнымъ результатомъ стремленія найти выходъ изъ того мрачнаго и крайне тяжелаго состоянія, въ которомъ находилась тогда Россія. „Тяжелыя тогда стояли времена,—вспоминаетъ Тургеневъ.— Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ тебѣ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть, даже тебѣ пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя и унижительныя объясненія, оправданія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... На улицѣ попадалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генераль, и даже не начальникъ, а такъ просто генераль, оборвалъ или, что еще хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ, какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятя слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ сведенныхъ на трехсотенный комплектъ, поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча виситъ надъ всѣмъ такъ называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ

---

ралась показать себя доброй и снисходительной“, — г-жа Житова говоритъ (по поводу отъѣзда И. С—ча за границу въ 1846 г.): „И онъ, и всѣ мы вполне сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только рѣдкостью и краткостью свиданій съ сыномъ. Останься онъ при ней, она бы не выдержала долго, и онъ только былъ бы безмолвнымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ того, что выносить онъ не могъ, а чему помочь былъ не въ силахъ. Легче отъ этого никому бы не было... и онъ уѣхалъ“.

<sup>1)</sup> „Литературныя и житейскія воспоминанія“. Полн. собр. соч. И. С. Тургенева, изд. Маркса, т. XII, стр. 5.

интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хотъ рукой махни!“<sup>1)</sup>

Теперь совершенно понятно свидѣтельство очевидца — друга Тургенева, что „самымъ позорнымъ состояніемъ, въ какое можетъ попасть смертный, считалъ онъ въ то время то состояніе, когда человѣкъ походить на другихъ. Онъ спасался отъ этой *страшной* участи, навязывая себѣ невозможныя качества и особенности, даже пороки, лишь бы они только способствовали къ отличію его отъ окружающихъ, большинство которыхъ онъ приравнивалъ къ „кожанымъ чемоданамъ, набитымъ сухимъ сѣномъ“.

„Походить на другихъ“ въ эту пору было бы дѣйствительно позоромъ, стоитъ только вспомнить „Мертвыя души“ Гоголя. „Одинъ за другимъ,—говоритъ Гоголь о „Мертвыхъ душахъ“,— слѣдуютъ у меня герои, одинъ пошлѣе другого... Нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю, и по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ“. „Тогда, по остроумному замѣчанію г. Владимірова<sup>2)</sup>, не только между ревизскими были мертвыя души,—мертвыя души ходили, гуляли, ѣли, играли въ карты, разговаривали“, а болѣе всего — спали. „Отсутствіе свѣта“ въ русской жизни того времени пугало всякаго, кто не оставался равнодушнымъ зрителемъ дѣла тьмы. „Когда я,—разсказываетъ Гоголь,—началъ читать Пушкину первыя главы изъ „Мертвыхъ душъ“ въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“

Устами Шубина въ „Наканунѣ“ Тургеневъ говоритъ о русскомъ обществѣ того времени: „Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя“... Рокковымъ концомъ угрожала духовному организму русскаго народа его застарѣлая болѣзнь,—та самая, о которой говоритъ Гоголь: „Никого не разбудишь, богатырски задремалъ русскій человѣкъ... Всякое истинное чувство глохнетъ, и некому его вызвать.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 45—46.

<sup>2)</sup> Въ сочиненіи о Хомяковѣ, стр. 5.

Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наша сила и крѣпость, дремлетъ нашъ умъ"... Эта лѣтargія народныхъ духовныхъ силъ грозила перейти въ полный параличъ, въ направленіи котораго не безъ успѣха работали темныя силы этого безвременья.

Спустилась и повисла надъ русскимъ народомъ безпросвѣтно-темная ночь,

Когда свободно рыскалъ звѣрь,  
А человѣкъ бродилъ пугливо.

„... Русское общественное древо, кто только могъ, направо и налево раскачивалъ, спѣша набить карманъ, не думая о томъ, что будетъ далѣ"... „Всѣ тогда жирѣли, наживали, всѣ... кромѣ, разумѣется, крестьянъ“. На этой сухой и бесплодной почвѣ общественнаго равнодушія, въ душной атмосферѣ пошлости гложло все живое, и реакція становилась все сильнѣе и все смѣлѣе. Теперь она организовалась въ цѣлую систему мысли и жизни,—ту самую, которую историкъ русской литературы Пыпинъ опредѣляетъ терминомъ „официальная народность“ и которая въ своемъ практическомъ примѣненіи отправлялась отъ знаменитаго „все обстоитъ благополучно“. „Мы нынче такъ довольны своимъ роднымъ,—писалъ Чаадаевъ кн. Вяземскому,—такъ радуемся своимъ прошедшимъ, такъ величаемся своимъ будущимъ, что чувство всеобщаго самодовольства невольно переносится и къ нашимъ собственнымъ лицамъ“. Одинъ изъ наиболѣе типичныхъ представителей этого „самодовольства“, шефъ жандармовъ, гр. Бенкендорфъ такъ опредѣляетъ его основанія: „Le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au de là de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer“. Въ переводѣ на русскій языкъ это значило: „не разсуждать—повиноваться!“ А такая „исключительная опека необходимо оставляетъ общество младенческимъ, потому что стѣсненіе свободы движеній одинаково ослабляетъ и останавливаетъ развитіе членовъ и въ физической жизни человѣка и въ государствѣ. Опека лишала общество самодѣятельности и въ умственно-нравственномъ и въ матеріально-экономическомъ отношеніи; охраняя „народную“ самобытность, она не допускала въ Россію ни смѣлыхъ выводовъ европейской науки, ни желѣзныхъ дорогъ, какъ будто и эти послѣднія были также вольнодумствомъ; „самобытность“ кончилась и умственною, и матеріальною бѣдностью, и отсталостью. Мысль о томъ, что истинное могущество націи достигается только свободнымъ

развитіемъ ея самодѣльно работающихъ силъ, была непонятна. Думали, что для этого достаточно формальной дисциплины и всеобщей опеки“... <sup>1)</sup>). Въ принципѣ отрицая самую возможность общественной критики и личной инициативы и уничтожая всякій ростокъ самодѣтельности, эта „система“ не могла не привести и дѣйствительно привела къ своимъ обычнымъ историческимъ послѣдствіямъ. Страніе удерживать въ бездѣйствіи народныя и общественныя силы и подавлять ихъ стремленіе имѣло слѣдствіемъ то, что значительная часть и въ самомъ дѣлѣ осталась въ неподвижности и застоѣ, которые въ историческомъ счетѣ равняются движению назадъ. Вотъ любопытный отзывъ объ этой „настоящей Николаевской Руси“, „пошлой и безцвѣтной“, человѣка, котораго никакъ нельзя заподозрѣть въ преувеличеніи, г. Любимова. „Создалась,—говоритъ онъ,—правительственная система, съ которой не могъ примириться ни одинъ независимый умъ, прилаживаться къ которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побѣждая себя, сосредоточивая вниманіе на свѣтлыхъ сторонахъ и закрывая глаза на темныя, удовлетворяясь довольствомъ личнаго положенія, лицемѣря вольно или невольно, чтобы не прать противъ рожна.

„Государственная идея, высокая сама по себѣ и крѣпкая въ державномъ источникѣ ея, въ практикѣ жизни приняла исключительную форму „начальства“. Начальство сдѣлалось все въ странѣ. Все Кесареви,—Богови оставалось весьма немного. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчиненнаго. Губернаторъ, при какой-то ссылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и сѣвшій на него съ вопросомъ: „гдѣ законъ?“, былъ лицомъ типическимъ, въ частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ“.

„Въ то время,—продолжаетъ г. Любимовъ,—купецъ торговалъ, потому что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по улицѣ, спалъ послѣ обѣда въ силу начальническаго позволенія; приказный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки по милости начальническаго снисхожденія. Воздухомъ дышали, потому что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала въ водѣ, птицы пѣли въ лѣсу, потому что такъ разрѣшено было начальствомъ. Начальникъ былъ безотвѣтствененъ

---

<sup>1)</sup> А. Н. Пыпинъ. „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“, изд. 3, 1906 г., стр. 120.

въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ, но имѣлъ, въ тѣхъ же условіяхъ, начальство и надъ собою. Для народа, несшаго тяготы и крѣпостныхъ, и государственныхъ повинностей, со включеніемъ тяжелой рекрутчины, то было время не легкой службы. Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, имѣли первенствующее значеніе, считались годными для всѣхъ родовъ службы. Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ Синодѣ въ качествѣ оберъ-прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ-священнику, былъ служивый въ рясахъ, независимый отъ архіерея... Всякая независимая отъ службы дѣятельность чело-вѣка считалась развѣ только терпимой при незамѣтности и немедленно возбуждала опасеніе, какъ только чѣмъ-либо явно обнаруживалась... Тѣлесныя наказанія считались главнымъ орудіемъ дисциплины и основою общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали только практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 года преслѣдованіе независимости во всѣхъ ея формахъ приняло мрачный характеръ“.

Такъ Россія стала „колоссомъ на глиняныхъ ногахъ“. „Какъ бы для ироніи надъ „народностью“,—говоритъ Пыпинъ <sup>1)</sup>,—эта масса была крѣпостная или полукрѣпостная, и роль народа была чисто пассивная. Безправный юридически, невѣжественный, бѣдный, запуганный народъ былъ той основой, на которой утверждалось гордое зданіе системы“...

... въ одномъ сливались всѣ сословья,  
Что дружно налегали на народъ.

А между тѣмъ слова „свобода“, „гласность“ „не слышались и въ шутку“, „считался звѣремъ либераль“, слова „общественное благо“ и произнести нужна была отвага, которою никто не обладалъ“. „Каждый чувствовалъ тяготу. У каждаго было что-то на сердцѣ, и все-таки всѣ молчали“. Подъ гнетомъ цензуры „слово искривилось“ (И. С. Аксаковъ) и „въ отвѣтъ стenanіямъ народа мысль русская стонала въ полутонъ“. Казалось, „на всѣхъ... отяготѣлъ жестокой фатумъ“.

Но, видно, не даромъ „великій меланхоликъ“ въ поэтическомъ созерцаніи будущей Россіи видѣлъ уже того „исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра“. „Нѣмецкой работы китайскіе

<sup>1)</sup> Цит. соч., стр. 121.



башмаки, въ которыхъ Россію водятъ полтора ста лѣтъ, натерли много мазолей,—писалъ Герценъ,—но видно костей не повредили, если всякій разъ, когда удастся расправить члены, являются такія свѣжія и молодая силы“ <sup>1)</sup>. Застоявшееся болото русской общественной жизни начинаетъ обнаруживать какую-то, сначала не довольно опредѣленную, дѣятельность; затѣмъ съ разныхъ сторонъ и въ разныхъ направленіяхъ пробиваютъ его родники, свѣжіе и сильные, скрывавшіеся въ самыхъ тайныхъ глубинахъ народнаго духа и невинно имъ пронесенные сквозь вѣка рабства... Загорается, всходитъ надъ русскою жизнью столь желанная для Пушкина „свободы просвѣщенной прекрасная заря“... Выходятъ на общественную работу первые „ратники добра“, идутъ бодро съ непочатымъ запасомъ силъ, которая всѣ, безъ остатка, отдадутъ они для безкорыстнаго и самоотверженнаго служенія народу и обществу, для расчистки еще дѣвственной почвы народной жизни и посѣва на ней „разумнаго, добраго, вѣчнаго“... Вотъ незабвенныя имена этихъ „ратниковъ“: Станкевичъ, Кирѣевскіе, Хомяковъ, Самаринъ, Аксаковы, Герценъ, Бѣлинскій, Грановскій, Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Л. Толстой, Некрасовъ, Островскій, Достоевскій и др.

Но старое не сдастся безъ боя. Борьба неизбежна, борьба на жизнь и смерть. Масса сильна своей численностью, ей надо противопоставить силу качественно высшую. Правда, кругомъ рознь, борьба себялюбій, грубыхъ эгоистическихъ расчетовъ, интересовъ кармана и чина, но въ этой борьбѣ есть своеобразная круговая порука, и стоитъ появиться въ такомъ обществѣ Чацкому, какъ, разноголосое дотолѣ, оно объединяется въ дружный хоръ:

„Разбой, пожаръ“, кричитъ вся эта, выражаясь словами  
Чацкаго, „мучителей толпа,  
Въ любви предателей, въ враждѣ неутомимыхъ,  
Разсказчиковъ неукротимыхъ,  
Нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простяковъ,  
Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,  
Дрихлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ...  
... И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ“.

Одному или въ одиночку невозможно бороться съ этой многоголовой гидрой, надо сплотиться. И вотъ одинъ за другимъ создаются кружки молодежи. „Всѣ мы,—говоритъ Панаевъ въ

<sup>1)</sup> „Былое и думы“, гл. XXV. Соч. А. И. Герцена, изд. Павленкова 1905 г. т. II, стр. 334.

своихъ воспоминанiяхъ,—были въ то время свѣжи, молоды, всѣ съ жаждой наслажденiя погружались или пробовали погружаться въ философскiя отвлеченности,... всѣ сходились почти ежедневно и сообщали другъ другу свои открытiя, толковали, спорили до усталости, и расходились далеко за полночь“. Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ такъ вспоминаетъ объ этихъ просвѣщенныхъ юношахъ-идеалистахъ: „Трещить по улицамъ суровый зотиградусный морозъ, взвизгиваетъ исчадье сѣвера, вѣдма-вьюга, заматая тротуары;... но привѣтливо, сквозь летающiе перекрестно хлопья снѣга, свѣтитъ вверху окошко, гдѣ-нибудь въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающiй душу и сердце разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какими наградила Богъ свою Россiю, и такъ возвышенно пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не водится въ другихъ земляхъ и подъ полуденнымъ роскошнымъ небомъ“. То же время и тѣхъ же людей самъ Тургеневъ изображаетъ въ романѣ „Рудинъ“. Говоритъ Лежневъ, но въ его одушевленной рѣчи слышится голосъ самого автора, который невольно увлекается неудержимымъ потокомъ дорогихъ образовъ, свѣтлыхъ грезъ юности, идеальныхъ порывовъ, захватывающихъ и поднимающихъ биенiй молодого, пылкаго сердца... „Попавъ въ кружокъ Покорскаго,—говоритъ Лежневъ,—я совсѣмъ переродился: смирился, спрашивалъ, учился, радовался, благоговѣлъ,—однимъ словомъ, точно въ храмъ какой вступилъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ вспомню я наши сходки, ну, ей-Богу же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. Вы представьте: сошлись человекъ пять-шесть мальчиковъ, одна сальная свѣчка горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старыестарые, а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человечества, о поэзiи,—говоримъ иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!.. А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ ужъ и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то прiятной усталостью на душѣ... и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе... Эхъ, славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошילה

потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стоитъ только при немъ произнести имя Покорскаго— и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелиятся, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ склянку съ духами“...

Изъ этихъ кружковъ особенно выдающееся значеніе въ исторіи развитія русскаго общественнаго самосознанія получили кружки Станкевича и Герцена, около которыхъ сомкнулись лучшіе люди 30-хъ—40-хъ годовъ, и между ними такіе, какъ Бѣлинскій, Грановскій, Константинъ Аксаковъ, Бакунинъ, Боткинъ, Николай Огаревъ. Вотъ что рассказываетъ Герценъ въ „Быломъ и думахъ“ о происхожденіи этихъ кружковъ <sup>1)</sup>. „Полоса, идущая отъ 1825 до 1855 года, скоро совсѣмъ задвинется; человѣческіе слѣды пропадутъ и будущія поколѣнія не разъ останутся съ недоумѣніемъ передъ гладко убитымъ пустыремъ, отыскивая пропавшіе пути мысли, которая *въ сущности* не перерывалась. Повидимому, потокъ былъ остановленъ, но кровь переливалась проселочными тропинками. Вотъ эти-то волосяные сосуды и оставили слѣдъ въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго, въ перепискѣ Станкевича.

Тридцать лѣтъ тому назадъ Россія *будущаю* существовала исключительно между нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства, а въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, какъ трава, пытающаяся расти на губахъ непростывшаго кратера.

Въ самой пасти чудовища выдѣляются дѣти, не похожія на другихъ дѣтей; они растутъ, развиваются и начинаютъ жить совсѣмъ другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничѣмъ не поддержанные, напротивъ, всѣми гонимые, они легко могутъ погибнуть безъ малѣйшаго слѣда, *но остаются*, и если умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними. Это начальныя ячейки, зародыши исторіи, едва замѣтные, едва существующіе, какъ всѣ зародыши вообще.

Мало-по-малу изъ нихъ составляются группы. Болѣе родное собирается около своихъ средоточій; группы потомъ отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и многосторонность для развитія; развиваясь до конца, т.-е. до крайности, вѣтви опять соединяются, какъ бы онѣ ни назывались—кругомъ Станкевича, слявянофилами или нашимъ кружкомъ.

---

<sup>1)</sup> Цит. изд. соч. Герцена, т. II, стр. 325—329.

Главная черта всѣхъ ихъ—глубокое чувство отчужденія отъ официальной Россіи, отъ среды ихъ окружавшей и съ тѣмъ вмѣстѣ стремленіе выйти изъ нея, а у нѣкоторыхъ порывистое желаніе вывести и ее самое...

Самое появленіе кружковъ, о которыхъ идетъ рѣчь, было естественнымъ отвѣтомъ на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

О застоѣ послѣ перелома въ 1825 году мы говорили много разъ. Нравственный уровень общества палъ, развитіе было перервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто изъ жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты; дрянъ александровскаго поколѣнья заняла первое мѣсто; они мало-помалу превратились въ подобострастныхъ дѣльцовъ; утратили дикую поэзію кутежей и барства и всякую тѣнь самобытнаго достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло.

Подъ этимъ большимъ *свѣтомъ* безучастно молчалъ большой *міръ* народа; для него ничего не перемѣнилось,—ему было скверно, но не сквернѣе прежняго, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой дѣти первыя приподняли голову, можетъ оттого, что они не подозрѣвали, какъ это опасно, но, какъ бы то ни было, этими дѣтьми ошеломленная Россія начала приходить въ себя.

Ихъ остановило совершеннѣйшее противорѣчіе *словъ* ученія съ *быльями* жизни вокругъ. Учителя, книги, университетъ говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда говорили другое, съ чѣмъ ни умъ, ни сердце не согласны, но съ чѣмъ согласны преобладающія власти и денежныя выгоды. Противорѣчіе это между воспитаніемъ и нравами нигдѣ не доходило до такихъ размѣровъ, какъ въ дворянской Руси...

Число воспитывающихся у насъ было всегда чрезвычайно мало; но и тѣ, которые воспитывались, получали не то чтобъ объемистое воспитаніе, но довольно общее и гуманное; оно *очеловѣчивало* учениковъ всякій разъ, когда принималось. Но *человѣчка*-то именно и ненужно было ни для іерархической пирамиды, ни для преуспѣянія помѣщичьяго быта. Приходилось или снова расчеловѣчиться—такъ толпа и дѣлала—или пріостановиться и спросить себя: „Да нужно ли непремѣнно служить? Хорошо ли дѣйствительно быть помѣщикомъ?“ Засимъ для однихъ, болѣе слабыхъ и нетерпѣливыхъ, начиналось праздное существованіе

корнета въ отставку, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина; для другихъ—время искуса и внутренней работы. Жить въ полномъ нравственномъ разладѣ они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательнымъ устраненіемъ себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрѣшеніе вопросовъ, одинаково мучившихъ молодое поколѣніе, обусловливало распаденіе на разные круги.

Такъ сложился, напримѣръ, нашъ кружокъ и встрѣтилъ въ университетѣ, уже готовымъ, кружокъ Сунгуровскій. Направленіе его было, какъ и наше, больше политическое, чѣмъ научное. Кругъ Станкевича, образовавшійся въ то же время, былъ равно близокъ и далекъ съ обоими. Онъ шелъ другимъ путемъ, его интересы были чисто теоретическіе.

Въ тридцатыхъ годахъ убѣжденія наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобъ не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и успокаивались въ роскошномъ пантеизмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новый союзъ по образцу декабристовъ, и самую науку считали средствомъ<sup>1</sup>.

И. С. Тургеневъ попалъ въ кружокъ Станкевича. „Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ,—говоритъ С. А. Венгеровъ—давалъ окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства“<sup>2</sup>).

„Станкевичъ развивался стройно и широко,—говоритъ Герценъ<sup>3</sup>),—его художественная, музыкальная и вмѣстѣ съ тѣмъ сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя съ самаго начала университетскаго курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять, или, какъ нѣмцы говорятъ, *снимать* противорѣчія, была основана на его художественной натурѣ. Потребность гармоніи, стройности, наслажденія дѣлаетъ ихъ снисходительными къ средствамъ; чтобъ не видать колодца, они покрываютъ его холстомъ. Холстъ не выдержитъ напора, но зіяющая пропасть не мѣшаетъ глазу.

<sup>1</sup>) „Очерки по исторіи русской литературы“, изд. 2-е, стр. 252.

<sup>2</sup>) Цит. изд. соч. Герцена, т. II, стр. 330.

Этимъ путемъ нѣмцы доходили до пантеистическаго квіетизма и опочили на немъ; но такой даровитый русскій, какъ Станкевичъ, не остался бы надолго „мирнымъ“.

Не долго былъ Тургеневъ въ этомъ кружкѣ—смерть рано выхватила Станкевича изъ рядовъ „ратниковъ добра“; но духовный ростъ человѣка не подлежитъ точному измѣренію временемъ, и инныя минуты глубже и значительнѣе дѣйствуютъ, чѣмъ дни и даже годы. Смерть Станкевича произвела на Тургенева потрясающее дѣйствіе, и изъ письма его Грановскому, написаннаго подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ страшнаго факта, видно, какъ много значилъ для него и людей его круга Станкевичъ. „Насъ постигло великое несчастье, Гр—ій. Едва могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашей гордостью и надеждою... 24 іюня (1840 г. въ Нови) скончался Станкевичъ... Но нѣтъ мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь, дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣе: одинъ изъ нашихъ упалъ,— быть можетъ лучшій. Но возникаютъ, возникнутъ другіе; рука Бога не перестаетъ сѣять въ души зародыши великихъ стремленій и, рано ли, поздно, свѣтъ побѣдитъ тьму“<sup>1)</sup>).

Но для этой побѣды „свѣта“ недостаточно было одного союза его носителей и защитниковъ, недостаточно именно потому, что и враги ихъ, люди тьмы, умѣли въ минуту опасности сплотиться: необходимо было приготовиться къ этой борьбѣ, нужно было просвѣщеніе, только оно могло привести къ свободѣ. „Юноша, пришедшій въ себя и успѣвшій оглядѣться послѣ школы, находился въ тогдашней Россіи въ положеніи путника, просыпающа-

---

<sup>1)</sup> Свѣтлый образъ Покорскаго въ „Рудинѣ“—памятникъ учителю. „Когда я изображалъ Покорскаго,—говоритъ Тургеневъ,—образъ Станкевича носился предо мною, но все это только блѣдный очеркъ“. „Это былъ человѣкъ необыкновенный“, говоритъ Лежневъ о Покорскомъ-Станкевичѣ. „Это была высокая, чистая душа и ума такого я уже не встрѣчалъ потомъ... Его всѣ любили, онъ привлекалъ къ себѣ сердца... Поэзія и правда—вотъ что влекло всѣхъ къ нему. При умѣ ясномъ, обширномъ онъ былъ милъ и забавенъ, какъ ребенокъ. У меня до сихъ поръ звенитъ въ ушахъ его свѣтлое мечтанье, и въ то же время онъ

Пылалъ полуночной лампадой  
Передъ святынею добра...

Покорскій былъ на видъ тихъ, мягокъ, даже слабъ..., и не дался бы никому въ обиду. Покорскій вдыхалъ въ насъ всѣхъ огонь и силу... Человѣкъ онъ былъ нервическій, нездоровый, зато когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда не залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба“!

гося въ степи: ступай, куда хочешь,—есть слѣды, есть кости погибнувшихъ, есть дикіе звѣри, и пустота во всѣ стороны, грозящая тупой опасностью, въ которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и съ любовью—это ученье<sup>1)</sup>. И вотъ среди болѣе чуткихъ и даровитыхъ молодыхъ людей, сверстниковъ Тургенева, по его собственному свидѣтельству, начинается и, чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе сказывается стремленіе за границу. Это стремленіе напоминаетъ ему „исканіе славянами начальниковъ у заморскихъ варяговъ“: „каждый изъ насъ, — говоритъ онъ,—точно такъ же чувствовалъ, что его земля (я говорю не объ отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достояніи каждаго) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно набраться только нѣкоторыхъ пригтовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія за границей“<sup>2)</sup>.

Въ 1838 году Тургеневъ отправился въ Германію. Въ Берлинѣ группировался въ это время кружокъ даровитыхъ молодыхъ русскихъ ученыхъ: Грановскій, Фроловъ, Невѣровъ, Бакунинъ, Станкевичъ. Всѣ они восторженно увлекались гегелевской философійей, въ которой „видѣли не одну только систему отвлеченнаго мышленія, а новое евангеліе жизни“. „Въ философійи,—замѣчаетъ Тургеневъ,—мы искали всего, кромѣ чистаго мышленія“. Человѣкъ съ такими запросами очевидно не могъ остановиться на одномъ упорядоченіи своего „нравственнаго и умственнаго достоянія“. Сильно было дѣйствіе идей запада, и однако еще болѣе могучимъ было дѣйствіе самой жизни западно-европейской, такъ не похожей на русскую. „Я бросился,—говоритъ Тургеневъ,—внизъ головой въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ“ и остался имъ навсегда“<sup>3)</sup>. Въ душу, отъ природы любящую, благородную, съ неодолимымъ влеченіемъ къ свѣту, правдѣ, внѣдрялось убѣжденіе, которому Тургеневъ остался вѣренъ на всю жизнь,—что только усвоеніе началъ общечеловѣческой культуры можетъ вывести Россію изъ того мрака, изъ того „позорнаго сна“, въ который она погрузилась. Въ этомъ именно смыслѣ Тургеневъ

---

1) Цит. изд. соч. Герцена, т. II, стр. 330.

2) „Литерат. и жит. воспоминанія“. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 5.

3) Ibid.

„очутился западником“. „Да и какъ же ему было не сдѣлаться „западником“, — говоритъ С. А. Венгеровъ <sup>1)</sup>,—когда онъ, вырвавшись изъ тѣсной и душной клѣтки тогдашняго строя русской жизни, попалъ на свободное раздолье европейской цивилизаціи. То, невозможность осуществленія чего, вслѣдствіе сложившихся историческихъ обстоятельствъ, онъ видѣлъ въ Россіи, расцвѣло пышнымъ цвѣтомъ на здоровой почвѣ западныхъ нравовъ и порядковъ... Для него открывался совершенно новый міръ гражданственности и уваженія къ человѣческой личности, міръ отрицанія кулачнаго права и своекорыстныхъ расчетовъ, какъ основанія общественной морали, міръ свободного слова, какъ печатнаго, такъ и устнаго. Да, глубокое дѣйствіе произвела на впечатлительнаго молодого человѣка западная жизнь; внимательно всматривался онъ въ ея детали. Невольно сталъ онъ сравнивать свою родную убогую обстановку съ пышнымъ убранствомъ чужеземной жизни. Неужели же, задавалъ онъ себѣ вопросъ, люди запада созданы особеннымъ образомъ? Неужели же они составляютъ какую-нибудь особенную аристократію, которая одна способна усвоить высшія идеи и стремленія? Неужели же въ русскомъ народѣ нѣтъ задатковъ культурнаго процвѣтанія, неужели же онъ менѣе другихъ способенъ выражать своею жизнью прогрессивное движеніе человѣчества? На всѣ эти вопросы любящій и знающій свою родину юноша могъ отвѣчать только однимъ энергическимъ—нѣтъ“.

„Я никогда не признавалъ,—говоритъ Тургеневъ <sup>2)</sup>,—той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосвѣдушіе патриоты непременно хотятъ провести между Россіей и западной Европой, той Европой, съ которой порода, языкъ, вѣра такъ тѣсно ее связываютъ. Не составляетъ ли наша славянская раса — въ глазахъ филолога, этнографа — одной изъ главныхъ вѣтвей индо-германскаго племени? И если нельзя отрицать воздѣйствія Греціи на Римъ и обоихъ вмѣстѣ на германороманскій міръ, то на какомъ же основаніи не допускается воздѣйствіе этого—что ни говори—родственнаго, однороднаго міра на насъ? Неужели же мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужасомъ отмахиваться отъ него, какъ бы онъ насъ не испортилъ? Я этого не полагаю. Я полагаю, напротивъ, что насъ хоть въ семи водахъ мой—нашей русской сути изъ насъ не вывести.

<sup>1)</sup> Цит. соч. И. С. Тургеневъ, стр. 96.

<sup>2)</sup> „Литер. и жит. воспоминанія“. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 6.



Да и что бы мы были, въ противномъ случаѣ, за плохонькій народецъ!“

Такимъ образомъ, „западничество“ Тургенева вовсе не было „слѣпымъ, рабскимъ, пустымъ подражаніемъ“; не отрицалъ онъ и возможности для русскаго народа самобытной культуры, его права на свою національную исторію; этотъ „западникъ“ глубоко вѣрилъ въ духовную мощь русскаго народа и, одушевленный этой вѣрой, не могъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ позорнаго сна „богатырски задремавшаго русскаго человѣка“. Вы помните „Дикаго Барина“ въ „Пѣвцахъ“? Онъ—„смѣсь какой-то врожденной природной свирѣпости и такого же врожденнаго благородства“, онъ, въ которомъ „громадныя силы угрюмо покоились“, отъ котораго „вѣяло какой-то грубой, тяжелой, но нетронутой силой“, о которомъ „трудно было рѣшить съ перваго разу, къ какому сословію принадлежалъ“ онъ, эта „медвѣжья фигура, не лишняя однако „какой-то своеобразной граціи, происходившей, можетъ быть, отъ совершенно спокойной увѣренности въ собственномъ могуществѣ“,—не самъ ли это русскій народъ-богатырь? Мнѣ думается, что если бы нашелся геніальный скульпторъ, который воспроизвелъ бы въ мраморѣ это мощное созданіе поэта, то русскій народъ узналъ бы въ этомъ мраморѣ себя, а художникъ-ваятель не нашелъ бы лучшей надписи, чѣмъ эти слова писателя: „громадныя силы угрюмо покоились въ немъ“. Вспомните и Увара Ивановича въ „Наканунѣ“. „Когда же наша пора придетъ,—спрашиваетъ его Шубинъ—„вѣрное эхо авторскихъ думъ“,— „когда у насъ народятся люди?“ — „Дай срокъ,—отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ,—будутъ“. — „Будутъ? Почва! Черноземная сила! Ты сказалъ — будутъ? Смотрите жъ, я запишу это слово“. Тургеневъ вѣрилъ въ эту черноземную силу, въ дѣвственно-мощную почву русской національной жизни, а европейскій Западъ ясно указалъ ему, чего недостаетъ этой „почвѣ“, чтобы выросла на ней здоровая, самобытная, сильная національность. За границей Тургеневъ воочію убѣдился, что необходима для этого свобода и что „крѣпостничество и есть именно одинъ изъ тѣхъ главныхъ аномальныхъ факторовъ, которые сдѣлали нашу жизнь такъ непохожей на европейскую“. Впечатлѣнія дѣтства, скорбныя грезы юности отслоились теперь въ полное и стройное міросозерцаніе убѣжденнаго борца противъ крѣпостнаго права за свободу человѣческой личности <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Однажды,—разсказываетъ Я. М. Невѣровъ,—одинъ изъ членовъ Берлинскаго кружка русской молодежи, на вечерѣ у одной весьма образованной

Безсознательная, пассивная вражда къ ужасному наслѣдію вѣковъ поднимается на высокую ступень сознательнаго рѣшенія „бороться до конца“ съ тѣмъ укладомъ жизни, въ которомъ люди были на положеніи рабовъ, и съ тѣми представителями и защитниками этого уклада, которые не хотѣли видѣть въ крѣпостномъ человѣка.

Подъ совокупнымъ воздѣйствіемъ указанныхъ идей, настроеній и опытовъ жизни и были задуманы и написаны Тургеневымъ его безсмертные очерки изъ народной жизни, извѣстные подъ именемъ „Записокъ Охотника“. Этотъ литературный трудъ и былъ исполненіемъ данной Тургеневымъ „аннибаловской клятвы“.

---

---

дамы, оставившей отечество и жившей постоянно за границей, шла рѣчь о преимуществахъ народнаго представительства въ государствѣ, о всесловномъ участіи народа въ несеніи государственныхъ повинностей и о доступѣ ко всякой государственной дѣятельности. Когда, по окончаніи этого вечера, мы возвратились домой и, естественно, оставаясь подъ впечатлѣніемъ вечерней бесѣды, обсуждали поднятый на ней вопросъ, Станкевичъ обратился къ намъ съ такимъ замѣчаніемъ:

„Предсѣдательница бесѣды забываетъ, что масса русскаго народа остается въ крѣпостной зависимости и потому не можетъ пользоваться не только государственными, но и общечеловѣческими правами. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не можетъ принять участія въ управленіи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственнаго развитія, и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣпостной зависимости и распространенія въ средѣ его умственнаго развитія. Послѣдняя мѣра сама собою вызоветъ и первую, а потому, кто любить Россію, тотъ прежде всего долженъ желать распространенія въ ней образованія“. И при этомъ Станкевичъ взялъ съ насъ торжественное обѣщаніе, что мы всѣ наши силы и всю нашу дѣятельность посвятимъ этой высокой цѣли“.

(„Русская Старина“, XL, 419. Привед. у г. Иванова, цит. соч. стр. 6—47\*)

## ГЛАВА II.

# „Великая скорбная симфонія русской земли“.

„Это была великая скорбная симфонія русской земли“.

*Мельхиоръ де-Вонюэ.*

Въ „Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ“ Тургеневъ такъ излагаетъ исторію „Записокъ Охотника“: „Вслѣдствіе просьбы И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ номерѣ „Современника“, я оставилъ ему очеркъ, озаглавленный „Хорь и Калинычъ“. (Слова „Изъ записокъ охотника“ были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію) <sup>1)</sup>. Успѣхъ этого очерка побудилъ меня написать другіе“... Въ 1852 г. Тургеневъ собралъ

<sup>1)</sup> Г. Стасюлевичъ не соглашается съ этимъ „мнѣніемъ автора“ и объясняетъ происхожденіе заглавія „Изъ записокъ охотника“ иными соображеніями. Въ своемъ „Предисловіи къ первому, посмертному изданію“ сочиненій И. С. Тургенева онъ говоритъ: заглавіе „было придумано въ редакціи журнала съ цѣлью весьма возможною въ тѣ времена, а именно—смягчить особое, общественное для эпохи крѣпостного права, значеніе этихъ вмѣстѣ высокохудожественныхъ разсказовъ и сдѣлать ихъ болѣе удобными для печати... Довольно прочесть въ немъ (въ разсказѣ „Хорь и Калинычъ“), на примѣръ, одну изъ послѣднихъ страницъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что редакция могла имѣть цѣлью расположить къ снисхожденію не одного читателя“. Ср. слова А. Н. Пыпина въ книгѣ „Н. А. Некрасовъ“, стр. 88: „Хорь и Калинычъ“ былъ помѣщенъ въ „Смѣси“, послѣдующіе разсказы—уже въ текстѣ журнала. Помѣщеніе въ „Смѣси“ нѣкоторые ставили потомъ въ укоръ Некрасову, видя въ этомъ признакъ того, что онъ не умѣлъ оцѣнить произведенія Тургенева. Дѣло оубьясняется проще: Некрасовъ, а можетъ быть и Тургеневъ не предвидѣли, что это будетъ начало цѣлой обширной серіи, а не отдѣльный, случайный эпизодъ; а такіе небольшіе разсказы нерѣдко помѣщались въ „Смѣси“.

свои очерки и издалъ ихъ подъ общимъ заглавіемъ „Записокъ Охотника“. Позднѣе это изданіе было дополнено нѣсколькими рассказами, и теперь всего въ книгѣ двадцать пять очерковъ <sup>1)</sup>).

„Большая часть рассказовъ охотника родилась изъ прямыхъ личныхъ впечатлѣній автора,—говоритъ Анненковъ.—Онъ обращаетъ въ картину случай, ему представившійся, разбираетъ характеръ, ему встрѣтившійся, и даже передаетъ въ формѣ сказа собственное свое воззрѣніе на предметъ; но сколько искусства расточено у него при этой передачѣ разнородныхъ своихъ пріобрѣтеній! Любопытно наблюдать, какъ мѣняется онъ для каждаго новаго представленія краски и самый способъ изложенія, какъ вѣрно рассчитаны для нихъ свѣтъ и воздухъ и въ какихъ нѣжныхъ оттѣнкахъ и умно разсѣянныхъ подробностяхъ выражаются у него люди и событія. Вѣрность окружающему является тутъ сама по себѣ и часто достигаетъ поэтическаго выраженія по глубокому проникновенію въ жизнь, по изученію ея“. „Изящная правда“ „Записокъ Охотника“ и „поразила“ прежде всего современниковъ, по отзыву одного изъ нихъ (К. Аксаковъ).

Эта „изящная правда“ художника-реалиста, который, по его собственному признанію, ставилъ задачей поэтическаго творчества „уловленіе“ жизни и „болѣе всего интересовался живой правдой людской физиономіи“, можетъ быть прослѣжена въ „Запискахъ охотника“ какъ на изображеніи человѣческой жизни, такъ и на многочисленныхъ описаніяхъ природы. „Тургеневъ,—говоритъ Пичъ,—рассказываетъ просто и кратко, съ неподражаемымъ искусствомъ и убѣдительною силою истины все, что онъ видѣлъ и пережилъ на родинѣ. Онъ заставляетъ господъ, чиновниковъ, а также и всѣхъ, которые страдаютъ благодаря

---

<sup>1)</sup> Порядокъ и даты появленія отдѣльныхъ рассказовъ въ „Современникѣ“ указаны А. Е. Грузинскимъ въ статьѣ „Къ исторіи „Записокъ Охотника“ Тургенева“ („Научное Слово“, 1903, кн. VII): 1847—„Хорь и Калинычъ“ (№ 1), „Каратаевъ“ (№ 2), „Ермолай и мельничиха“, „Мой сосѣдъ Радиловъ“, „Одноворецъ Овсяниковъ“ и „Льговъ“ (№ 5), „Бурмистръ“ и „Контора“ (№ 10). 1848—„Малиновая вода“, „Уѣздный лѣкарь“, „Бирюкъ“, „Лебедянь“, „Татьяна Борисовна“, „Смерть“ (№ 2). 1849—„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Чертопхановъ и Недопюскинъ“, „Лѣсъ и степь“ (№ 2). 1850—„Пѣвцы“, „Свиданіе“ (№ 11). 1851—„Бѣжинъ лугъ“ и „Касьянъ съ Красивой Мечи“ (№№ 2 и 3). „Конецъ Чертопханова“, „Живыя моши“ и „Стучить“ вошли впервые въ серію лишь съ 1880 года. Что касается очерка „Два помѣщика“, то онъ, повидимому, впервые появился въ отдѣльномъ изданіи „Записокъ“ 1852 г.

имъ или вслѣдствіе установленнаго порядка, жить, дѣйствовать, говорить на нашихъ глазахъ такъ, какъ они это дѣлаютъ въ дѣйствительной жизни. И однако ни одна краснорѣчивая обвинительная рѣчь, проникнутая самымъ справедливымъ негодованіемъ, не возбуждала такого благороднаго отвращенія къ ненавистному злу, которое она должна была побѣдить и уничтожить, не могла привести къ сознанію страшнаго позора крѣпостничества успѣшнѣе, чѣмъ эти простыя, рисованныя съ природы картины поэта. „Особенно важно, что Тургеневъ выставлѣлъ почти исключительно заурядныя явленія крѣпостной поры, нимало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыя можно было бы сказать, что это лишь исключенія, хотя и такихъ такъ называемыхъ исключеній, отъ которыхъ бы волосы у читателя поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно заключалась неотразимая сила этихъ какъ бы лишенныхъ всякой умысленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпической невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагу и что уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тѣмъ вѣдь рассказы этого сборника связаны между собой чисто внѣшней связью, случайной послѣдовательностью охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій“ (слова Ор. Миллера).

Въ статьѣ „По поводу „Отцовъ и дѣтей“ Тургеневъ говоритъ: „Я слишкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, чтобы покривить душою въ такомъ дѣлѣ. Слово „уважать“ даже тутъ не совсѣмъ у мѣста; я просто иначе не могъ и не умѣлъ работать“. „Честно“, „безъ предубѣжденія“ рисовалъ Тургеневъ и „старую Русь“ въ „Запискахъ Охотника“; и однако объективность творчества не исчерпываетъ всѣхъ особенностей этого въ высшей степени оригинальнаго таланта. Добролюбовъ приписываетъ значительную долю того успѣха, которымъ постоянно пользовался Тургеневъ въ русской публикѣ, „чутью автора къ живымъ струнамъ общества, умѣнью тотчасъ отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей“. Критикъ былъ правъ для своего времени, но для насъ и нашего времени это тонкое наблюденіе представляется нѣсколько одностороннимъ:

произведения Тургенева теперь уже не имѣютъ такого значенія предвосхищенія зарождающихся въ обществѣ чаяній, художественнаго объективированія неясныхъ общественныхъ настроеній, воплощенія въ образахъ несозрѣвшихъ идей, а между тѣмъ его поэтическія пѣсни попрежнему звучатъ родными, близкими нашему сердцу мотивами; стало быть, есть въ творествѣ Тургенева, несмотря на его реализмъ и тѣсную связь съ опредѣленной эпохой, такіе мотивы, значеніе которыхъ не ограничивается даннымъ временемъ, которые никогда не умолкнутъ въ человѣческой душѣ, никогда не потеряютъ значенія въ человѣческой жизни.

Однимъ изъ такихъ вѣчныхъ мотивовъ, поднимающихъ творчество писателя надъ уровнемъ современной ему, преходящей дѣйствительности, является у Тургенева любовь, та любовь, о которой онъ говорилъ, что она „сильнѣе смерти и страха смерти“, что „только ею, только любовью держится и движется жизнь“. И дѣйствительно, говоря словами Венгерова, „Записки Охотника“ — несомнѣнный протестъ, но протестъ совсѣмъ особаго рода, сильный не столько обличеніемъ, не столько ненавистью, сколько любовью“. Да, Тургеневъ любилъ людей, любилъ и природу; оттого-то его „искусной рукѣ“ и удалось „извлечь изъ глубины тайниковъ и сосредоточить на поверхности всѣхъ предметовъ ту, присущую имъ, сокровенную поэзію, пониманіе которой при непосредственномъ созерцаніи совсѣмъ ускользаетъ отъ большинства людей, не одаренныхъ исключительно сильной поэтической воспримчивостью, а въ данной передачѣ между тѣмъ открывается само собой самому невпечатлительному читателю“ (Мельхиоръ де Вогиюэ). Тургеневу чужда фальшивая идеализація дѣйствительности: „онъ оставляетъ васъ съ глазу на глазъ съ природой и людьми, самъ какъ бы совершенно исчеза“; но свѣточъ идеала всегда въ рукѣ художника, и оттого въ этихъ „бѣдныхъ селеньяхъ“, въ этой „скудной природѣ“ онъ умѣетъ найти истинное величіе, неподдѣльную красоту—такова сила любви!—и живописуетъ это величіе и эту красоту настолько осязательно, что и мы вѣримъ и любимъ—такова сила таланта. И эти-то величіе и красота, силою любви извлеченныя изъ нашей бѣдной дѣйствительности и претворенныя мощнымъ талантомъ въ плоть и кровь нашу, и есть то вѣчное, что сообщаетъ творчеству Тургенева неумирающее значеніе.

Объ руку съ истинною любовью неизбѣжно идетъ „горе сердца глубокое“, поднимающееся изъ глубины души всякій разъ,

какъ лазурь любви смутить людская злоба. И чрезъ „Записки Охотника“ „несется широкая захватывающая волна меланхоли“. Чувство автора—„постоянно печаль, личная, необыкновенная печаль, безъ капли чувствительности“ (Брандесъ). Съ печальными, задумчивыми лицами, не только безъ злобы, съ любовью во взорахъ и всепрощеніемъ на устахъ, идутъ передъ читателемъ цѣлой вереницей, точно дантовскія тѣни, „жертвы позорнаго плѣна“,—эти „униженные и оскорбленные“, эти „труждающіеся и обремененные“, эти Кости, Павлуши, Калинычи, Касьяны, Сучки, Бирюки, Лукерьи, Арины и т. п. Ихъ рѣчи дѣйствительно „то-скливыя пѣсни“, онѣ „зовутъ и рыдаютъ и хватаютъ за сердце“; уныло грустные звуки этихъ рѣчей „болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и выются около нашего сердца“. Да, поэзія Тургенева „печалью согрѣта“,—„святою печалью“ тѣхъ избранныхъ душъ“, въ которыхъ она, „какъ свѣча предъ иконою, ярко горитъ, пока догоритъ“. И точно Касьянъ съ Красивой Мечи, ходитъ писатель-человѣкъ среди людей „овцой безпредѣльной“, любви и правды ищетъ; но злоба и неправда царятъ среди его собратьевъ и не даютъ ему покоя, „воплемъ жалобнымъ и стономъ“ загубленныхъ жертвъ надрывая его любящую душу... И онъ уходитъ отъ нихъ въ свою нѣжную, страстную, всепрощающую любовь, въ свои задумчиво-восторженные, грустью нѣжной обвѣянные, поэтическія грезы. „Записки Охотника“ въ этомъ смыслѣ первый аккордъ „великой скорбной симфоніи“ Тургенева, и „юродивецъ“ Касьянъ, кажется, всего полнѣе выражаетъ эту первую стадію въ развитіи тургеневской меланхоли.

Въ тѣсной связи съ лиризмомъ стоитъ и та особенность тургеневскаго творчества, которую Михайловскій опредѣляетъ словомъ „музыкальность“. „Это былъ,—говоритъ онъ,—талантъ (независимо, конечно, отъ другихъ его свойствъ), такъ сказать, музыкальный, а музыка, какъ извѣстно, вызываетъ неопредѣленные, но хорошія, свѣтлыя волненія. Эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявиться въ мелкихъ вещахъ, гдѣ она не заслоняется для читателя возбужденіями умственнаго и нравственнаго характера. Любопытно, что въ передачѣ музыкальныхъ ощущеній Тургеневъ рѣшительно не имѣетъ соперниковъ: состязаніе „пѣвцовъ“ въ „Запискахъ Охотника“, игра Лемма въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, игра волшебной скрипки въ „Пѣсни торжествующей любви“—въ своемъ родѣ шедевры“.

Эта-то музыкальность и составляетъ существенный элементъ въ художественной композиціи отдѣльныхъ рассказовъ охот-

ника, сказываясь особенно сильно въ тѣхъ очеркахъ, которые наиболѣе насыщены авторскимъ лиризмомъ („Хорь и Калинычъ“, „Пѣвцы“, „Касьянъ съ Красивой Мечи“ и т. п.). Каждый изъ этихъ очерковъ можно разсматривать какъ своего рода небольшую музыкальную пьесу: въ ней есть свое начало, свои основные мотивы и свои заключительные аккорды, а въ цѣломъ она оставляетъ въ читателѣ совершенно цѣльное и опредѣленное настроеніе. И не словами и разсужденіями достигаетъ этого разсказчикъ, нѣтъ, онъ извлекаетъ звуки изъ окружающей его дѣйствительности, и они сами несутся въ нашу душу, возбуждая въ ней соответствующія волненія.

Вспомните первый разсказъ Тургенева—„Хорь и Калинычъ“; онъ начинается указаніемъ на „рѣзкую разницу между породой людей въ Орловской губерніи и калужской породой“ и обстоятельной характеристикой каждой изъ этихъ породъ. Вдумайтесь въ это начало, сравните ваши впечатлѣнія отъ каждой породы съ настроеніями, которыя вы переживаете въ теченіе разсказа отъ энергичнаго, положительнаго, практическаго Хоря, который обстроился, „расплодилъ большое семейство“, „накопилъ деньжонку“, и мечтательнаго, восторженнаго идеалиста-романтика Калиныча, который ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ;— и вы согласитесь, что лучшаго начала и придумать нельзя, что оно, точно увертюра въ оперѣ, точно предварительный ударъ гениальнаго артиста по клавишамъ, сразу создаетъ въ васъ известное настроеніе, которое развивается и опредѣляется въ теченіе разсказа. А вотъ заключительный аккордъ: „Мы поѣхали; заря только что разгоралась. „Славная погода завтра будетъ“, замѣтилъ я, глядя на свѣтлое небо. „Нѣтъ, дождь пойдетъ, — возразилъ мнѣ Калинычъ, — утки, вонъ, плещутся, да и трава больно сильно пахнетъ“.—Мы въѣхали въ кусты. Калинычъ запѣлъ вполголоса, подпрыгивая на облучкѣ, и все глядѣлъ да глядѣлъ на зарю“... Чувствуется, что авторъ ударяетъ по тѣмъ именно струнамъ вашего сердца, которыя вибрировали и звучали на протяженіи всего разсказа, и слагаются эти неровные и грустные звуки въ „пѣсню труда и терпѣнія“:

Измучены нуждой, подавлены трудомъ,  
Мы крестъ тяжелый свой безъ жалобы несемъ.  
Ни края, ни конца, ни свѣта на пути!  
Но мы должны впередъ хоть ощупью идти  
Съ надеждой сладкою, съ желаніемъ въ груди  
Зарю счастливыхъ дней увидѣть впереди!

(„Въ пути“ С. Д. Дрожжина.)



Вмѣстѣ съ охотникомъ и ваше сердце бьется надеждой на лучшее будущее для русскаго народа, чтобы не было этой несправедливой разницы породъ, чтобы всѣ „глядѣли весело и смѣло“; но порой оно какъ-то сжимается въ тревожномъ безпокойствѣ отъ набѣгающихъ тучъ, не заволокли бы онѣ только что загорѣвшейся зари просвѣщенной свободы, не лишили бы онѣ русскаго крестьянина свѣтлаго дня—свободной жизни.

Вотъ другой разсказъ—„Касьянъ съ Красивой Мечи“. Онъ открывается печальной картиной похоронъ. Фонъ картины—безотраднo-сѣрая „скудная природа“: „Мы ѣхали,—разсказываетъ И. С. Тургеневъ,—по широкой, распаханной равнинѣ; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбѣгали въ нее высокіе, тоже распаханые холмы... Узкія тропинки тянулись по полямъ, пропадали въ лощинкахъ, вились по пригоркамъ“... Надъ „пустыннымъ пространствомъ повисъ душной зной лѣтняго облачнаго дня“; „мелкая бѣлая пыль поднималась безпрестанно съ выбитой дороги изъ-подъ разошедшихся и дребезжавшихъ колесъ“... Охотникъ различилъ какой-то поѣздъ. „Это были похороны. Впереди, въ телѣгѣ, запряженной одной лошадкой, шагомъ ѣхалъ священникъ; дьячокъ сидѣлъ возлѣ него и правилъ: за телѣгой четыре мужика, съ обнаженными головами, несли гробъ, покрытый бѣлымъ полотномъ: двѣ бабы шли за гробомъ. Тонкій, жалобный голосокъ одной изъ нихъ вдругъ долетѣлъ до моего слуха. Я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустыхъ полей этотъ переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напѣвъ...“

Тихо свернувъ съ дороги на траву, потянулось мимо нашей телѣги печальное шествіе. Мы съ кучеромъ сняли шапки, раскланялись со священникомъ, переглянулись съ носильщиками. Они выступали съ трудомъ: высоко поднимались ихъ широкія груди. Изъ двухъ бабъ, шедшихъ за гробомъ, одна была очень стара и блѣдна: неподвижныя ея черты, жестоко искаженныя горестью, хранили выраженіе строгой, торжественной важности. Она шла молча, изрѣдка поднося худую руку къ тонкимъ, ввалившимся губамъ. У другой бабы, молодой женщины лѣтъ двадцати пяти, глаза были красны и влажны и все лицо опухло отъ плача: поровнявшись съ нами, она перестала голосить и закрылась рукавомъ... Но вотъ покойникъ миновалъ насъ, выбрался опять на дорогу и опять раздалось ея жалобное, надрывающее душу пѣніе“.

Эта „жалобная, надрывающая душу“ заплачка — развѣ не

является она лучшимъ запѣвомъ къ своеобразной пессимистической философіи Касьяна, по которой „въ людяхъ нѣтъ справедливости“, потому что всюду несутъ они съ собой смерть и разрушеніе: „пташекъ небесныхъ стрѣляютъ для потѣхи, кровь проливаютъ неповинную, рощу сводятъ — Богъ имъ судья!—смерти помогаютъ“... Точно такъ же и заключительная картина загорающейся оси, которую разъ шесть приходилось обливать на какихъ-нибудь десяти верстахъ, при чемъ втулка колеса шипѣла, — эта прозаическая картина не подводитъ ли итогъ вашимъ впечатлѣніямъ отъ пошлой, будничной, безпросвѣтно-мглистой, удушающей обыденности, которая мертвитъ все и всѣхъ, которая видитъ въ проповѣдникахъ высшей, истинной жизни на началахъ любви и справедливости только „глупыхъ людей“ и къ ихъ жалобамъ на людскую злобу и неправду относится, какъ къ болтовнѣ юродивца?..

Эти примѣры можно было бы увеличить цѣлымъ рядомъ другихъ, не менѣе краснорѣчиво иллюстрирующихъ изучаемую нами особенность тургеневскаго творчества, но довольно и ихъ, чтобы убѣдиться въ наличности ея въ „Запискахъ Охотника“.

Еще сильнѣе сказывается, еще выразительнѣе становится эта „музыкальность“ таланта Тургенева въ цѣломъ рядѣ описаній природы. „Я страстно люблю природу, особенно въ живыхъ ея проявленіяхъ“, признается Тургеневъ въ статьѣ о „Запискахъ ружейнаго охотника“ С. Аксакова. Ближе опредѣляя это чувство, въ его нормальномъ, такъ сказать, состояніи, какимъ оно должно быть, онъ указываетъ на то, что „эта любовь должна быть безкорыстна, какъ всякое истинное чувство: любите природу не въ силу того, что она значитъ въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что она вамъ сама по себѣ мила и дорога, и вы поймете ее“. Тургеневъ любилъ природу и понималъ ее. „Въ самой природѣ,—продолжаетъ онъ,—нѣтъ ничего ухищреннаго и мудренаго, она никогда ничѣмъ не щеголяетъ, не кокетничаетъ; въ самыхъ своихъ прихотяхъ она добродушна. Всѣ поэты съ истинными и сильными талантами не становились въ „позитуру“ предъ лицомъ природы; они не старались, какъ говорится, „подслушать, подсмотреть“ ея тайны; великими и простыми словами передавали они ея простоту и величіе; она не раздражала ихъ, она ихъ воспламеняла; но въ этомъ пламени не было ничего болѣзненнаго. Вспомните описанія Пушкина, Гоголя (къ нимъ присоединяетъ онъ Шекспира и Гомера)... Словомъ, описывая явленія природы, дѣло въ томъ, чтобы сказать

все, что можетъ придти вамъ въ голову, но такъ, чтобы ваше изображеніе было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вамъ, ни намъ, слушателямъ, не останется больше ничего желать“. Описанія Тургенева именно такovy, и не даромъ Тэнъ называетъ его „однимъ изъ самыхъ совершенныхъ художниковъ, какими только обладалъ міръ, послѣ художниковъ Греціи“: „несравненное изящество и вмѣстѣ рельефность рисунка“ дѣлають эти описанія неподражаемыми. „Пейзажная живопись „Записокъ Охотника“,—говоритъ Венгеровъ,—не знаетъ себѣ ничего равнаго въ нашей литературѣ. Изъ средне-русскаго, на первый взглядъ безцвѣтнаго, пейзажа Тургеневъ сумѣлъ извлечь самые задушевные тона, въ одно и то же время и меланхолическіе и сладко бодрящіе“. „Способный отдаться (слова Арсеньева) всецѣло обаянію природы, наслаждаться ею наивно и безотчетно, Тургеневъ умѣлъ смотрѣть на нее и глазами художника, анализирующаго впечатлѣнія, подмѣчающаго отдѣльныя черты пейзажа, останавливающагося на томъ, чего не видитъ масса“.

Но художественность тургеневскихъ описаній не все и едва ли даже самое главное: въ нихъ слышится „живая душа“. И у Тургенева, какъ у Пушкина, описанія котораго онъ считаетъ образцовыми, „любовь къ природѣ тѣсно сплетается съ любовью къ жизни, и красота человѣка для него выше всякой иной красоты“ (слова Мельшина о Пушкинѣ). Природа, взятая отдѣльно отъ человѣка, природа *an sich* представляется писателю чѣмъ-то желѣзнымъ и холоднымъ и вызываетъ въ немъ „благоговѣйный страхъ“; въ этомъ онъ самъ признается въ одномъ изъ своихъ „Senilia“—„Природа“. „Мнѣ снилось,—разсказываетъ онъ,—что я вошелъ въ огромную подземную храмину съ высокими сводами. Ее всю наполнялъ какой-то тоже подземный, ровный свѣтъ.

По самой срединѣ храмины сидѣла величавая женщина въ волнистой одеждѣ зеленаго цвѣта. Склонивъ голову на руку, она казалась погруженной въ глубокую думу.

Я тотчасъ понялъ, что эта женщина—сама Природа, и мгновеннымъ холодомъ внѣдрился въ мою душу благоговѣйный страхъ.

Я приблизился къ сидящей женщинѣ—и, отдавъ почтительный поклонъ, „О, наша общая мать!—воскликнулъ я.—О чемъ твоя дума? Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?“

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные

глаза. Губы ея шевельнулись, и раздался зычный голосъ, подобный лязгу желѣза.

— Я думаю о томъ, какъ бы придать большую силу мышцамъ ногъ блохи, чтобы ей удобнѣе было спастись отъ враговъ своихъ. Равновѣсіе нападенія и отпора нарушено... Надо его возстановить.

— Какъ?—пролепеталъ я въ отвѣтъ.—Ты готъ о чемъ думаешь? Но развѣ мы, люди, не любимыя твои дѣти?

Женщина чуть-чуть наморщила брови:—Всѣ твари—мои дѣти,—промолвила она,—и я одинаково о нихъ забочусь и одинаково ихъ истребляю.

— Но добро... разумъ... справедливость... — пролепеталъ я снова.

— Это человѣческія слова,—раздался желѣзный голосъ:—я не вѣдаю ни добра, ни зла... Разумъ мнѣ не законъ—и что такое справедливость?.. Я тебѣ дала жизнь—я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты пока защищайся—и не мѣшай мнѣ!

Я хотѣлъ было возражать, но земля кругомъ глухо застонала и дрогнула—и я проснулся.

И однако та же природа превращается въ „лазурное царство“ подъ дѣйствіемъ животворящей силы любви, „блаженной любви“. „О, лазурное царство! О, царство лазури, свѣта, молодости и счастья! Я видѣлъ тебя... во снѣ.“

Насъ было нѣсколько человѣкъ на красивой, разубранной лодкѣ. Лебединой грудью вздымался бѣлый парусъ подъ рѣзвыми выпелами.

Я не зналъ, кто были мои товарищи; но я всѣмъ своимъ существомъ чувствовалъ, что они были такъ же молоды, веселы и счастливы, какъ и я.

Да я и не замѣчалъ ихъ. Я видѣлъ кругомъ одно безбрежное лазурное море, все покрытое мелкой рябью золотыхъ чешуекъ, а надъ головою такое же безбрежное, такое же лазурное море, и по немъ, торжествуя и словно смѣясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временамъ поднимался смѣхъ, звонкій и радостный, какъ смѣхъ боговъ!

А не то вдругъ съ чыхъ-нибудь устъ слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... казалось, самое небо звучало имъ въ отвѣтъ и кругомъ море сочувственно трепетало... А тамъ опять наступала блаженная тишина.

Слегка ныряя по мягкимъ волнамъ, плыла наша быстрая лодка. Не вѣтромъ двигалась она; ею правили наши собственныя, играющія сердца. Куда мы хотѣли, туда она и неслась, послушно, какъ живая.

Намъ попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова съ отливами драгоцѣнныхъ камней, яхонтовъ и изумрудовъ. Упоительныя благовонія неслись съ округлыхъ береговъ; одни изъ этихъ острововъ осыпали насъ дождемъ бѣлыхъ розъ и ландышей: съ другихъ внезапно поднимались радужныя, длиннокрылыя птицы.

Птицы кружились надъ нами, ландыши и розы таяли въ жемчужной пѣнѣ, скользящей вдоль гладкихъ боковъ нашей лодки.

Вмѣстѣ съ цвѣтами, съ птицами прилетали сладкіе звуки... Женскіе голоса чудились въ нихъ... И все вокругъ: небо, море, колыханіе паруса въ вышинѣ, журчаніе струи за кормою—все говорило о любви, о блаженной любви!

И та, которую каждый изъ насъ любилъ—она была тутъ... невидимо и близко. Еще мгновеніе—и вотъ засіяютъ ея глаза, расцвѣтетъ ея улыбка... Ея рука возьметъ твою руку и увлечетъ тебя за собою въ неувядаемый рай!

О лазурное царство! я видѣлъ тебя во снѣ“.

Прошли тысячелѣтія, не стало человѣка, этой „козявки-двуножки“; и жизнь замираетъ въ этомъ „лазурномъ царствѣ“; и нѣтъ больше лазури, молодости и счастья, нѣтъ ласки, тепла и привѣта:

„— А теперь?—спрашиваетъ Юнгфрау спустя другія тысячи лѣтъ—одну минуту.

— Теперь хорошо,—отвѣчаетъ Финстерааргорнъ:—опратно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь. Вездѣ нашъ снѣгъ и ледъ. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно.

— Хорошо,—промолвила Юнгфрау.—Однако довольно мы съ тобой поболтали, старикъ. Пора вздремнуть.

— Пора.

Спать громадныя торы; спитъ зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей“.

Вспомнимъ кстати слова Шубина: „Сколько ты (онъ обращается къ Берсеневу) ни стучись природѣ въ дверь, не отзовется она понятнымъ словомъ, потому что она нѣмая. Живая душа—та отзовется“... Человѣкъ „влагаетъ въ нее, въ нѣмую языкъ“, и она „вторитъ его гимну, радуется и поетъ“ вмѣстѣ съ нимъ или грустить и плачетъ... И у Тургенева природа живетъ не

только сама по себѣ, она живетъ думами и волненіями чело-вѣка; потому-то и мѣняется она у него, точно музыкальный аккомпаниментъ, въ соотвѣтствіи съ той или другой мелодіей души челоуѣческой.

Въ этомъ смыслѣ Тургеневъ гениальный ученикъ пѣвца „Слова о полку Игоревѣ“. Въ „Словѣ“ природа является „живымъ, одушевленнымъ лицомъ; она за одно съ поэтомъ; она полна сочувствія къ челоуѣку; она раздѣляетъ всѣ его волненія и особенно горе; она угрожаетъ предвѣстіями, она откликается и на радость. Вся явленія природы здѣсь—разныя чувства одной и той же души, струны одного органа, члены одного тѣла“ (Шевыревъ). Но „въ Тургеневѣ,—говоритъ Анненковъ,—чувство природы врожденное неподдѣльное, независимое отъ чужого примѣра или отъ литературныхъ требованій,—потому и выражается оригинально“; понятно, что ученикъ идетъ гораздо далѣе своего учителя. Пѣвецъ „Слова о полку Игоревѣ“ устанавливаетъ лишь самый фактъ взаимодействія между міромъ физическихъ явленій и внутреннимъ міромъ души челоуѣческой, при чемъ это взаимодействие въ наивномъ міросозерцаніи пѣвца получаетъ нерѣдко характеръ таинственной связи, дѣйствія высшихъ божественныхъ силъ скрывающихся за видимыми стихіями (таковы, напр., картины солнечнаго затменія, ночи и др.); Тургеневъ же въ цѣломъ рядѣ художественныхъ описаній природы, въ которыя, какъ въ великолѣпныя рамы, вставлены картины челоуѣческой жизни, даетъ объясненіе того, откуда эта связь между матеріальнымъ и духовнымъ, какими естественными отношеніями держалось и будетъ держаться это—для слабой, боязливой и неясной мысли некультурныхъ людей таинственное—общеніе. И то, что у пѣвца „Слова“ является нерѣдко съ характеромъ миѳическаго вѣрованія, у Тургенева получаетъ свое опредѣленное мѣсто, здравый смыслъ и нормальное значеніе, какъ выраженіе совершенно законной и притомъ постоянной связи между челоуѣкомъ и природой. „Челоуѣкъ не можетъ не принимать природы,—говоритъ онъ въ цитированной выше статьѣ о книгѣ Аксакова, онъ связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ нитей: онъ сынъ ея“. Первобытный челоуѣкъ воображаетъ и чувствуетъ природу, какъ цѣлое божественныхъ стихійныхъ силъ, которыя онъ боготворитъ или которыхъ онъ, по крайней мѣрѣ, боится, хотя бы и не отдавая себѣ отчета въ основанія этой боязни. Это непосредственно-наивное отношеніе къ природѣ не чуждо и челоуѣку культурному, но какъ явленіе рѣдкое, исключительное, пожалуй болѣзненное

(см. ниже). Между тѣмъ и человѣку простому и людямъ образованнымъ свойственны инныя нормальныя, здоровыя, такъ сказать, отношенія къ природѣ, поскольку каждый изъ насъ „связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ нитей“, безконечныхъ рядовъ образовъ и волненій, для которыхъ она, природа, является неизсякаемымъ источникомъ. Въ этомъ смыслѣ не только поэтъ, но и каждый человѣкъ, въ большей или меньшей степени, эхомолчно звучащей природы, и стоитъ только поставить рядомъ двѣ-три народныхъ русскихъ пѣсни и какое-либо изъ лирическихъ стихотвореній Пушкина или Лермонтова, чтобы понять, что природа находитъ себѣ откликъ въ каждомъ изъ насъ. Тургеневъ мастерски изображаетъ эти безконечно-разнообразныя созвучія, извлеченныя душой человѣческой изъ міра физическихъ явленій. Своей чуткой душой онъ умѣетъ прислушиваться къ тончайшимъ переливамъ, къ неуловимымъ нюансамъ великой гармоніи звуковъ въ природѣ, какъ они воспринимаются отдѣльной человѣческой личностью, и съ неподражаемымъ искусствомъ передаетъ эту музыку настроеній, индивидуализируя ее соответственно полу, возрасту, положенію и другимъ особенностямъ лица изображаемаго.

Вотъ примѣры.

Нѣсколько крестьянскихъ мальчиковъ бесѣдуютъ у костра („Бѣжинъ лугъ“). „Бесѣда эта,—говоритъ Стоюнинъ,—показываетъ, какъ въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ устанавливаются ложныя отношенія человѣка къ природѣ, отношенія, переданныя прадѣдами, которые въ свой чередъ приняли ихъ еще въ дѣтствѣ отъ старины, и ничто въ этихъ вѣрованіяхъ не измѣнилось, потому что не измѣнились ни природа, возбуждавшая ихъ своими таинственными силами, ни человѣкъ, оставшійся при томъ же маломъ развитіи“. Предшествующее этой бесѣдѣ изображеніе блужданій охотника въ „неизвѣстныхъ мѣстахъ“, когда „ночь приближалась и росла, какъ грозовая туча“,—есть въ высшей степени глубоко задуманный и тонко выполненный художественно-психологическій очеркъ происхожденія той самой вѣры въ таинственное, которая проходитъ чрезъ всѣ рассказы и дѣйствія мальчиковъ. Охотникъ—человѣкъ образованный, и однако, находясь въ состояніи полной неизвѣстности и упадка активности до крайняго minimum'a, онъ переживаетъ цѣлый рядъ эмоцій, близкихъ къ тѣмъ, которыми возбуждается народная фантазія къ созданію всякихъ сверхъестественныхъ существъ. „Если мы вникнемъ (слова Стоюнина), какую сторону природы старался



онъ (Тургеневъ) представить, то увидимъ, что на первый планъ здѣсь выступаетъ все чарующее, располагающее къ нѣгѣ, все таинственное, сильно дѣйствующее на воображеніе неразвитаго человѣка“. Но Тургеневъ не ограничивается изображеніями природы подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія, предъ нами живой человѣкъ, на которомъ мы и слѣдимъ процессъ зарожденія и постепеннаго развитія вѣры въ таинственное. Начальный моментъ этого процесса—невѣдѣніе („увидаль... *неизвѣстныя мѣста*), которое въ свою очередь выражается въ недоумѣніи, т.-е. въ нѣкоторомъ безсиліи ума проанализировать и выразумѣть данную совокупность фактическихъ подробностей и перевести ихъ въ болѣе или менѣе ясное логическое построеніе, которымъ и направляется дѣятельность воли; вотъ почему „недоумѣніе“ и ведетъ къ пріостановкѣ или временной задержкѣ волевыхъ отправленій: „я *остановился въ недоумѣніи*“. Не освѣщенная свѣтомъ сознательной мысли и потому какъ бы растерявшаяся, воля мало проявляетъ энергіи и слабо реагируетъ на впечатлѣнія окружающей дѣйствительности, которая виснетъ на человѣкѣ въ такомъ состояніи всею тяжестью неизвѣданныхъ ощущеній, неясныхъ, но сильныхъ эмоций: „...я... проворно спустился съ холма. Меня тотчасъ охватила *непріятная*, неподвижная сырость, точно я вошелъ въ погребъ; густая, высокая трава на днѣ долины, вся мокрая, бѣлѣла ровной скатертью; ходить по ней *было какъ-то жутко*“. Чувство страха, само рожденное невѣдѣніемъ и вмѣстѣ упадкомъ энергіи, понижаетъ еще болѣе уровень сознательно-активной психической жизни, и отношеніе человѣка къ дѣйствительности мало-по-малу приближается къ той роковой грани, за которой утрачивается разница между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что создается фантазіей, между фактомъ и крылатой мечтой. „*Летучія мыши* уже носились надъ его (осинника) заснувшими верхушками, *таинственно* кружась и дрожа на *смутно-ясномъ* небѣ; рѣзво и прямо пролетѣлъ въ вышинѣ запоздалый ястребокъ, спѣша въ свое гнѣздо... *Ночь приближалась и росла*, какъ грозовая туча; *казалось*, вмѣстѣ съ вечерними парами отовсюду поднималась и даже съ *вышины лилась темнота*... Все кругомъ быстро *чернѣло* и утихало... Поле *неясно бѣлѣло* вокругъ; за нимъ, съ каждымъ мгновеніемъ надвигаясь громадными клубами, *вздыхался урюмый мракъ*. *Глухо* отдавались мои шаги въ застывающемъ воздухѣ... Я... очутился въ неглубокой, кругомъ распавшейся лощинѣ. *Странное чувство* тотчасъ овладѣло мной. Лощина эта имѣла видъ почти правильнаго котла съ пологими



боками; на днѣ ея торчало стоймя нѣсколько большихъ бѣлыхъ камней,—казалось, *они сползли туда для тайнаго соотѣчанія*, и до того въ ней было *глухо и нѣмо*, такъ плоско, такъ *уныло* висѣло надъ нею небо, что *сердце у меня сжалось*“.

Предъ нами по истинѣ изумительная, художественно-психологическая картина происхожденія народныхъ вѣрованій, при взглядѣ на которую невольно вспоминается другой гениальный поэтический отвѣтъ по тому же вопросу—Пушкина въ его стихотвореніи „Бѣсы“. Намъ понятно теперь это темное царство лѣшихъ, русалокъ, домовыхъ и т. п. порожденій дѣтской фантази „темнаго“ человѣка, если даже и образованный человѣкъ, въ состояніи неизвѣстности, нерѣдко теряется и, вслѣдствіе упадка сознательно-активной жизни, поддается дѣйствию „безсознательнаго“, таинственнаго... Могущественнаго человѣкъ инстинктивно боится, если его не знаетъ, оно неизбѣжно страшно, если темно...

Но... „мракъ боролся со свѣтомъ“, говоритъ Тургеневъ, и едва ли можно лучше символизировать духовную жизнь мальчиковъ изъ того подрастающаго поколѣнія, которому суждено быбо увидѣть „зарю просвѣщенной свободы“: „...Вблизи все казалось задернутымъ почти черной завѣсой; но далѣе къ небосклону длинными пятнами смутно виднѣлись холмы и лѣса. Темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпиемъ. Сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ—запахъ русской лѣтней ночи. Кругомъ не слышалось почти никакого шума... Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапной звучностью плеснетъ большая рыба, и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленный набѣжавшей волной... Одни *огоньки тихонько потрескивали*“.

Можно ли лучше изобразить это таинственное рожденіе въ жизнь свободную и разумную, которое любовно созерцаетъ въ крестьянскихъ мальчикахъ, умиленно слышитъ въ этихъ „звонкихъ дѣтскихъ голосахъ“ авторъ, провозвѣстникъ и защитникъ любви, разума и свободы.

Весь рассказъ звучитъ, не переставая, какой-то своеобразной музыкой дѣтскихъ настроеній, точно природа ударяетъ по струнамъ дѣтскихъ сердецъ, и они, эти нѣжныя, чуткія сердечки, колеблются и звучатъ въ отвѣтъ разнообразными аккордами... Чтобы пережить эту музыку настроеній, надо было бы выписать весь рассказъ; я ограничусь мѣстами наиболѣе музыкальными.

...Всѣ смолкли. Вдругъ гдѣ-то въ отдаленіи, раздался протяжный, звенящій, почти стенящій звукъ, одинъ изъ тѣхъ непонятныхъ ночныхъ звуковъ, которые возникаютъ иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоятъ въ воздухѣ и медленно разносятся, наконецъ, какъ бы замирая. Прислушаешься,—и какъ будто нѣтъ ничего, а звенить. Казалось, кто-то долго-долго прокричалъ подъ небосклономъ, кто-то другой какъ будто отозвался ему въ лѣсу тонкимъ, острымъ хохотомъ, и слабый, шипящій свистъ промчался по рѣкѣ. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— Съ нами крестная сила!—шепнулъ Илья.

...Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимаемая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ, откуда ни возьмись, бѣлый голубокъ,—налетѣлъ прямо на это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крылами...

— А что, Павлуша,—промолвилъ Костя,—не праведная ли это душа летѣла на небо, ась?

Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь...

... Всѣ мальчики засмѣялись и опять притихли на мгновеніе, какъ это часто случается съ людьми, разговаривающими на открытомъ воздухѣ. Я поглядѣлъ кругомъ: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свѣжесть поздняго вечера смѣнила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягкимъ пологомъ на заснувшихъ поляхъ; еще много времени оставалось до перваго лепета, до первыхъ росинокъ зари. Луны не было на небѣ: она въ ту пору поздно всходила. Безчисленныя золотыя звѣзды, казалось, тихо текли всѣ, наперерывъ мерцаая, по направленію млечнаго пути, и, право, глядя на нихъ, вы какъ будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бѣгъ земли... Станный рѣзкій, болѣзненный крикъ раздался вдругъ два раза сряду надъ рѣкой и, спустя нѣсколько мгновеній, повторился уже далѣе...

Костя вздрогнулъ... „Что это?“

... Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,—раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани:—гляньте на Божьи звѣздки,—что пчелки роятся!

Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи, оперся

на кулачокъ и медленно поднялъ свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,—ласково заговорилъ Одея:—что твоя сестра Анюточка, здорова?

— Здорова,—отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

— И тебѣ дамъ.

Ваня вздохнулъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою голову на землю.

... Не успѣлъ я отойти двухъ верстъ, какъ уже полились кругомъ меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленѣвшимъ холмамъ, отъ лѣсу до лѣсу, и сзади, по длинной пыльной дорогѣ, по сверкающимъ, обограннымъ кустамъ, и по рѣкѣ, стыдливо синѣвшей изъ-подъ рѣдѣющаго тумана—полились сперва алые, потомъ красные, золотые потоки молодого, горячаго свѣта... Все зашевелилось, проснулось, запѣло, зашумѣло, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зардѣлись крупныя капли росы; мнѣ навстрѣчу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, пронеслись звуки колокола, и вдругъ мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувшій табунъ“.

Здѣсь, какъ и у Некрасова въ его „Крестьянскихъ дѣтяхъ“, „все, все настоящее русское было“... И „сердце волнуется думой любимой“...; авторъ и читатель съ надеждою привѣтствуютъ свободу:

Вынесъ достаточно русскій народъ...  
Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъ!  
Вынесетъ все,—и широкую, ясную  
Грудью дорогу проложить себѣ

сквозь вѣками скоплявшуюся тьму суевѣрій и предрасудковъ.

Играйте же дѣти! Растите на волѣ.

Приведемъ еще примѣръ—разсказъ „Свиданіе“.

Есть у Тургенева „Пѣснь торжествующей любви“; „Свиданіе“—пѣснь умирающей любви. Героиня разсказа—молодая кре-

стьянская дѣвушка, Акулина. „Мнѣ,—говоритъ о ней авторъ,— особенно нравилось выраженіе ея лица: такъ оно было просто и кротко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнія передъ собственной грустью“. А „онъ—избалованный камердинеръ молодого богатаго барина, Викторъ“. „Es ist eine alte Geschichte“: „ему была не новость смиренной дѣвочки любовь“, и, натѣшившись ею, онъ бросаетъ дѣвушку. Радость и счастье первой „невинной любви“ блекнуть, точно тѣ „голубенькіе васильки“, которые нарвала Акулина, чтобы отдать ему на память о своей любви... Дѣвушка идетъ на послѣднее свиданіе. Безъ борьбы, покорно замираетъ въ ней ея глубокое и сильное чувство. Оно еще не умерло; все еще вѣритъ Акулина,—наивное, милое дитя,— что скажетъ онъ ей, „горемычной сиротинушкѣ“, „доброе словечко на прощанье“... Это трепетаніе подстрѣленной, но еще живущей „лани“, эти томительные перебои раненаго, но еще бьющагося сердца Тургеневъ изображаетъ на фонѣ замирающей осенней („около половины сентября“) природы. „Съ самаго утра,—говоритъ онъ,—перепадалъ мелкій дождикъ, смѣняемый по временамъ теплымъ солнечнымъ сіяніемъ; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми, бѣлыми облаками, то вдругъ мѣстами расчищалось на мгновенье, и тогда изъ-за раздвинутыхъ тучъ показывалась лазурь ясная и ласковая, какъ прекрасный глазъ. Я сидѣлъ, и глядѣлъ кругомъ, и слушалъ. Листья чуть шумѣли надъ моей головой; по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющийся трепетъ весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Слабый вѣтеръ чуть-чуть тянулъ по верхушкамъ. Внутренность роши, влажной отъ дождя, безпрестанно измѣнялась, смотря по тому, свѣтило ли солнце или закрывалось облакомъ; она то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ, а красивые стебли высокихъ кудрявыхъ папоротниковъ, уже окрашенныхъ въ свой осенній цвѣтъ, подобный цвѣту переспѣлаго винограда, такъ и сквозили, безконечно путаясь и пересѣкаясь передъ глазами; то вдругъ опять кругомъ все слегка синѣло; яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, безъ блеску, бѣлыя, какъ только что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играю-

щій лучъ зимняго соднца; и украдкой, лукаво, начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь. Листва на берегахъ была еще почти вся зелена, хотя замѣтно поблѣднѣла; лишь кое-гдѣ стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видѣть, какъ она ярко вспыхивала на солнцѣ, когда его лучи внезапно пробивались сквозь частую сѣтку тонкихъ вѣтокъ, только что смытыхъ сверкающимъ дождемъ. Ни одной птицы не было слышно: всѣ пріютились и замолкли; лишь изрѣдка звенѣлъ стальнымъ колокольчикомъ насмѣшливый голосокъ синицы. Прежде чѣмъ я остановился въ этомъ березовомъ лѣску, я съ своей собакой прошелъ черезъ высокую осиновую рошу. Я, признаюсь, не слишкомъ люблю это дерево—осину—съ ея блѣдно-лиловымъ стволомъ и сѣро-зеленой металлической листвою, которую она вздымаетъ какъ можно выше и дрожащимъ вѣромъ раскидываетъ на воздухѣ; не люблю я вѣчное качанье ея круглыхъ, неопятныхъ листьевъ, неловко прицѣпленныхъ къ длиннымъ стебелькамъ. Она бываетъ хороша только въ иные лѣтніе вечера, когда, возвышаясь отдѣльно среди низкаго кустарника, приходится въ упоръ рдѣющимъ лучамъ заходящаго солнца и блеститъ и дрожитъ, съ корней до верхушки облитая одинаковымъ желтымъ багрянцемъ, или когда, въ ясный день, она вся шумно струится и лепечетъ на синемъ небѣ, и каждый листъ ея, подхваченный стремленьемъ, какъ будто хочетъ сорваться, слетѣть и умчаться въ даль. Но вообще я не люблю этого дерева“.

Появляется дѣвушка, и, точно любящая, но убитая горемъ мать для страстно любимаго больного дитяти сквозь слезы смѣется, осенняя природа мѣняетъ свою физиономію, ласковымъ свѣтомъ и радостнымъ шумомъ встрѣчая эту „дочь природы“. „Вся внутренность лѣса была наполнена солнцемъ, и во всѣ направленья, сквозь радостно шумѣвшую листву, сквозило и какъ бы искрилось ярко-голубое небо: облака скрылись, разогнанныя взыгравшимъ вѣтромъ; погода расчистилась, и въ воздухѣ чувствовалась та особенная, сухая свѣжесть, которая, наполняя сердце какимъ-то бодрымъ ощущеньемъ, почти всегда предсказываетъ мирный и ясный вечеръ послѣ ненастнаго дня...

... Вдругъ глаза мои остановились на неподвижномъ человѣческомъ образѣ. Я оглядѣлся: то была молодая крестьянская дѣвушка. Она сидѣла въ двадцати шагахъ отъ меня, задумчиво потупивъ голову и уронивъ обѣ руки на колѣни; на одной изъ нихъ, до половины раскрытой, лежалъ густой пучокъ полевыхъ

цвѣтовъ и при каждомъ ея дыханіи тихо скользилъ на клѣтчату юбку. Чистая бѣлая рубаха, застегнутая у горла и кистей ложилась короткими, мягкими складками около ея стана, крупныя желтыя бусы въ два ряда спускались съ шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые бѣлокурые волосы прекраснаго пепельнаго цвѣта расходились двумя тщательно причесанными полукругами изъ-подъ узкой, алой повязки, надвинутой почти на самый лобъ, бѣлый, какъ слоновая кость; остальная часть ея лица едва загорѣла тѣмъ золотымъ загаромъ, который принимаетъ одна тонкая кожа. Я не могъ видѣть ея глазъ—она ихъ не поднимала, но я видѣлъ ея тонкія, высокія брови, ея длинныя рѣсницы: онѣ были влажны, и на одной изъ ея щекъ блистала на солнцѣ высохшій слѣдъ слезы, остановившейся у самыхъ губъ, слегка поблѣднѣвшихъ. Вся ея головка была очень мила: даже немного толстый и круглый носъ ее не портилъ... Она видимо ждала кого-то“.

„Свиданіе“ не оправдало наивныхъ ожиданій неопытной дѣвушки. Викторъ, съ „презрительнымъ и скучающимъ выраженіемъ“ на „румяномъ, свѣжемъ, нахальномъ“ лицѣ, „безпрестанно щурилъ свои, и безъ того крошечные, молочно сѣрые глазки, морщился, опускалъ углы губъ, принужденно зѣвалъ и съ небрежной, хотя не совсѣмъ ловкой развязностью то поправлялъ рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то шипалъ желтые волосики, торчащіе на толстой верхней губѣ,—словомъ, ломался нестерпимо“. Акулина просить не забывать ее. „Ужь, кажется, я на что васъ любила, все, кажется, для васъ...“ и въ отвѣтъ получаетъ жестокое наставленіе „не дурачиться“, „слушаться отца“... Акулина предлагаетъ любимому человѣку на память о своей любви небольшой пучокъ голубенькихъ васильковъ, перевязанныхъ тоненькой травкой: „Это я для васъ, хотите?“ „Викторъ лѣниво протянулъ руку, взялъ, небрежно понюхалъ цвѣты и началъ вертѣть ихъ въ пальцахъ, съ задумчивою важною поглядывая вверхъ. Акулина глядѣла на него... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смѣла плакать, и прощалась съ нимъ, и любовалась имъ въ послѣдній разъ, а онъ лежалъ, развалясь, какъ султанъ, и съ великодушнымъ терпѣніемъ и снисходительностью сносилъ ея обожанье. Я, признаюсь, съ негодованіемъ разсматривалъ его красное лицо, на которомъ сквозь притворно-презрительное равнодушіе проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбіе. Акулина

была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея довѣрчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ... онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ бокового кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глазъ“.

Бѣдная дѣвушка просить, какъ милости, „хоть бы словечка на прощанье“ и слышитъ грубо-циническія разсужденія: „... Ты глупа... Чего ты хочешь? Вѣдь я на тебѣ жениться не могу? вѣдь не могу? Ну, такъ чего жъ ты хочешь? чего? (Онъ уткнулся лицомъ, какъ бы ожидая отвѣта, и растопырилъ пальцы.)

— Я ничего... ничего не хочу,—отвѣчала она, заикаясь и едва осмѣливаясь простираться къ нему трепещущія руки,—а такъ, хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьемъ.

— Ну, такъ и есть, пошла плакать,—хладнокровно промолвилъ Викторъ, надвигая сзади картузъ на глаза.

— Я ничего не хочу,—продолжала она, всхлипывая и закрывъ лицо обѣими руками.—Но каково же мнѣ теперь въ семьѣ, каково же мнѣ? И что же со мной будетъ, что станетъ со мной, горемычной? За немилаго выдадутъ сиротиночку... Бѣдная моя головушка!

— Припѣвай, припѣвай,—вполголоса пробормоталъ Викторъ, переминаясь на мѣстѣ.

— А онъ хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать я... Внезапныя, надрывающія грудь рыданія не дали ей докончить рѣчи—она повалилась лицомъ на траву и горько, горько заплакала...—Все ея тѣло судорожно волновалось, затылокъ такъ и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло, наконецъ, потокомъ. Викторъ постоялъ надъ нею, пожалъ плечами, повернулся и ушелъ большими шагами.

Прошло нѣсколько мгновеній... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотѣла было бѣжать за нимъ, но ноги у ней подкосились—она упала на колѣни“...

„Alles ist todt“, вспоминаются слова Лемма въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и похоронный реквиемъ слышится въ этомъ описаніи природы, оканчивающемъ разсказъ: „Солнце стояло низко на блѣдно-ясномъ небѣ, лучи его тоже какъ будто поблекли и похолодѣли: они не сіяли, они разливались ровнымъ, почти водянистымъ свѣтомъ. До вечера оставалось не болѣе получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый вѣтеръ мчался мнѣ навстрѣчу черезъ желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь

передъ нимъ, стремились мимо, черезъ дорогу, вдоль опушки, маленькіе, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломинкахъ, всюду блестѣли и волновались безчисленныя нити осеннихъ паутинъ. Я остановился... Мнѣ стало грустно; сквозь веселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и рѣзко разсѣвая воздухъ крылами, пролетѣлъ осторожный воронъ, повернулъ голову, посмотрѣлъ на меня сбоку, взмылъ и, отрывисто каркая, скрылся за лѣсомъ“...

Эти примѣры могли бы быть увеличены другими,—таковы, напримѣръ, описанія природы въ разсказахъ: „Живыя мощи“, „Бирюкъ“, „Касьянъ съ Красивой Мечи“ и др.; но довольно и ихъ. Такъ, подъ обаяніемъ дивной творческой кисти художника поэта, „нѣмая природа“ говоритъ, и—такова сила очарованія!—мы начинаемъ вѣрить, что

... . . . природа

Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:  
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,  
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Характеристика творчества Тургенева была бы не полна, если бы мы не отмѣтили еще одну весьма важную и характерную особенность его художественнаго дарованія. На немъ оправдывается наблюденіе Гоголя, что „кто льетъ часто душевныя глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ“. Горячая любовь писателя къ человѣку и задушевная грусть надъ его несовершенствами и несчастіями не заволакивали отъ него пошлой стороны жизни; не даромъ въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ не было, по свидѣтельству Анненкова, „ни малѣйшихъ признаковъ фальши“; наоборотъ, „искреннее чувство, внутренняя правда мысли и ощущенія“ неизмѣнно отличаютъ все, что имъ написано. И тамъ, гдѣ не было мѣста святой любви и дѣвственной печали, въ толпѣ „существователей“ (Гоголь), „кожаныхъ чемодановъ съ сухимъ сѣномъ“ (Тургеневъ), писатель смѣялся... „Ко всѣмъ качествамъ изобрѣтательности, наблюдательности и вдумчивости въ явленія Тургеневъ присоединялъ еще въ значительной долѣ ѣдкое остроуміе и эпиграмматическія способности“, при чемъ его „эпиграмматическія замѣтки имѣли пошибъ народныхъ поговорокъ“ (Анненковъ).

Эти „эпиграмматическія способности“ и „ѣдкое остроуміе“



нашли себѣ примѣненіе и въ „Запискахъ Охотника“; писателю было надѣ кѣмъ посмѣяться, и онъ смѣется, въ цѣломъ рядѣ остроумно-ѣдкихъ характеристикъ, надѣ Полутыкиными, Пѣночкиными, Лосняковыми, Хвалынскими, Стегуновыми и т. п. Смѣхъ у Тургенева—свой, чисто тургеневскій. Писатель умѣетъ пригвоздить пошлаго человѣка къ позорному столбу, выставить его „на всенародныя очи“, умѣетъ, выражаясь словами нашего несравненнаго обличителя пошлости, „всякую мерзость нашу лишить картиннаго вида и рыцарской маски, подѣ которой (до тѣхъ поръ) выѣзжала козыремъ, и поставить рядомъ съ тою гадостью, которая всѣмъ видна“, притомъ самъ оставаясь въ сторонѣ, не навязывая читателю своихъ сужденій. Точно взявъ Тургеневъ русскаго читателя да и пошелъ съ нимъ въ ту громадную галерею, которая называется „русскимъ обществомъ“. Читатель, какъ ни станетъ, куда ни поглядитъ, не видитъ никого и ничего такого, надѣ кѣмъ и надѣ чѣмъ можно было бы смѣяться: все свои, обыкновенные люди, а есть даже и „рыцари“ въ родѣ Пѣночкиныхъ. Но вотъ писатель возьметъ да и повернетъ какого-нибудь „рыцаря“ по-своему, скажетъ и читателю, какъ стать ему, чтобы виднѣе было, и вдругъ „рыцарь“ станетъ „кожанымъ чемоданомъ съ сухимъ сѣномъ“; изумленный читатель идетъ къ другому, къ третьему, и не видитъ людей, куда ни посмотритъ: „все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя“. И смѣется онъ надѣ тѣми, надѣ кѣмъ прежде и не подумалъ бы смѣяться, не по себѣ ему дѣлается среди этихъ „существователей“, и сторонится онъ ихъ; въ какой-то необъяснимой тревогѣ бросаетъ онъ взоръ и на самого себя и съ грустью убѣждается, что „надѣ собой смѣется“, потому что и въ немъ много „существовательскаго“, да только не замѣчалъ онъ его до сихъ поръ.

Вотъ, для примѣра, г. Полутыкинъ („Хоръ и Калинычъ“), „страстный охотникъ и, слѣд., отличный человѣкъ“. „Водились за нимъ, правда, нѣкоторыя слабости: онъ, напримѣръ, сватался за всѣхъ богатыхъ невѣстъ въ губерніи и, получивъ отказъ отъ руки и отъ дому, съ сокрушеннымъ сердцемъ довѣрялъ свое горе всѣмъ друзьямъ и знакомымъ, а родителямъ невѣстъ продолжалъ посылать въ подарокъ кислые персики и другія сырыя произведенія своего сада; любилъ повторять одинъ и тотъ же анекдотъ, который, несмотря на уваженіе г-на Полутыкина къ его достоинствамъ, рѣшительно никого не смѣшилъ; хвалилъ

сочиненія Акима Нахимова и повѣсть „Пинну“ заикался; называлъ свою собаку Астрономомъ; вмѣсто однако говорилъ одначе и завелъ у себя въ домѣ французскую кухню, тайна которой, по понятіямъ его повара, состояла въ полномъ измѣненіи естественнаго вкуса каждаго кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба—грибами, макароны—горохомъ; зато ни одна морковь не попадала въ супъ, не принявъ вида ромба или трапеціи. Но, за исключеніемъ этихъ немногихъ и незначительныхъ недостатковъ, г-нъ Полутыкинъ былъ, какъ уже сказано, отличный человѣкъ“.

Вы видите при такомъ освѣщеніи, что г. Полутыкинъ весь составленъ изъ „немногихъ и незначительныхъ недостатковъ“, что въ немъ ни одного положительнаго качества; это ли не „отличный человѣкъ“?

Эта сатира „Записокъ Охотника“,—на которую до сихъ поръ, кажется, мало обращалось вниманія, такъ какъ ее заслоняли картины и типы дореформенной крестьянской жизни,—составляетъ весьма важный элементъ того сильнаго вліянія, которое пережило русское общество отъ разсказовъ Тургенева: оно научилось любить безправныхъ „людей“ и, разглядѣвши и понявши „господъ“, перестало уважать ихъ... Писатель въ самомъ основаніи рушилъ крѣпостнической строй: доказывая право „людей“ на свободную и разумную жизнь, онъ отрицалъ право владѣть людьми за „господами“, которые даже не могли называться людьми, потому что не были ими.

Наконецъ, необходимо отмѣтить достоинства языка „Записокъ Охотника“. „Тургеневъ—первый русскій стилистъ“, говоритъ о немъ Венгеровъ. Русскому языку посвящено послѣднее „стихотвореніе въ прозѣ“. „Во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбахъ моей родины,—говоритъ Тургеневъ,—ты одинъ мнѣ поддержка и опора, о, великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ! Не будь тебя—какъ не впасть въ отчаяніе при видѣ всего, что совершается дома? Но нельзя вѣрить, чтобы такой языкъ не былъ данъ великому народу!“ Въ устахъ Тургенева этотъ „великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ“ дѣйствительно „получилъ самое благородное и изящное выраженіе“ (Венгеровъ). Мельхиоръ де Вогюэ даетъ слѣдующую выразительную характеристику Тургеневской рѣчи. „Рѣчь Тургенева льется плавно и роскошно, подобно тому какъ стелется скатертью подъ сѣнью дремучихъ лѣсовъ, тихо и задумчиво, гармонично шумя въ прибрежныхъ камышахъ и распро-

страняя вокругъ свои неуловимые ароматы, могучая русская рѣка, вынося на своей поверхности полевые цвѣты и оторванныя гнѣзда, отражая въ себѣ безконечные ландшафты небесъ и луговъ и вдругъ теряясь въ сумракѣ лѣсныхъ тѣней; все находить себѣ отраженіе въ этой рѣчи: и жужжанье пролетѣвшей пчелки, и ночной крикъ лѣсной птицы, и случайно подувшій и замершій, ласкающій вѣтерокъ. При помощи неисчерпаемыхъ средствъ русскаго языка, путемъ мѣткихъ эпитетовъ, своеобразнѣйшихъ сочетаній словъ, какія только можетъ выдумать фантазія поэта, и ловкихъ народныхъ звукоподражательныхъ обозначеній, автору удается воспроизводить самыя неуловимыя аккорды изъ необъятнаго регистра природы.— „Высокія и свѣтлыя творенія“ писателя заставили не только русскихъ людей, но и невѣрившихъ дотолѣ или сомнѣвающихся иностранцевъ повѣрить „въ русскую силу“, „въ русской души красоту“.

## ГЛАВА III.

# „Старая Русь“.

„Рабы и господа“—такъ коротко можно формулировать содержание „Записокъ Охотника“,—этой „скорбной эпопеи русской жизни“.

### I.

#### „Господа“.

„Мы рабы, потому что мы господа“.

*А. Герценъ.*

Начнемъ съ господъ. Оговоримся прежде всего словами Ор. Миллера, что „Тургеневъ далекъ былъ отъ того, чтобы выставить помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ... При такой способности Тургенева подмѣчать и выказывать человѣческія черты и въ самыхъ помѣщикахъ, его „Записки Охотника“ не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми, неизбежнымъ образомъ, искажались и самыя сочувственныя между ними природы“. Помѣщики „Записокъ Охотника“, какъ и герои „Мертвыхъ душъ“, вовсе не злодѣи; и въ этой „эпопее“, какъ и въ поэмѣ Гоголя, „пошлость всего вмѣстѣ пугаетъ читателя, одинъ за другимъ слѣдуютъ герои одинъ пошлѣе другого, нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю и по прочтеніи всей книги“ (въ той ея части, гдѣ даются

портреты помѣщиковъ и картины ихъ жизни) дѣйствительно „кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погребѣ на Божій свѣтъ“.

„Меня поражало уже то, говоритъ Тургеневъ о Радилевѣ, что я не могъ въ немъ открыть страсти ни къ ѣдѣ, ни къ вину, ни къ охотѣ, ни къ курскимъ соловьямъ, ни къ голубямъ, страдающимъ падучей болѣзью, ни къ русской литературѣ, ни къ иноходцамъ, ни къ венгеркамъ, ни къ карточной и бильярдной игрѣ, ни къ танцевальнымъ вечерамъ, ни къ поѣздкамъ въ губернскіе и столичныя города, ни къ бумажнымъ фабрикамъ и свекло-сахарнымъ заводамъ, ни къ раскрашеннымъ бесѣдкамъ, ни къ чаю, ни къ доведеннымъ до разврата пристяжнымъ, ни даже къ толстымъ кучерамъ, подпоясаннымъ подъ самими мышками, къ тѣмъ великолѣпнымъ кучерамъ, у которыхъ, Богъ знаетъ почему, отъ каждаго движенія шея глаза косятся и лѣзутъ вонъ... „Что-жъ это за помѣщикъ, наконецъ!“ думалъ я“.

Вотъ характеристика русскаго помѣщика 40-хъ годовъ XIX в., которая при всей видимой мягкости тона, доходящей даже до благодушнаго юмора, если глубже въ нее вдуматься, ставитъ крестъ надъ русскими помѣщиками,—и не надъ отдѣльными лицами, а надъ самымъ укладомъ помѣщичьей жизни. Жить для ѣды, вина, охоты, иноходцевъ, венгерокъ, карточной и бильярдной игры, пристяжныхъ, раскрашенныхъ бесѣдокъ, чая и т. д.—развѣ это жизнь? Развѣ имѣютъ такіе люди нравственное, человѣческое право жить? Развѣ такіе помѣщики принимаютъ участіе въ трудной государственной работѣ? и не есть ли эта ихъ грубо-эгоистическая жизнь—непререкаемый обвинительный вердиктъ противъ тѣхъ, которымъ „половина огромнаго народонаселенія, сильнаго мышцами и умомъ, была отдана въ рабство“? Помѣщики „Записокъ Охотника“ это—и люди плохіе, дрянненькіе, натуры изжившіяся, и члены государства своей бесполезностью вредные ему,—такое впечатлѣніе выносишь изъ обозрѣнія длиннаго ряда лицъ и фактовъ „помѣщичьей крѣпостной полосы“ русской жизни. Да, Тургеневъ глубоко проникъ въ русскую крѣпостническую дѣйствительность и поставилъ надъ нею правильный діагнозъ; онъ поразилъ помѣщиковъ-крѣпостниковъ въ самое больное мѣсто, такъ какъ доказалъ, что они не живутъ (въ смыслѣ разумнаго существованія), а потому и не имѣютъ права жить такъ, какъ доселѣ жили. Въ томъ же разсказѣ, въ началѣ его, Тургеневъ говоритъ о старыхъ помѣщичьихъ усадьбахъ, „дворянскихъ гнѣздахъ“, которыя „понемногу исчезали съ лица земли; дома

сгнивали или продавались на свозъ, каменные службы превращались въ груды развалинь, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Однѣ липы попрежнему росли себѣ на славу, и теперь, окруженныя распаханными полями, гласятъ нашему вѣтреному племени о „прежде почившихъ отцахъ и братіяхъ“...

Такимъ то разореннымъ (не только экономически, но и—это самое главное—нравственно), сгнившимъ, разваливающимся, вымирающимъ представляется провинціальное дворянство въ „Запискахъ Охотника“. Вѣками возводившееся зданіе крѣпостного права,—этого „клейма домашняго позора“ (И. С. Аксаковъ),—само готово рухнуть, потому что и устои его сгнили, и скрѣпы порвались, и владѣльцы о немъ не заботятся, стараясь каждый только о томъ, какъ бы устроиться въ немъ поудобнѣе... Въ „Запискахъ Охотника“, какъ и въ „Мертвыхъ душахъ“, русскому помѣщику, выражаясь словами Гоголя, была „показана жизнь“ его: „всякая мерзость была лишена картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которой (до тѣхъ поръ) выѣзжала козыремъ, и поставлена рядомъ съ тою гадостью, которая видна всѣмъ“.

Впечатлѣніе подавляющей, безысходной „пошлости“ производить это провинціальное дворянство, взятое Тургеневымъ, такъ сказать, en masse, въ разсказѣ „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“. Въ одну изъ своихъ поѣздокъ, авторъ получилъ приглашеніе отобѣдать у богатаго помѣщика и охотника, Ал—ра Мих—ча Г. Приѣхавши за часъ до обѣда, онъ „засталъ уже великое множество дворянъ въ мундирахъ, партикулярныхъ платьяхъ и другихъ менѣ опредѣлительныхъ одеждахъ... Почти всѣ гости были мнѣ совершенно незнакомы: человекъ двадцать уже сидѣло за карточными столами. Въ числѣ этихъ любителей преферанса было два военныхъ съ благородными, но слегка изношенными лицами, нѣсколько штатскихъ особъ, въ тѣсныхъ, высокихъ галстукахъ и съ висячими, крашеными усами, какіе только бываютъ у людей рѣшительныхъ, но благонамѣренныхъ (эти благонамѣренные люди съ важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходившихъ); пять или шесть уѣздныхъ чиновниковъ съ круглыми брюшками, опухлыми и потными руками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягкимъ голосомъ, кротко улыбались на всѣ стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а напротивъ волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкій, весьма учтивый и приличный

скрипъ). Прочіе дворяне сидѣли на диванахъ, кучками жались къ дверямъ и подлѣ оконъ; одинъ, уже не молодой, но женоподобный по наружности помѣщикъ, стоялъ въ уголку, вздрагивалъ, краснѣлъ и съ замѣшательствомъ вертѣлъ у себя на желудкѣ печаткою своихъ часовъ, хотя никто не обращалъ на него вниманія; иные господа, въ круглыхъ фракахъ и клѣтчатыхъ панталонахъ работы московскаго портного, вѣчно-цехового мастера Фирса Ключина, разсуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, подслѣповатый и бѣлокурый, съ ногъ до головы одѣтый въ черную одежду, видимо робѣлъ, но язвительно улыбался“...

Авторъ едва-едва высидѣлъ до вечера и поспѣшилъ отправиться на покой: ему стало „скучно“ среди этихъ героевъ пошлости, а скука—обычная спутница понижающейся психической активности, пустоты душевной; слѣдовательно, тѣ, въ обществѣ которыхъ оказался этотъ поистинѣ живой человѣкъ—писатель, ничего не могли дать ни уму, ни сердцу мыслящаго и чувствующаго человѣка. И дѣйствительно, Тургеневъ говоритъ о „тѣсныхъ высокихъ галстукахъ“, „висячихъ крашенныхъ усахъ“, „скромно-неподвижныхъ ножкахъ“, „круглыхъ фракахъ“, жирныхъ и голыхъ затылкахъ“ и т. п.—и ни слова о человѣкѣ и человѣчскомъ, точно предъ нимъ были манекены, а не люди.

Да, истинно-человѣческой, разумной жизни нѣтъ въ этой средѣ. Сдѣлаемъ бѣглый обзоръ характеровъ „господъ“, съ какими встрѣчаемся мы въ „Запискахъ Охотника“, и мы убѣдимся что за небольшими отклоненіями, за несущественными подробностями, всѣ они разновидности одного и того же типа—типа „пошлаго человѣка“.—Одного мы уже видѣли: г. Полутыкинъ, „страстный охотникъ и, слѣд., отличный человѣкъ“. Идемъ далѣе: г. Звѣрковъ. „Онъ занималъ довольно важное мѣсто, слылъ человѣкомъ знающимъ и дѣльнымъ. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая—дюжинное и тяжелое созданье; былъ и сынокъ, настоящій барченочъ, избалованный и глупый. Наружность самого г. Звѣркова мало располагала въ его пользу: изъ широкаго, почти четвероугольнаго лица лукаво выглядывали мышинные глазки, торчалъ носъ большой и острый, съ открытыми ноздрями; стриженные сѣдые волосы поднимались щетиной надъ морщинистымъ лбомъ, тонкія губы безпрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-нъ Звѣрковъ стоялъ, обыкновенно, растопыривъ ножки и заложивъ толстыя ручки въ кар-

маны"... „Разъ какъ-то, рассказываетъ авторъ, пришлось мнѣ ѣхать съ нимъ вдвоемъ въ каретѣ за городъ. Мы разговорились. Какъ человѣкъ опытный, дѣльный, г. Звѣрковъ началъ наставлять меня на „путь истины“.

— Позвольте мнѣ вамъ замѣтить,—пропищалъ онъ, наконецъ:—вы всѣ, молодые люди, судите и толкуете обо всѣхъ вещахъ наобумъ, вы мало знаете собственное свое отечество; Россія вамъ, господа, незнакома,—вотъ что!.. Вы все только нѣмецкія книги читаете. Вотъ, на примѣръ, вы мнѣ говорите теперь и то, и то, насчетъ того, ну, то-есть насчетъ дворовыхъ людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо, но вы ихъ не знаете, что это за народъ. (Г-нъ Звѣрковъ громко высморкался и понюхалъ табакъ.) Позвольте мнѣ рассказать, на примѣръ, одинъ маленькій анекдотецъ: васъ это можетъ заинтересовать". И Звѣрковъ, въ доказательство своего „человѣчества“ рассказываетъ страшную исторію женской жизни, загубленной по прихоти его жены, добрѣ которой, по его мнѣнію, „найти трудно“, которая, наконецъ, ангелъ во плоти, доброта неизъяснимая"... Это ли не герой самодовольнаго ничтожества?

Вотъ Александръ Владиміровичъ Королевъ. О немъ говорить „однодворецъ Овсяниковъ“.

„Собой красавецъ, богатъ, въ „ниверситетахъ“ обучался, кажись, и за границей побывалъ, говорить плавно, скромно, веѣмъ намъ руки жметъ. Знаете?.. Ну, такъ слушайте. На прошлой недѣлѣ съѣхались мы въ Березовку, по приглашенію посредника, Никифора Ильича. И говорить намъ посредникъ, Никифоръ Ильичъ: „надо, господа, размежеваться; это срамъ, наши участки ото всѣхъ другихъ отсталъ; приступите къ дѣлу“. Вотъ и приступили. Пошли толки, споры, какъ водится, повѣренный нашъ ломаться сталъ. Но первый забуянилъ Овчинниковъ Порфирій... И изъ чего буянить человѣкъ?.. У самого вершка земли нѣтъ; по порученію брата распоряжается. Кричитъ: „нѣтъ! меня вамъ не провести, нѣтъ, не на того наткнулись! Планы сюда! Земле-мѣра мнѣ подайте, христовладина подайте сюда!“—„Да какое, наконецъ, ваше требованіе?“—„Вотъ дурака нашли, эка! вы думаете: я вамъ такъ-таки сейчасъ мое требованіе и объявлю!.. Нѣтъ, вы планы сюда подайте,—вотъ что!“ А самъ рукой стучитъ по планамъ. Марку Дмитріеву обидѣлъ криво. Та кричитъ: „какъ вы смѣете мое требованіе возразить!“ Насилу изъ дерой отпряли. Его устояли, а другие забуянили. Подождало Александръ Владиміровичъ сидитъ, мой товарищъ въ углу, на-





балдашникъ на палкѣ покусываетъ, да только головой качаетъ. Совѣстно мнѣ стало, мочи нѣтъ, хоть вонь бѣжать. Что, моль объ насъ подумаетъ человѣкъ? Глядь, поднялся мой Александръ Владимірычъ, показываетъ видъ, что говоритъ желаетъ. Посредникъ засуетился, говоритъ: „господа, господа, Александръ Владимірычъ говоритъ желаетъ“. И нельзя не похвалить дворянъ: всѣ тотчасъ замолчали. Вотъ, и началъ Александръ Владимірычъ говорить: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежеваніе, безспорно, выгодно для владѣльцевъ, но въ сущности оно введено для чего?—для того, чтобъ крестьянину было легче, чтобъ ему работать сподручнѣе было, повинности справлять; а то теперь онъ самъ своей земли не знаетъ и нерѣдко за пять верстъ пахать ѣдетъ,—и взыскать съ него нельзя. Потомъ сказалъ Александръ Владимірычъ, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ, что, наконецъ, если здраво разсудить, ихъ выгоды и наши выгоды—все едино: имъ хорошо—намъ хорошо, имъ худо—намъ худо... и что, слѣдовательно, грѣшно и не разсудительно не соглашаться изъ-за пустяковъ... и пошелъ, и пошелъ... да, вѣдь, какъ говорилъ! за душу такъ и забираетъ... Дворяне то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, въ старинныхъ книгахъ такихъ рѣчей не бываетъ... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ. Говоритъ: я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на немъ заведу, съ усовершенствованіями. Я, говоритъ, ужъ это мѣсто выбралъ: у меня на этотъ счетъ свои соображенія... И хоть бы это было справедливо: а то просто—сосѣдъ Александръ Владимірыча, Карасиковъ Антонъ, покупился королевскому приказчику сто рублевъ ассигнаціями внести. Такъ мы и разъѣхались, не сдѣлавши дѣла. А Александръ Владимірычъ по сихъ поръ себя правымъ почитаетъ, и все о суконной фабрикѣ толкуетъ, только къ осушкѣ болота не приступаетъ „... Чѣмъ не дворянинъ?“

Далѣе. Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ, молодой помѣщикъ, гвардейскій офицеръ въ отставкѣ. У него „домъ построенъ по плану французскаго архитектора, люди одѣты по-англійски, обѣды задаютъ онъ отличные, принимаетъ гостей ласково, а все-таки неохотно къ нему ѣдешь. Онъ человѣкъ разсудительный и положительный, воспитаніе получилъ, какъ водится, отличное, служилъ, въ высшемъ обществѣ потерся, а теперь хозяйствомъ занимается съ большимъ успѣхомъ. Аркадій Павлычъ, говоря

собственными его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ—для ихъ же блага. „Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми“, говоритъ онъ въ такомъ случаѣ: „невѣжество, mon cher; il faut prendre cela en considération“. Самъ же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и голоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь я тебя просилъ, любезный мой“, или: „что съ тобою, другъ мой, опомнись“, при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Роста онъ небольшого, сложенъ щеголевато, собою весьма недурень, руки и ногти въ большой опрятности содержатъ; съ его румяныхъ губъ и щекъ такъ и пышетъ здоровьемъ. Смѣется онъ звучно и беззаботно, привѣтливо щуритъ свѣтлые, каріе глаза. Одѣвается онъ отлично и со вкусомъ; выписываетъ французскіе книги, рисунки и газеты, но до чтенія не большой охотникъ: „Вѣчнаго жида“ едва осилилъ. Въ карты играетъ мастерски. Вообще Аркадій Павлычъ считается однимъ изъ образованнѣйшихъ дворянъ и завиднѣйшихъ жениховъ нашей губерніи, дамы отъ него безъ ума и въ особенности хвалятъ его манеры. Онъ удивительно хорошо себя держитъ, остороженъ, какъ кошка, и ни въ какую исторію замѣшанъ отъ роду не бывалъ, хотя, при случаѣ, дать себя знать и робкаго человѣка озадачить и срѣзать любитъ. Дурнымъ обществомъ рѣшительно брезгаетъ—скомпрометироваться боится; зато въ веселый часъ объявляетъ себя поклонникомъ Эпикура, хотя вообще о философіи отзывается дурно, называя ее туманной пищей германскихъ умовъ, а иногда и просто чепухой. Музыку онъ тоже любитъ; за картами поетъ сквозь зубы, но съ чувствомъ; изъ „Лючіи“ и „Сомнамбулы“ тоже помнитъ, но что-то все высоко забираетъ. По зимамъ онъ ѣздитъ въ Петербургъ. Домъ у него въ порядкѣ необыкновенномъ; даже кучера подчинились его вліянію и каждый день не только вытираютъ хомуты и армяки чистятъ, но и самимъ себѣ лицо моютъ. Дворовые люди Аркадія Павлыча посматриваютъ, правда, что-то исподлобья,—но у насъ на Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь. Аркадій Павловичъ говоритъ голосомъ мягкимъ и пріятнымъ, съ разстановкою ѳи какъ бы съ удовольствіемъ пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; такъ же употребляетъ много французскихъ выраженій, какъ то: „Mais c'est impayable!“ „Mais comment donc!“ и пр. Со всѣмъ тѣмъ, я, по крайней мѣрѣ, не слишкомъ охотно его посѣщаю, и если-бы не тетерева и не

куропатки, вѣроятно, совершенно бы съ нимъ разнакомился. Странное какое-то безпокойство овладѣваетъ вами въ его домѣ; даже комфортъ васъ не радуетъ, и всякій разъ, вечеромъ, когда появится передъ вами завитой камердинеръ въ голубой ливреѣ съ гербовыми пуговицами и начнетъ подобострастно стягивать съ васъ сапоги, вы чувствуете, что если бы вмѣсто его блѣдной и сухопарой фигуры внезапно предстали передъ вами изумительно широкія скулы и невѣроятно тупой носъ молодого дюжаго парня, только что взятаго бариномъ отъ сохи, но уже успѣвшаго въ десяти мѣстахъ распоротъ по швамъ недавно пожалованный нанковый кафтанъ—вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вмѣстѣ съ сапогомъ и собственной вашей ноги, вплоть до самаго вертлюга“.

А вотъ „два помѣщика“, „люди весьма почтенные, благонамѣренные и пользующіеся всеобщимъ уваженіемъ нѣсколькихъ уѣздовъ“: отставной генераль-майоръ Вячеславъ Иларіоновичъ Хвалынскій и Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ.

Познакомимся прежде съ генераль-майоромъ. „Представьте себѣ человѣка высокаго и кагда-то стройнаго, теперь же нѣсколько обрюзглаго, но вовсе не дряхлаго, даже не устарѣлаго, человѣка въ зрѣломъ возрастѣ, въ самой, какъ говорится, порѣ. Правда, цѣкогда правильныя и теперь еще пріятныя черты лица его немного измѣнились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно расположились около глазъ, иныхъ зубовъ уже нѣтъ; русые волосы, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые остались въ цѣлости, превратились въ лиловые, благодаря составу, купленному на роменской конной ярмаркѣ у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеславъ Иларіоновичъ выступаетъ бойко, смѣется звонко, позвякиваетъ шпорами, крутитъ усы, наконецъ, называетъ себя старымъ кавалеристомъ, между тѣмъ какъ извѣстно, настояшіе старики сами никогда не называютъ себя стариками. Носитъ онъ обыкновенно сюртукъ, застегнутый доверху, высокій галстукъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны сѣрыя съ искрой, военнаго покроя, шляпу же надѣваетъ прямо на лобъ, оставляя весь затылокъ наружи. Человѣкъ онъ очень добрый, но съ понятіями и привычками очень странными. Напримѣръ, онъ никакъ не можетъ обращаться съ дворянами небогатыми или нечиновными, какъ съ равными себѣ людьми. Разговаривая съ ними, онъ обыкновенно глядитъ на нихъ сбоку, сильно опираясь щекою въ твердый и бѣлый воротникъ, или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ яснымъ и неподвижнымъ взо-

ромъ, помолчить и двинетъ всею кожей подъ волосами на головѣ даже слова иначе произносить и не говорить, напримѣръ: „благодарю, Павелъ Васильчъ“, или: „пожалуйте сюда, Михайло Иванычъ“, а: „болдарю, Палл' Асильчъ“, или: „па-ажалте сюда, Михал'Ванычъ“. Съ людьми же, стоящими на низшихъ ступеняхъ общества, онъ обходится еще страннѣе: вовсе на нихъ не глядитъ и прежде чѣмъ объяснить имъ свое желаніе, или отдастъ приказъ, нѣсколько разъ сряду, съ озабоченнымъ и мечтательнымъ видомъ, повторить: „какъ тебя зовутъ?.. какъ тебя зовутъ?“ ударяя необыкновенно рѣзко на первомъ словѣ „какъ“, а остальные произнося очень быстро, что придаетъ всей поговоркѣ довольно близкое сходство съ крикомъ самца перепела. Хлопотунъ онъ и жила страшный, а хозяинъ плохой... Вячеславъ Иларіоновичъ ужасный охотникъ до прекраснаго пола и, какъ только увидитъ у себя въ уѣздномъ городѣ, на бульварѣ, хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслѣдъ, но тотчасъ же и захромаетъ,—вотъ что замѣчательное обстоятельство... Въ карты играть онъ любитъ, но только съ людьми званія низшаго; они-то ему: „ваше превосходительство“, а онъ-то ихъ пугаетъ и распекаетъ, сколько душъ его угодно. Когда жъ ему случится играть съ губернаторомъ, или съ какимъ-нибудь чиновнымъ лицомъ,—удивительная происходитъ съ нимъ перемена: и улыбается-то онъ, и головой киваетъ, и въ глаза-то имъ глядитъ—медомъ такъ отъ него и несетъ... Даже проигрываетъ и не жалуется... На выборахъ играетъ онъ роль довольно значительную; но отъ почетнаго званія предводителя, по скупости, отказывается. „Господа,—говоритъ онъ обыкновенно приступающимъ къ нему дворянамъ, и говоритъ голосомъ, исполненнымъ покровительства и самостоятельности,—много благодаренъ за честь; но я рѣшилъ посвятить свой досугъ уединенію“. И, сказавши эти слова, поведетъ головой нѣсколько разъ направо и налево, а потомъ съ достоинствомъ наляжетъ подбородкомъ и щеками на галстукъ. Состоялъ онъ въ молодые годы адъютантомъ у какого-то значительнаго лица, котораго иначе и не называетъ, какъ по имени и по отчеству; говорятъ, будто бы онъ принималъ на себя не однѣ адъютантскія обязанности, будто бы, напр., облачившись въ полную парадную форму и даже застегнувъ крючки, парилъ своего начальника въ банѣ—да не всякому слуху можно вѣрить. Впрочемъ, и самъ генераль Хвалыньскій о своемъ служебномъ попришѣ не любитъ говорить, что вообще довольно странно; на войнѣ онъ тоже, кажется не

бываль. Живеть генераль Хвалынскій въ небольшомъ домикѣ, одинъ; супружескаго счастья онъ въ своей жизни не испыталъ, и потому до сихъ поръ еще считается женихомъ, и даже выгоднымъ женихомъ. Зато ключница у него, женщина лѣтъ тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свѣжая и съ усами, по буднишнимъ днямъ ходитъ въ накрахмаленныхъ платьяхъ, а по воскресеньямъ и кисейные рукава надѣваетъ... Особеннымъ даромъ слова Хвалынскій не владѣеть, или, можетъ быть, не имѣетъ случая высказать свое краснорѣчіе, потому что не только спора, но вообще возраженія не терпитъ, и всякихъ длинныхъ разговоровъ, особенно съ молодыми людьми, тщательно избѣгаетъ. Оно, дѣйствительно, вѣрнѣе; а то съ нынѣшнимъ народомъ бѣда: какъ разъ изъ повиновенія выйдетъ и уваженіе потеряетъ. Передъ лицами высшими Хвалынскій большею частью безмолвствуетъ, а къ лицамъ низшимъ, которыхъ, повидимому, презираетъ, но съ которыми только и знается, держитъ рѣчи отрывистыя и рѣзкія, безпрестанно употребляя выраженія, подобныя слѣдующимъ: „это, однако, вы пус-тя-ки говорите“; или: „я, наконецъ, вынужденнымъ нахожусь, милосвѣй сдари мой, вамъ поставить на видъ“, или: „наконецъ, вы должны однако же знать, съ кѣмъ имѣете дѣло“ и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непремѣнные засѣдатели и станціонные смотрители. Дома онъ у себя никого не принимаетъ и живеть, какъ слышно, скрягой. Со всѣмъ тѣмъ онъ прекрасный помѣщикъ. „Старый служака, человекъ безкорыстный, съ правилами, vieux grognard“, говорятъ про него сосѣди. Одинъ прокуроръ губернской позволяеть себѣ улыбаться, когда при немъ упоминаютъ объ отличныхъ и солидныхъ качествахъ генерала Хвалынскаго,—да чего не дѣлаеть зависть!..

А впрочемъ перейдемъ теперь къ другому помѣщику.

Мардарій Аполлонычъ Стегуновъ ни въ чемъ не походилъ на Хвалынскаго; онъ едва ли гдѣ служилъ и никогда красавцемъ не почитался. Мардарій Аполлонычъ старичокъ низенькій, пухленькій, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ. Онъ большой хлѣбосоль и балагуръ; живеть, какъ говорится, въ свое удовольствіе; зиму и лѣто ходитъ въ полосатомъ шлафрокѣ на ватѣ. Въ одномъ онъ только сошелся съ генераломъ Хвалынскимъ: онъ тоже холостякъ. У него пятьсотъ душъ. Мардарій Аполлонычъ занимается своимъ имѣньемъ довольно поверхностно; купилъ, чтобы не отстать отъ вѣка, лѣтъ десять тому назадъ, у Бутенопа въ Москвѣ моло-

тильную машину, заперъ ее въ сарай, да и успокоился. Развѣ въ хорошій лѣтній день велитъ заложить бѣговья дрожки и съѣздитъ въ поле на хлѣба посмотрѣть да васильковъ нарвать. Живетъ Мардарій Аполлонычъ совершенно на старыи ладъ. И домъ у него старинной постройки: въ передней, какъ слѣдуетъ, пахнетъ квасомъ, сальными свѣчами и кожей; тутъ же, направо, буфетъ съ трубками и утиральниками; въ столовой фамилные портреты, мухи, большой горшокъ ерани и кисляя фортепіаны; въ гостиной—три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, съ почернѣвшей эмалью и бронзовыми рѣзными стрѣлками; въ кабинетѣ—столъ съ бумагами, ширмы синеватаго цвѣта съ наклеенными картинками, вырѣзанными изъ разныхъ сочиненій прошедшаго столѣтія, шкапы съ вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно, да наглухо заколоченная дверь въ садъ... Словомъ, все, какъ водится. Людей у Мардарія Аполлоныча множество, и всѣ одѣты по-старинному: въ длинные синіе кафтаны съ высокими воротниками, панталоны мутнаго колорита и коротенькіе желтоватые жилетцы. Гостямъ они говорятъ: „батюшка“. Хозяйствомъ у него завѣдуетъ бурмистръ изъ мужиковъ, съ бородой во весь тулупъ; домою—старуха, повязанная коричневымъ платкомъ, сморщенная и скупая. На конюшнѣ у Мардарія Аполлоныча стоитъ тридцать разнокалиберныхъ лошадей; выѣзжаетъ онъ въ домодѣланной коляскѣ въ полтора пудъ. Гостей принимаетъ очень радушно и угощаетъ на славу, т.-е.: благодаря одуряющимъ свойствамъ русской кухни, лишаетъ ихъ, вплоть до самаго вечера, всякой возможности заняться чѣмъ-нибудь, кромѣ преферанса. Самъ же никогда ничѣмъ не занимался, и даже „Сонникъ“ пересталъ читать. Но такихъ помѣщиковъ у насъ на Руси еще довольно много“...

На этомъ безпросвѣтно-сѣромъ и часто грязномъ фонѣ „болотности“ и безлюдья поражаетъ наблюдателя цѣлый рядъ явлений, свидѣтельствующихъ о томъ, что низкій уровень, тѣмъ болѣе отсутствіе человѣчности неизбежно связаны съ поступками и дѣйствіями прямо безчеловѣчными: „оно всегда такъ бываетъ,—говоритъ однодворецъ Овсяниковъ:—кто самъ мелко плаваетъ, тотъ и задираетъ“. Вопли и стоны слышатся со всѣхъ сторонъ въ этой своеобразной галлерей, которою проходитъ читатель „Записокъ Охотника“; порой ихъ смѣняетъ холодное отчаяніе или примиреніе съ тяжелой долей, — примиреніе близкое къ полному безчувствію, — безмолвный, но такой краснорѣчивый въ

своемъ безмолвіи протестъ „труждающихся и обремененныхъ“... „Великой, скорбной симфоніей“ поднимается надъ „гибнущей въ въ мукахъ землю“ эта тоскливая пѣсня „милліоновъ гонимыхъ судьбою“, что-то зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за сердце въ этой пѣснѣ „труда и терпѣнія“. Болѣзненно лобзающіе звуки ея съ силой стремятся, втѣсняются въ вашу душу и не оставляютъ васъ до тѣхъ поръ, пока ваша мысль не отвѣтитъ на волненія чувства убѣжденнымъ, энергичнымъ отрицаніемъ того строя жизни, который обезпечивалъ помѣщику-крѣпостнику полную безнаказанность безчеловѣчныхъ дѣйствій, мало того—дѣлалъ помѣщичій деспотизмъ *modus'омъ vivendi*: „За что жъ онъ велѣлъ тебя наказать?“ спрашиваетъ охотникъ Васю, буфетчика Стегунова, высѣченнаго на конюшнѣ. „А по дѣломъ, батюшка, по дѣломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведения у насъ нѣту—ни-ни. У насъ баринъ не такой“...

Тургеневъ не оставляетъ насъ въ невѣдѣніи относительно того, какія это „дѣла“. Вспомните такихъ господъ, какъ Звѣрковъ или Пѣночкинъ. Первый самъ готовъ считать себя чело-вѣчнѣйшимъ изъ людей, второго считали однимъ изъ „образованнѣйшихъ“ дворянъ цѣлой губерніи; а между тѣмъ дисциплина холопства и розги полагается ими въ основу отношеній къ крѣпостнымъ. Звѣрковъ рассказываетъ „Охотнику“ маленькій анекдотецъ; послушаемъ его. „Вы вѣдь, знаете, что у меня за жена: кажется, женщину добрѣй ея найти трудно, согласитесь сами. Горничнымъ ея дѣвушкамъ не житье,—просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себѣ за правило: замужнихъ горничныхъ не держать. Оно и точно, не годится: пойдутъ дѣти,—то, се,—ну, гдѣ жъ тутъ горничной присмотрѣть за барыней, какъ слѣдуетъ, наблюдать за ея привычками: ей ужъ не до того, у нея ужъ не то на умѣ. Надо по чело-вѣчеству судить. Вотъ-съ, проѣзжаемъ мы разъ черезъ нашу деревню, лѣтъ тому будетъ—какъ бы вамъ сказать, не солгать—лѣтъ пятнадцать. Смотримъ у старосты дѣвочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то въ манерахъ. Жена моя и говоритъ мнѣ: „Кокó,—то-есть, вы понимаете, она меня такъ называетъ,—возьмемъ эту дѣвочку въ Петербургъ; она мнѣ нравится, Кокó“... Я говорю: возьмемъ, съ удовольствіемъ. Староста, разумѣется, намъ въ ноги; онъ такого счастья, вы понимаете, и ожидать не могъ... Ну, дѣвочка, конечно, поплакала сдуру. Оно, дѣйствительно, жутко сначала: родительскій домъ... вообще... удивительнаго тутъ ничего нѣтъ. Однако она скоро къ намъ

привыкла; сперва ее отдали въ дѣвичью; учили ее, конечно. Что жъ вы думаете?.. Дѣвочка оказываетъ удивительные успѣхи; жена моя просто къ ней пристрашивается, жалуется ей, наконецъ, помимо другихъ, въ горничныя къ своей особѣ... замѣчайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, рѣшительно не было; услужлива, скромна, послушна—просто, все, что требуется. Зато ужъ и жена ее даже, признаться, слишкомъ баловала: одѣвала отлично, кормила съ господскаго стола, чаемъ поила... ну, что только можно себѣ представить! Вотъ такъ она лѣтъ десять у моей жены служила. Вдругъ, въ одно прекрасное утро, вообразите себѣ, входитъ Арина—ее Ариной звали, безъ доклада ко мнѣ въ кабинетъ,—и бухъ мнѣ въ ноги... Я этого, скажу вамъ откровенно, терпѣть не могу. Человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство, не правда ли? „Чего тебѣ?“—„Батюшка, Александръ Силычъ, милости прошу“.—„Какой?“—„Позвольте выйти замуж“.—„Я признаюсь вамъ изумился.—„Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нѣту?“—„Я буду служить барынѣ попрежнему“.—„Вздоръ! барыня замужнихъ горничныхъ не держитъ“.—„Маланья на мое мѣсто поступить можетъ“.—„Прошу не разсуждать!“—„Воля ваша“... Я, признаюсь, такъ и обомлѣлъ. Доложу вамъ, я такой человѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность... Вѣдь вамъ говорить нечего,—вы знаете, что у меня за жена: ангелъ во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодѣй и тотъ бы ее пожалѣлъ. Я прогналъ Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, вѣрить злу, черной неблагодарности въ человѣкѣ. Что жъ вы думаете? Черезъ полгода она опять изволилъ жаловать ко мнѣ съ тою же самою просьбой. Тутъ я, признаюсь, ее съ сердцемъ прогналъ и угрозилъ ей, и сказать женѣ обѣщался. Я былъ возмущенъ... Но представьте себѣ мое изумленіе: нѣсколько времени спустя, приходитъ ко мнѣ жена, въ слезахъ, взволнована такъ, что я даже испугался.—„Что случилось?“—„Арина“... Вы понимаете... я стыжусь выговорить.—„Быть не можетъ!.. кто же?“—„Петрушка лакей“. Меня взорвало. Я такой человѣкъ... полумѣръ не люблю!.. Петрушка... не виноватъ. Наказать его можно, но онъ, по-моему, не виноватъ. Арина... ну, что жъ, ну, ну, что жъ тутъ еще говорить? Я, разумѣется, тотчасъ же приказалъ ее ostrичь, одѣтъ въ затрапезъ, и сослать въ деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но дѣлать было нечего: беспорядокъ въ домѣ



терпѣть, однако же, нельзя. Большой членъ лучше отсѣчь разомъ... Ну, ну, теперь посудите сами,—ну, вѣдь вы знаете мою жену, вѣдь, это, это, это... наконецъ, ангель!.. Вѣдь она привязалась къ Аринѣ, и Арина это знала и не постыдилась... А? нѣтъ, скажите... а? Да что тутъ толковать! Во всякомъ случаѣ, дѣлать было нечего, Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидѣла, неблагодарность этой дѣвушки. Что ни говорите, сердца, чувства—въ этихъ людяхъ не ищите! Какъ волка ни корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ"...—Такъ своеобразно понимаетъ Звѣрковъ достоинство человѣка и права помѣщика на человѣческую личность.

„Образованнѣйшій изъ дворянъ“ Пѣночкинъ цѣнить крѣпостного человѣка по его большей или меньшей годности для дѣла питанія его—Аркадія Павловича. Завалилась телѣга съ поваромъ, и заднимъ колесомъ придавило ему желудокъ. „Аркадій Павлычъ, при видѣ паденія доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчасъ велѣлъ спросить: цѣлы ли у него руки? Получивъ же отвѣтъ утвердительный, немедленно успокоился“. Онъ же рассказал охотнику презабавный, по его словамъ, случай, какъ одинъ шутникъ-помѣщикъ вразумилъ своего лѣсника, выдравъ у него около половины бороды, въ доказательство того, что отъ пѣрубки лѣсъ чаще не вырастаетъ. Пришлось однажды охотнику провести ночь у Пѣночкина. На другой день его не отпустили, а предложили завтракъ на англійскій манеръ. „Вмѣстѣ съ чаемъ подали намъ котлеты, яйца всмятку, масло, медъ, сыръ и пр. Два камердинера, въ чистыхъ бѣлыхъ перчаткахъ, быстро и молча предупреждали малѣйшія наши желанія. Мы сидѣли на персидскомъ диванѣ. На Аркадіи Павлычѣ были широкіе шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фесъ съ синей кистью, и китайскія желтыя туфли безъ задковъ. Онъ пилъ чай, смѣялся, разсматривалъ свои ногти, курилъ, подкладывалъ себѣ подушки подъ бокъ, и вообще чувствовалъ себя въ отличномъ расположеніи духа. Позавтракавши плотно и съ видимымъ удовольствіемъ, Аркадій Павлычъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился.

— Отчего вино не нагрѣто? Спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой?—спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ сал-

феткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

— Pardon, mon cher!—промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова устался на камердинера.—Ну, ступай,—прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднялъ брови и позвонилъ.

Вошелъ человекъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— Насчетъ Федора... распорядиться, — проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-сь,—отвѣчалъ толстый и вышелъ.

— Voila, mon cher, les désagrèments de la campagne,—весело замѣтилъ Аркадій Павлычъ“.

Таковъ русскій помѣщикъ въ правдивомъ изображеніи Тургенева. Много лицъ пошлыхъ, много грубыхъ деспотовъ, и нѣтъ людей—вотъ судъ всякаго безпристрастнаго обозрѣвателя этой единственной въ своемъ родѣ галлерей портретовъ! Но откуда это (выражаясь словами Гоголя о „Мертвыхъ душахъ“) — „собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей“? Точно ли писатель объективенъ? Не даетъ ли онъ одни исключенія? Вопросы эти вопросы существенной важности, и такимъ или инымъ рѣшеніемъ ихъ опредѣляется не только художественное, но и общественно-историческое значеніе „Записокъ Охотника“.

Ex nihilo nihil fit („изъ ничего ничто не возникаетъ“); слѣдовательно, и для даннаго явленія должны быть свои причины, и если эти причины Тургеневымъ указаны, если опoшлѣніе русскаго помѣщика, полное отсутствіе или, по крайней мѣрѣ, очень слабое развитіе въ немъ качествъ человека и гражданина писателемъ изображены, какъ необходимое слѣдствіе предшествующаго ряда фактовъ, то само собой падаетъ сомнѣніе въ объективности художественнаго воспроизведенія помѣщичьей жизни въ „Запискахъ Охотника“: иной жизни и иныхъ людей и быть не могло.

Тургеневъ указываетъ эти причины,—только не отвлеченными разсужденіями, а „правдивымъ и искреннимъ“ изображеніемъ фактовъ и лицъ. „Живая правда“ говоритъ сама за себя. Присмотримся къ ней.

Поражаетъ въ ней прежде всего эгоцентрическое, если такъ можно выразиться, построеніе жизни, — то самое, о которомъ поэтъ говорить:

Высшихъ потѣшали пошлымъ обезьянствомъ,  
Низшихъ угнетали мелочнымъ тиранствомъ.

Всѣ они, эти гг. Пѣночкины, Стегуновы, Звѣрковы и др., не знаютъ и не признаютъ абсолютной нравственной мѣрки, измѣренію которою подлежитъ каждая человѣческая личность, ихъ особа заслоняетъ для нихъ все. Прислушайтесь къ рѣчамъ г-на Полутыкина, какъ онъ часто, до смѣшного, прибѣгаетъ къ мѣстоименію перваго лица. „До *меня* верстъ пять будетъ“... Хорь—„*мой* мужикъ“... „Онъ у *меня* мужикъ умный“... „А вотъ это *моя* контора“... „Это у *меня* хорошая вода“... Не далеко отъ Полутыкина ушелъ и г. Пѣночкинъ, несмотря на французскую рѣчь, англійскіе костюмы лакеевъ, отличные обѣды и завтраки на англійскій манеръ. Пьяный бурмистръ („нараспѣвъ и съ такимъ умиленіемъ на лицѣ, что вотъ-вотъ, казалось, слезы брызнуть“) „плететъ лестъ“ Аркадію Павлычу изъ такихъ словечекъ, какъ: „Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы вы наши... Ручку, батюшка, ручку... Да вѣдь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку-то нашу просвѣтить изволили приѣздомъ-то своимъ, ошастливили по гробъ дней“... И „милостивецъ“ дѣйствительно умиляется, принимаетъ за чистую монету холопыи рѣчи бурмиистра, этого звѣря—не человѣка“, и спрашиваетъ автора: „N'est-ce pas que c'est touchant“.

Въ этой средѣ „братства дикаго“ нѣтъ мѣста закону, въ ней царить грубый произволъ. Вспомните дѣдушку автора, о которомъ ему рассказывалъ однодворецъ Овсяниковъ: „Я не зналъ, что отвѣчать Овсяникову,—говоритъ Тургеневъ,—и не смѣлъ взглянуть ему въ лицо“. А рассказчикъ продолжалъ: „А то другой сосѣдь у насъ втѣпоры завелся,—Комовъ, Степанъ Никтополіонычъ. Замучилъ было отца совѣмъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ. Пьяный былъ человѣкъ и любилъ угощать, и какъ подопьетъ, да скажетъ по-французски: „се бонъ“, да облизнется—хоть святыхъ вонь неси! По всѣмъ сосѣдямъ шлетъ просить пожаловать. Тройки такъ у него наготовѣ и стояли; а не поѣдешь,—тотчасъ самъ нагрянетъ... И такой странный былъ человѣкъ! Въ „тверезомъ“ видѣ не лгалъ; а какъ выпьетъ—и начнетъ рассказывать, что у него въ Питерѣ три дома на Фонтанкѣ: одинъ красный съ одной трубой, другой желтый—съ двумя трубами, а третій синій—безъ трубъ,—и три сына (а онъ и женатъ не бывалъ): одинъ въ инфантеріи, другой въ кавалеріи, третій самъ по себѣ... И говоритъ, что въ каждомъ домѣ живетъ у него по сыну, что къ старшему ѣздятъ адмиралы, ко второму генералы, а къ младшему все англичане! Вотъ, и поднимается, и говоритъ: „за здравіе моего старшаго сына, онъ у

меня самый почтительный!“ и заплачетъ. И бѣда, коли кто отказывается станеть. „Застрѣлю! — говоритъ, — и хоронить не позволю!..“ А то вскочить и закричить: „пляши, народъ Божій, на свою потѣху и мое утѣшеніе!“ Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Дѣвокъ своихъ крѣпостныхъ вовсе замучилъ. Бывало, всю ночь, какъ есть, до утра хоромъ поютъ, и какая выше голосомъ забираетъ, той и награда. А стануть уставать,—голову на руки положить и загорюетъ: „охъ, сирота я сиротливая! покидаютъ меня голубчики!“ Конюха тотчасъ дѣвокъ и пріободрятъ. Отець-то мой ему и полюбись: что прикажешь дѣлать? Вѣдь чуть въ гробъ отца моего не вогналъ, и точно вогналъ бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ пьяномъ видѣ свалился... Такъ вотъ какіе у насъ сосѣдушки бывали!..“

Другой помѣщикъ, отецъ Чертопханова, цѣлую жизнь „потѣшался, ни въ одной прихоти себѣ не отказывалъ“, принося въ жертву нелѣпому „хозяйственному расчету“ трудъ и счастье своихъ крестьянъ. „Между прочими выдумками соорудилъ онъ однажды, по собственнымъ соображеніямъ, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружныя усилія согнанныхъ со всего села крестьянскихъ лошадей, вмѣстѣ съ ихъ владѣльцами, она на первомъ же косогорѣ завалилась и разсыпалась. Еремѣй Лукичъ (Пантелеева отца звали Еремѣемъ Лукичомъ) приказалъ памятникъ поставить на косогорѣ, а впрочемъ, нисколько не смутился. Вздумалъ онъ также построить церковь, разумѣется, самъ, безъ помощи архитектора. Сжегъ цѣлый лѣсъ на кирпичи, заложилъ фундаментъ огромный, хоть бы подъ губернской соборъ, вывелъ стѣны, началъ сводить куполь: куполь упалъ. Онъ опять—куполь опять обрушился, онъ третій разъ—куполь рухнулъ въ третій разъ. Призадумался мой Еремѣй Лукичъ: дѣло, думаетъ, не ладно... колдовство проклятое замѣшалось... да вдругъ и прикажи перепоротъ всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ. Бабъ перепороли, а куполь все-таки не свели. Избы крестьянамъ по новому плану перестраивать началъ, и все изъ хозяйственнаго расчета; по три двора вмѣстѣ ставилъ треугольникомъ, а на срединѣ воздвигалъ шесть съ раскрашенной скворечницей и флагомъ. Каждый день, бывало, новую затѣю придумывалъ: то изъ лопуха супъ варилъ, то лошадямъ хвосты стригъ на картузы дворовымъ людямъ, то ленъ собирался крапивой замѣнить, свиней кормить грибами... Повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ, для порядка и хозяйственнаго расчета, перенумеровать и каждому на воротникѣ нашить его

номеръ. При встрѣчѣ съ бариномъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричитъ: такой-то номеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: „ступай съ Богомъ“...

Такая „власть“, какъ выражается Овсяниковъ о деспотическомъ произволѣ помѣщиковъ стараго времени, конечно, предполагаетъ извѣстныя, благопріятныя для нея, условія въ общемъ укладѣ государственной жизни, въ регулирующихъ ее законахъ. И дѣйствительно, крѣпостное право, установленное цѣлымъ рядомъ законодательныхъ актовъ, для громаднаго большинства помѣщиковъ получаетъ значеніе правомѣрнаго порядка отношеній человѣка владѣющаго къ рабу; съ этимъ порядкомъ они такъ свыклись, онъ такъ вошелъ въ ихъ плоть и кровь, что другихъ отношеній они не понимали и не хотѣли знать. Вздумалъ было авторъ усовѣщивать Мардарія Аполлоныча по поводу того, что выселеннымъ мужикамъ „избѣнки отведены скверныя, тѣсныя, деревца кругомъ не увидишь; сажелки даже нѣту; колодець одинъ, да и тотъ никуда не годится; даже старые конопляники отняты“;—и получилъ въ отвѣтъ такой „ясный и убѣдительный доводъ“: „... Ужъ про это, батюшка, я самъ знаю. Я человѣкъ простой,—по-старому поступаю. По-моему: коли баринъ—такъ баринъ, а коли мужикъ—такъ мужикъ... Вотъ что“.

Но если законъ и давалъ неограниченную власть помѣщику, то чудовищныя злоупотребленія этой властью во всякомъ случаѣ не узаконялись, хотя администрація и не стояла на высотѣ своей задачи — удерживать помѣщиковъ въ границахъ дозволеннаго и законнаго и преслѣдовать жестокое насиліе и грубый эгоизмъ. Вообще наличностью извѣстныхъ условій объясняется возможность злоупотребленій, а не ихъ необходимость,—то, что они могли быть, а не то, что они были. Поэтому причины такого порядка вещей надо искать въ тѣхъ людяхъ, которыми созданъ этотъ порядокъ; значить, они были таковы, что иной жизни, иныхъ отношеній къ человѣку у нихъ и быть не могло. Такъ ли это?

„Человѣкъ, чтобы быть человѣкомъ, долженъ получить образование“, говоритъ великій славянскій педагогъ, Янъ-Амосъ Коменскій. Русскіе помѣщики (en masse) были люди невѣжественные. Вспомните, какъ воспитывался и учился Пантелей Чертопхановъ. „Съ самага дѣтства не покидалъ онъ родительскаго дома и подъ руководствомъ своей матери, добрѣйшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, выросъ баловнемъ и барчукомъ. Она одна занималась его воспитаніемъ;

Еремѣю Лукичу, погруженному въ свои хозяйственныя соображенія, было не до того. Правда, онъ однажды собственноручно наказалъ своего сына за то, что онъ букву рцы выговаривалъ— арцы, но въ тотъ день Еремѣй Лукичъ скорбѣлъ глубоко и тайно: лучшая его собака убилаьсь объ дерево. Впрочемъ, хлопоты Василисы Васильевны насчетъ воспитанія Пантюши ограничились однимъ мучительнымъ усиленемъ: въ потѣ лица наняла она ему въ гувернеры отставного солдата изъ эльзасцевъ, нѣкоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала, какъ листъ, передъ нимъ: ну, думала она, коли откажется— пропала я! куда я дѣнусь? гдѣ другого учителя найду? Ужъ и этого насилу-насилу у сосѣдки сманила! И Биркопфъ, какъ человѣкъ смѣтливый, тотчасъ воспользовался исключительностью своего положенія: пилъ мертвую и спалъ съ утра до вечера“. Это значило на тогдашнемъ языкѣ пройти „курсъ наукъ“.

Не менѣе замѣчательнъ, какъ живая, яркая картина съ натуры, эпизодъ, рассказанный Тургеневымъ въ „Однoдворцѣ Овсяниковѣ“. Барабанщикъ наполеоновской арміи, m-r Lejeune, на возвратномъ пути, полузамерзшій и безъ барабана, попался въ руки смоленскимъ мужикамъ, которые рѣшили утопить „французя“ въ проруби рѣчки Гнилотерки. На эту своеобразную расправу съ супостатомъ наѣзжаетъ случайно помѣщикъ.

— Что вы тамъ такое дѣлаете?—спросилъ онъ мужиковъ.

— А французя топимъ, батюшка.

— А!—равнодушно возразилъ помѣщикъ и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur!—закричалъ бѣднякъ.

— А-а!—съ укоризной заговорила волчья шуба:—съ дванадесятью языкъ на Россію шелъ, Москву сжегъ, окаянный, крестъ съ Ивана Великаго стащилъ, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвостъ поджалъ. Подѣломъ вору и мука... Пошелъ, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочемъ, стой!—прибавилъ помѣщикъ.—Эй, ты, мусье, умѣешь ты музыкѣ?

— *Sauvez-moi, sauvez-moi, mon bon monsieur!*—твердилъ Лежёнъ.

— Вѣдь вишь народецъ! и по-русски-то ни одинъ изъ нихъ не знаетъ! Мюзикъ, мюзикъ, савэ мюзикъ ву? савэ? Ну, говорите? Компренэ? савэ мюзикъ ву? на фортепіано жуэ савэ?

Лежёнъ понялъ, наконецъ, чего добивается помѣщикъ и утвердительно закивалъ головой.

— Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue tous les instruments possibles! Oui, monsieur. Sauvez-moi, monsieur!

— Ну, счастливъ твой Богъ,—возразилъ помѣщикъ.—Ребята, отпустите его; вотъ вамъ двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежѣня посадили въ сани. Онъ задыхался отъ радости, плакалъ, дрожалъ, кланялся, благодарилъ помѣщика, кучера, мужиковъ. На немъ была одна зеленая фуфайка съ розовыми лентами, а морозъ трепалъ на славу. Помѣщикъ молча глянулъ на его посинѣвшіе и окоченѣлые члены, завернулъ несчастнаго въ свою шубу и привезъ его домой. Дворянъ сбѣжалась. Француза наскоро отогрѣли, накормили и одѣли. Помѣщикъ повелъ его къ своимъ дочерямъ.

— Вотъ, дѣти, — сказалъ онъ имъ: — учитель вамъ сысканъ. Вы все приставали ко мнѣ: выучи де насъ музыкѣ и французскому діалекту: вотъ вамъ и французъ, и на фортепіаныхъ играетъ... Ну, мусье, — продолжалъ онъ, указывая на дрянныя фортепіанишки, купленныя имъ за пять лѣтъ у жида, который, впрочемъ, торговалъ одеколономъ: — покажи намъ свое искусство: жуэ!

Лежѣнь съ замирающимъ сердцемъ сѣлъ на стулъ: онъ отъ роду и не касался фортепіанъ.

— Жуэ же, жуэ же! — повторилъ помѣщикъ.

Съ отчаяніемъ ударилъ бѣднякъ по клавишамъ, словно по барабану, заигралъ, какъ попало... „Я такъ и думалъ, — рассказывалъ онъ потомъ, — что мой спаситель схватитъ меня за воротъ и выброситъ вонъ изъ дому“. Но, къ крайнему изумленію невольнаго импровизатора, помѣщикъ погода немного одобрительно потрепалъ его по плечу. „Хорошо, хорошо, — промолвилъ онъ: — вижу, что знаешь; поди теперь отдохни“.

„Получить воспитаніе“ и „говорить по-французски“ на языкѣ того времени выраженія равнозначашія. О Татьянѣ Борисовнѣ Тургеневъ говоритъ: „родилась она отъ весьма бѣдныхъ помѣщиковъ и не получала никакого воспитанія, т.-е. не говоритъ по-французски“. Умѣніе болтать по-французски было своего рода мѣркой, по которой различались высшіе и низшіе сорта дворянъ; образовательное же и воспитательное значеніе этого знанія было совершенно ничтожно. Большинство, которое имѣетъ въ виду писатель, и не думало о культурномъ значеніи языка, какъ средства духовнаго общенія народовъ, потому что не чувствовало потребности въ такомъ общеніи, не доросло до тѣхъ

общечеловѣческихъ идей, какія нашли себѣ выраженіе въ иностранной литературѣ. Такихъ людей, а равно и тѣхъ, предъ кѣмъ они щеголяли французскою рѣчью, интересовалъ и привлекалъ самый процессъ говоренія по-французски, все равно какъ гоголевскій Петрушка наслаждался самымъ процессомъ чтенія. Знакомый уже намъ генералъ-майоръ Хвалынскій „читаетъ мало; при чтеніи безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно волну снизу вверхъ по лицу пускаетъ. Особенно замѣчательно это волнообразное движеніе на лицѣ Вячеслава Иларіоныча, когда ему случается (при гостяхъ, разумѣется) пробѣгать столбцы „Journal des Débats“. Вотъ и все, въ чемъ выразилось знаніе французскаго языка у генерала. Другой „воспитанный“ человѣкъ, Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ, обильно пересыпаетъ свою рѣчь такими выраженіями, какъ: „Mais c'est impayable“, „Mais comment donc!“ „Ce sera charmant“, „C'est arrangé“... и т. п.; говоритъ по-французски о „невѣжествѣ“ своихъ русскихъ „подданныхъ“; „выписываетъ французскіе книги, рисунки и газеты“... Думаете—читаетъ? нѣтъ, „до чтенія небольшой охотникъ: „Вѣчнаго жида“ едва осилилъ“. Такимъ образомъ, и здѣсь подъ видимостью французскаго просвѣщенія кроется доморощенное невѣжество русскаго помѣщика. Другіе знакомцы охотника откровенно-невѣжественны, безъ французской личины. Г. Полутыкинъ „хвалилъ сочиненія Акима Нахимова и повѣсть „Пинну“; называлъ свою собаку Астрономомъ; вмѣсто однако говорилъ иначе“. Г. Звѣрковъ „наставляетъ на „путь истины“ автора и, въ доказательство бесполезности чтенія нѣмецкихъ книгъ и своего знанія русскаго народа, рассказываетъ ему „маленькій анекдотецъ“, отъ котораго страшно становится человѣку не то что образованному, а хотя бы не лишенному способности думать и чувствовать. Радилонъ, „человѣкъ славный“, по свидѣтельству автора, позволяетъ себѣ часто „показывать гостю искусство“ Ѳедора Михеича (когда-то богатаго помѣщика, теперь разорившагося и играющаго жалкую роль приживальщика и шута), которое состояло въ томъ, что Ѳедя пускается въ плясъ, пиликая по струнамъ дрянненькой скрипки, прислоненной къ груди, смычкомъ, взятымъ не за конецъ, какъ слѣдуетъ, а за середину, и напѣвая пѣсенку. Въ конторѣ г-жи Лосняковой „на стѣнахъ, оклеенныхъ зелеными обоями съ розовыми разводами, висѣли“—вѣроятно для воспитанія художественнаго вкуса—„три огромныя картины, писанныя масляными красками“... „На одной изображена была легавая собака съ голубымъ ошейникомъ и над-



писью: „Вотъ моя отрада“; у ногъ собаки текла рѣка, а на противоположномъ берегу рѣки, подъ сосною, сидѣлъ заяцъ непомѣрной величины, съ приподнятымъ ухомъ. На другой картинѣ два старика ѣли арбузъ: изъ-за арбуза виднѣлся въ отдаленіи греческій портикъ съ надписью: „Храмъ Удовлетворенья“. На третьей картинѣ представлена была полунагая женщина въ лежачемъ положеніи en gassoingé, съ красными колѣнями и очень толстыми пятками“...

Мардарій Аполлонычъ читалъ когда-то „Сонникъ“, но и это занятіе оставилъ, такъ какъ за излишне усерднымъ служеніемъ кухнѣ не имѣлъ возможности заняться чѣмъ-нибудь, кромѣ преферанса. „Такихъ помѣщиковъ,—говоритъ Тургеневъ,—у насъ на Руси еще довольно много“. Поручикъ Хлопаковъ составилъ себѣ почетную извѣстность такими кстати и некстати употребляемыми выраженіями, какъ: „Мое вамъ почитаніе, покорнѣйше благодарствую“, „нѣтъ, ужъ это вы того, кескесэ,—это вышло выходитъ“, „не ву горяче па, человекъ Божій обшить бараньей кожей“ и т. д.

Отецъ Чертопханова читалъ „Московскія Вѣдомости“, и, вычитавши однажды статейку харьковскаго помѣщика Хряка-Хруперскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, на другой же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковскаго помѣщика наизусть. Крестьяне выучили статью; баринъ спросилъ ихъ: понимаютъ ли они, что тамъ написано? Приказчикъ отвѣчалъ, что какъ, молъ, не понять!“

Эти примѣры съ достаточной, я думаю, убѣдительностью говорятъ о невѣжествѣ русскихъ помѣщиковъ средней руки (а они составляли громадное большинство) въ первой половинѣ XIX в., о низкомъ уровнѣ духовной культуры въ этой средѣ. Ею-то — этой некультурностью—и объясняются какъ пошлость и пустота личной жизни помѣщика, такъ и безчеловѣчная тиранія его въ отношеніи крѣпостныхъ.

Такимъ образомъ, Тургеневъ не только обличаетъ въ помѣщикѣ деспота-крѣпостника, но и доказываетъ отсутствіе въ немъ общечеловѣческихъ качествъ, и тѣмъ самымъ наноситъ крѣпостничеству страшный ударъ, который можетъ быть выраженъ въ такой приблизительно формѣ: 1) крѣпостное право—учрежденіе, отвѣчающее грубо-эгоистическимъ потребностямъ отдѣльныхъ лицъ, соображеніями государственной и національной пользы не можетъ быть оправдано; 2) основныя начала общечеловѣческой морали попираются этимъ пережиткомъ стараго вре-

мени, потому что жизнь и благополучіе цѣлыхъ массъ ввѣряются такимъ помѣщикамъ, какъ Звѣрковъ, Стегуновъ, Пѣночкинъ и т. д., а они—не люди, они—пошлые „существователи“ и вмѣстѣ безчеловѣчные деспоты. Итакъ, русское дворянство не имѣетъ права владѣть людьми и нравственно обязано, покончивши съ этимъ позорнымъ наслѣдіемъ вѣковъ, начать жизнь новую, лучшую въ направленіи общечеловѣческихъ идеаловъ добра и правды, на началахъ разума и любви. „Нѣтъ свободы для насъ,— писалъ Герценъ <sup>1)</sup>),—пока проклятіе крѣпостного права тяготѣетъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ не оправданное рабство крестьянъ... Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть дворовыхъ людей, купленныхъ какъ товаръ, проданныхъ какъ стадо. Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть право сѣчь мужиковъ и посылать дворовыхъ на сѣзжую. Нельзя даже говорить о правахъ человѣческихъ, будучи владѣльцемъ человѣческихъ душъ“.

---

<sup>1)</sup> „Русскому дворянству“. Цит. изд. соч. А. Герцена, т. V, стр. 326—327.

## II.

### Р а б ы.

„Мы встрѣчаемъ въ деревнѣ людей сумрачныхъ, печальныхъ, людей, которые тяжело и невесело пьютъ зеленое вино, у которыхъ подавленъ разгульный славянскій нравъ, на ихъ сердцахъ лежитъ очевидно тяжкое горе.

Это горе, это несчастье—крѣпостное состояніе“.

*А. Герценъ.*

Перейдемъ къ рабамъ—жертвамъ крѣпостной неволи и помѣщичьей тираніи. „Гдѣ мужикъ, тамъ и стонъ“—„страдальца мучительный стонъ, въ мольбѣ обращенный“ ко всѣмъ, у кого есть сердце, чтобы пожалѣть, и прежде многихъ другихъ услышанный тѣмъ, кто на смертномъ одрѣ завѣщалъ всѣмъ любить людей, какъ онъ ихъ всегда любилъ.

Точно смерть, въ извѣстной одѣ Державина, крѣпостное право глядитъ на всѣхъ и приводитъ въ трепетъ и страхъ неповинныхъ въ своемъ рабствѣ людей. Это общее впечатлѣніе отъ крѣпостного права, какъ чего-то чудовищно-страшнаго, Тургеневъ хорошо изобразилъ въ разсказѣ „Бурмистръ“. Въстѣ съ помѣщикомъ Пѣночкинымъ охотникъ вѣзжаетъ въ деревню; эффектъ отъ пріѣзда помѣщика получился необыкновенный. „Нѣсколько мужиковъ въ пустыхъ телѣгахъ попались намъ навстрѣчу; они ѣхали съ гумна и пѣли пѣсни, подпрыгивая всѣмъ тѣломъ и болтая ногами въ воздухѣ; но при видѣ нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимнія шапки (дѣло было лѣтомъ) и приподнялись, какъ бы ожидая приказаній. Аркадій Павлычъ милостиво имъ поклонился. Тревожное волненіе видимо распространялось по селу. Бабы въ клѣтчатыхъ паневахъ швыряли щепками въ недогадливыхъ или слишкомъ усердныхъ собакъ; хромой старикъ съ бородой, начинавшейся подъ

самыми глазами, оторвалъ недопоенную лошадь отъ колодца, ударилъ ее, неизвѣстно за что, по боку, а тамъ уже поклонился. Мальчишки въ длинныхъ рубашонкахъ съ воплемъ бѣжали въ избы, ложились брюхомъ на высокій порогъ, свѣшивали головы, закидывали ноги кверху и такимъ образомъ весьма проворно перекатывались за дверь, въ темныя сѣни, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренною рысью въ подворотню; одинъ бойкій пѣтухъ съ черной грудью, похожей на атласный жилетъ, и краснымъ хвостомъ, закрученнымъ на самый гребень, остался было на дорогѣ и уже совсѣмъ собрался кричать, да вдругъ сконфузился и тоже побѣжалъ“. Такъ, одно появленіе помѣщика приводитъ крестьянъ въ состояніе гнетущаго ужаса, и они или бѣгутъ кто куда, слѣдуя инстинкту само-сохраненія, или подъ парализующимъ дѣйствіемъ аффекта теряютъ способность сознательной дѣятельности. Не думайте, что авторъ преувеличилъ или нарисовалъ карикатуру; эта картина несомнѣнно нарисована съ натуры. Человѣку естественно бояться того, что страшно, что грозитъ его личному благосостоянію или благополучію его семьи и вообще людей ему близкихъ, дорогихъ; а крѣпостное право по самому существу тѣхъ отношеній, какія устанавливались имъ между помѣщикомъ и крестьянами, не могло быть и не было учрежденіемъ благотѣльнымъ или хотя бы безразличнымъ,—тяжелый трудъ и несчастную долю несло оно съ собой, и понятно, что его боялись.

Въ одномъ изъ эпизодовъ этого же разсказа Тургеневъ вскрываетъ весь ужасъ несвободнаго и совершенно беззащитнаго положенія крѣпостныхъ крестьянъ. „Выходя изъ сарая, увидели мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ — старикъ лѣтъ шестидесяти, другой — малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земскій Оедосѣичъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ бы уговорить ихъ удалиться, если бы мы замѣшались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на мѣстѣ. Тутъ же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающими кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губы и подошелъ къ просителямъ. Оба молча поклонились ему въ ноги.

— Что вамъ надобно? о чемъ вы просите? — спросилъ онъ строгимъ голосомъ и нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули

другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали.)

— Ну, что же?—продолжалъ Аркадій Павлычъ, и тотчасъ же обратился къ Софрону:—изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣвской семьи,—медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что же вы?—заговорилъ опять г. Пѣночкинъ—языковъ у васъ нѣтъ, что ли? Сказывай, ты, чего тебѣ надобно?—прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика.—Да не бойся, дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы, сиплымъ голосомъ произнесъ: „Заступись, государь“—и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ.)

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковлевичъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, батюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усами повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ же онъ тебя замучилъ?—заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ — вонъ его милость. (Онъ указалъ на старосту.).

— Гмъ!—произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ разориться, кормилецъ!

Г-нъ Пѣночкинъ нахмурился.—Что же это, однако, значить?—спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человекъ-съ, — отвѣчалъ бурмистръ, въ первый разъ употребляя „слово-еръ“,—неработающій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковлевичъ за меня недоимку взнесъ, батюшка,—продолжалъ старикъ,—вотъ пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ, а какъ взнесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...

— А отчего недоимка за тобой завелась?—грозно спросилъ г. Пѣночкинъ. (Старикъ понурилъ голову.) — Чай пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ было ротъ.)— Знаю я васъ, — съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ,—ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіанъ тоже, — ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собой разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ, — съ отчаяніемъ заговорилъ старикъ,—помилуй, заступись,—какой я грубіанъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, неволю приходится. Не взлюбилъ меня Софронъ Яковличъ, за что не взлюбилъ — Господь ему судья! Разоряетъ въ конецъ, батюшка... Послѣдняго, вотъ, сыночка... и того... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка.)—Помилуй, государь, заступись...

— Да и не насъ однихъ,—началь было молодой мужикъ.

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ.

— А тебя кто спрашиваетъ, а? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это что такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать!.. Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ! Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую... у меня... (Аркадій Павлычъ шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспомнилъ о моемъ присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманъ...) Je vous demande bien pardon, mon cher,—сказалъ онъ съ принужденной улыбкой, значительно понизивъ голосъ.—C'est le mauvais côté de la medaille... Ну, хорошо, хорошо,—продолжалъ онъ, не глядя на мужиковъ,—я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.)—Ну, да вѣдь я сказалъ вамъ... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорятъ вамъ.

Аркадій Павлычъ обернулся къ нимъ спиной. „Вѣчно неудовольствія“, проговорилъ онъ сквозь зубы и пошелъ большими шагами домой. Софронъ отправился вслѣдъ за нимъ. Земскій выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнулъ утокъ изъ лужи. Просители по-

стояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свояси.

Часа два спустя я уже былъ въ Рябовѣ и вмѣстѣ съ Анпадистомъ, знакомымъ мнѣ мужикомъ, собирався на охоту. До самага моего отъѣзда Пѣночкинъ дулся на Софрона. Заговорилъ я съ Анпадистомъ о шипиловскихъ крестьянахъ, о г. Пѣночкинѣ, спросилъ его, не знаетъ ли онъ тамошняго бурмистра.

— Софрона-то Яковлевича?.. вона!

— А что онъ за человѣкъ?

— Собака, а не человѣкъ; такой собаки до самага Курска не найдешь... Звѣрь—не человѣкъ; сказано: собака, песь, какъ есть, песь.

— Да что жъ они на него не жалуются!

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимокъ не бываетъ, такъ ему что? Да, поди ты,—прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія,—пожалуйся. Нѣтъ, онъ тебя... да, поди-ка... Нѣтъ, ужъ онъ тебя вотъ какъ, того...

Я вспомнилъ про Антипа и рассказалъ ему, что видѣлъ.

— Ну,—промолвилъ Анпадистъ,—заѣсть онъ его теперь; заѣсть человѣка совѣмъ. Староста теперь его забыть. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга! И за что терпитъ... На сходкѣ съ нимъ повздорилъ, съ бурмистромъ-то, невтерпежъ, знать, пришлось... Велико дѣло! Вотъ онъ его, Антипа-то, клевать и началъ. Теперь доѣдетъ. Вѣдь онъ такой песь, собака, прости, Господи, мое прегрѣшенъе, знаетъ, на кого налечъ. Стариковъ-то, что побогаче, да посемейнѣе, не трогаетъ, лысый чортъ, а тутъ вотъ и расходился! Вѣдь онъ Антиповыхъ-то сыновей безъ очередей въ некруты отдалъ, мошенникъ безпардонный, песь, прости Господи, мое прегрѣшенъе!"

Такимъ образомъ, крестьяне жили подъ вѣчнымъ страхомъ. Это настроеніе, въ теченіе долгихъ лѣтъ невольнo ставшее для массы закрѣпощеннаго люда привычнымъ, не могло не повліять губельно на духовное развитіе крестьянина. Точно сказочный Кошей, леденящій и мертвящій все живое, крѣпостное право мертвило (не только физически, но и духовно) тѣхъ, на кого простиралось его дѣйствіе. Вѣковое рабство лишало народъ возможности, а затѣмъ и способности и желанія разумно жить и свободно развиваться. „Сучокъ“ (въ разсказѣ „Льговъ“) — живая и яркая иллюстрація такого деморализующаго вліянія крѣпостного права. Имъ распоряжались, какъ вещью, лѣпили изъ него что хотѣли, и въ концѣ-концовъ, послѣ цѣлаго ряда экспери-

ментовъ, онъ сталъ вялымъ, апатичнымъ существомъ, хожимъ на манекенъ, чѣмъ на живого человѣка<sup>1)</sup>. оборванный и взъерошенный Сучокъ,—говорить Тургенъ за- зался съ виду отставнымъ дворовымъ лѣтъ шестидесяти

— Есть у тебя лодка?—спросилъ я.

— Лодка есть,—отвѣчалъ онъ глухимъ и разбитымъ со- сомъ,—да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да изъ дырьевъ клепки повывалились.

— Велика бѣда! — подхватилъ Ермолай: — паклей заткн- можно.

— Извѣстно, можно,—подтвердилъ Сучокъ.

— Да ты кто?

— Господскій рыболовъ.

— Какъ же это ты рыболовъ, а лодка у тебя въ такой не- исправности?

— Да въ нашей рѣкѣ и рыбы-то нѣту...

— Скажи, пожалуйста,—началъ я,—давно ты здѣсь рыбакомъ?

— Седьмой годъ пошелъ,—отвѣчалъ онъ, встрепенувшись.

— А прежде чѣмъ ты занимался?

— Прежде ѣздилъ кучеромъ.

— Кто жъ тебя изъ кучеровъ разжаловалъ?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что насъ-то купила. Вы не изволите знать. Алена Ти- мофеевна, толстая такая... немолодая.

— Съ чего жъ она вздумала тебя въ рыболовы произвести?

— А Богъ ее знаетъ. Приѣхала къ намъ изъ своей вотчины изъ Тамбова, велѣла всю дворню собрать, да и вышла къ намъ. Мы сперва къ ручкѣ, и она ничего: не сердаетъ... А потомъ и стала по порядку насъ спрашивать: чѣмъ занимался, въ какой должности состоялъ? Дошла очередь до меня; вотъ и спраши- ваетъ: ты чѣмъ былъ? Говорю: кучеромъ. Кучеромъ? Ну, какой ты кучеръ, посмотри на себя: какой ты кучеръ? Не слѣдъ тебѣ быть кучеромъ, будь у меня рыболовомъ, и бороду сбрей. На случай моего приѣзда къ господскому столу рыбу поставляй, слышишь?.. Съ тѣхъ поръ, вотъ, я въ рыболовахъ и числюсь.— Да прудъ у меня, смотри, содержать въ порядкѣ... А какъ его содержать въ порядкѣ?

<sup>1)</sup> Ср. старика сторожа въ началѣ разсказа „Контора“.



— Чьи же вы прежде были?

— А Сергѣя Сергѣевича Пехтерева. По наслѣдствію ему достались. Да и онъ нами недолго владѣлъ, всего шесть годовъ. У него-то, вотъ, я кучеромъ и ѣздилъ... да не въ городѣ—тамъ у него другіе были, а въ деревнѣ.

— И ты смолоду все былъ кучеромъ?

— Какое все кучеромъ! Въ кучера-то я попалъ при Сергѣѣ Сергѣевичѣ, а прежде поваромъ былъ,—но не городскимъ поваромъ, а такъ, въ деревнѣ.

— У кого жъ ты былъ поваромъ?

— А у прежняго барина, у Афанасія Нефедыча, у Сергѣя Сергѣичина дяди. Льговъ-то онъ купилъ, Афанасій Нефедычъ купилъ, а Сергѣю Сергѣевичу имѣніе-то по наслѣдствію досталось.

— У кого купилъ?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вотъ, что въ запрошломъ году умерла, подъ Болховымъ... то бишь подъ Карачевымъ, въ дѣвкахъ... И замужемъ не бывала. Не изволите знать? Мы къ ней поступили отъ ея батюшки, отъ Василья Семеныча.

— Что жъ ты у ней былъ поваромъ?

— Сперва точно былъ поваромъ, а то и въ кофишенки попалъ.

— Во что?

— Въ кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфетѣ состоялъ, и Антономъ назывался, а не Кузьмой. Такъ барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время былъ кофишенкомъ?

— Нѣтъ, не все время: былъ и ахтеромъ.

— Неужели?

— Какъ же, былъ... на кеятрѣ игралъ. Барыня наша кеятръ у себя завела.

— Какія же ты роли занималъ?

— Чего изволите-съ?

— Что ты дѣлалъ на театрѣ?

— А вы не знаете? Вотъ, меня возьмутъ и нарядятъ: я такъ и хожу наряженный, или стою, или сижу, какъ тамъ придется.

Говорятъ: вотъ что говори,—я и говорю. Разъ слѣпому представлялъ... Подъ каждую вѣку мнѣ по горошинѣ положили... Какъ же!

— А потомъ чѣмъ былъ?

— А потомъ опять въ повара поступилъ.

— За что же тебя въ повара разжаловали?

— А братъ у меня сбѣжалъ.

— Ну, а у отца твоей первой барыни ты чѣмъ былъ?

— А въ разныхъ должностяхъ состоялъ: сперва въ казачкахъ находился, фалеторомъ былъ, садовникомъ, а то и доѣзжачимъ.

— Доѣзжачимъ?.. И съ собаками ѣздилъ?

— Ыздилъ и съ собаками, да убили: съ лошади упалъ и лошадь зашибъ. Старый-то баринъ у насъ былъ престрогий; велѣлъ меня выпоротъ да въ ученье отдать въ Москву, къ сапожнику.

— Какъ въ ученье? Да ты, чай, не ребенкомъ въ доѣзжачіе попалъ?

— Да лѣтъ, этакъ, мнѣ было двадцать слишкомъ.

— Какое же тутъ ученье въ двадцать лѣтъ?

— Стало быть, ничего, можно, коли баринъ приказалъ. Да онъ, благо, скоро умеръ,—меня въ деревню и вернули.

— Когда жъ ты поварскому-то ремеслу обучился?

Сучокъ приподнялъ свое желтенькое и худенькое лицо и усмѣхнулся.

— Да развѣ этому учатся?.. Стряпаютъ же бабы!

— Ну,—промолвилъ я:—видалъ ты, Кузьма, виды на своемъ вѣку! Что жъ ты теперь въ рыболовахъ дѣлаешь, коль у васъ рыбы нѣту?

— А я, батюшка, не жалуясь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А то вотъ другого, такого же, какъ я, старика— Андрея Пупыря—въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить. Грѣшно, говорить; даромъ хлѣбъ ѣсть... А Пупырь - то еще на милость надѣялся: у него двоюродный племянникъ въ барской конторѣ сидитъ конторщикомъ: доложить обѣщался объ немъ барынѣ, напомнить. Вотъ-те и напомнил!.. А Пупырь въ моихъ глазахъ племяннику-то въ ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Былъ женатъ?

— Нѣтъ, батюшка, не былъ. Татьяна Васильевна покойница— царство ей небесное!—никому не позволяла жениться. Сохрани

Богъ! Бывало, говорить: вѣдь живу же я такъ, въ дѣвкахъ, что за баловство! Чего имъ надо?

— Чѣмъ же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются—и то слава Тебѣ, Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣка нашей го-спожь!“

Это „довольство“, очевидно, есть результатъ испытанной ломки и граничить съ полной нечувствительностью къ тѣмъ впечатлѣніямъ, на основаніи которыхъ человѣкъ обычно опредѣляетъ объемъ и содержаніе своей личной и окружающей его общественной жизни: рабство гражданское приводитъ къ неизбѣжному своему слѣдствію — рабству духовному, и если указаниями на полную необезпеченность крестьянина, его страданія и несчастія, писатель будилъ „добрыя чувства“ въ современникахъ, какъ будить ихъ и въ насъ, то яркимъ изображеніемъ его придавленности, забитости, порой близкихъ къ полному уничтоженію сознательной и активной дѣятельности, онъ наводилъ общество на мысль о страшномъ вредѣ для цѣлаго народнаго организма крѣпостного права, которое миллионы живыхъ людей превращало въ мертвецовъ и тѣмъ понижало и въ силѣ и въ качествѣ жизнь русскаго народа.

Такимъ образомъ, отжившая узкая точка зрѣнія пользы сословной, съ которой оцѣнивалось и защищалось крѣпостное право, смѣняется у писателя-человѣка взглядомъ глубоко-человѣчнымъ: для него нѣтъ „чеозка“<sup>1)</sup>, всѣ люди и всѣ братья; писатель-гражданинъ ратуетъ за свободную жизнь всѣхъ гражданъ, за сознательное и дѣятельное участіе всѣхъ членовъ въ работѣ народнаго организма. Вдумчивому и безпристрастному читателю становилось ясно, что Сучокъ и ему подобные, поневолѣ дѣлаясь простой рабочей силой въ родѣ лошади или другаго домашняго животнаго, переставали быть людьми, и ихъ значеніе въ общей жизни народа было ничтожно; а такъ какъ ихъ—этихъ запряженныхъ въ крѣпостное ярмо рабовъ людей—были миллионы, то самый простой ариѳметическій расчетъ приводилъ къ итогам убѣдительнымъ и вмѣстѣ страшнымъ: жизнь цѣлыхъ миллионвъ русскихъ людей почти совершенно пропадала для русскаго народа, котораго въ сущности и не было.

Такъ, И. С. Тургеневъ показалъ „въ пестромъ калейдоскопѣ“ подѣ всевозможными углами зрѣнія жалкую креатуру, которая

---

<sup>1)</sup> См. „Лебедянь“.

возбуждаетъ въ зрителѣ то смѣхъ, то состраданіе, не имѣющую потребностей ни средствъ, блуждающую въ потемкахъ: и рядомъ съ рабомъ вырисовывается не менѣе жалкій манекенъ полувиллизированнаго рабовладѣльца, въ сущности добраго малаго, но творящаго зло по невѣдѣнію, исковерканнаго фатальной средой... Крѣпостническая Россія ужаснулась, увидѣвши свое отраженіе въ подставленномъ зеркалѣ, и содрогнулась изъ конца въ конецъ“. Дѣло, на защиту котораго выступилъ писатель-человѣкъ, „на-половину было выиграно“.

---

## ГЛАВА IV.

### Сермяжные герои.

„Русскій народъ живъ, здоровъ и даже не старъ, напротивъ того, очень молодъ...“

Прошлое русскаго народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее“.

*А. Герценъ.*

„Теперь,—писалъ М. Е. Салтыковъ въ 1862 году,—крѣпостное право какой-то тяжкій и страшный кошмаръ..., въ которомъ давящiе и давимые равно были ужасны“. Этими словами хорошо опредѣляется то впечатлѣнiе, какое выносить читатель изъ художественнаго воспроизведенiя крѣпостнической Россiи въ „Запискахъ Охотника“. Но страшныя тѣни загубленныхъ жизней и виновниковъ этой гибели, жертвъ и палачей, не составляютъ всей картины Тургенева; есть въ ней свѣтлыя, бодрящiе тона,—болѣе того, есть дивныя, чарующiя своей неземной красотой, созданiя. Творческiй генiй и „святое горячее сердце“, соединившись въ великой душѣ писателя, сумѣли найти и извлечь изъ тайниковъ многострадальной народной души, изъ-подъ язвъ и струпьевъ „отвратительнаго недуга“ то здоровое и вѣчно юное, что сохранилось въ русскомъ народѣ, какъ ни душили его „крѣпостныя цѣпи“, ту „силу нездѣшнюю“, что не давала погибнуть человѣческому въ этомъ „звѣрѣ“, хотя безчеловѣчное отношенiе помѣщиковъ къ крестьянамъ на протяженiи вѣковъ и грозило, казалось, привести народный организмъ къ духовной смерти. И. С. Тургеневъ такъ близко и просто, по-братски подошелъ къ людямъ-рабамъ, что ему открылась въ нихъ та поэзiя, „пониманiе которой при непосредственномъ созерцанiи ускользаетъ отъ большинства людей, не одаренныхъ исключительно сильной по-

этической восприимчивостью, а въ данной передачѣ между тѣмъ открывается само собой самому невпечатлительному человѣку“. Вотъ эти-то чудныя поэтическія пѣсни, эта „дивная музыка доселѣ небранныхъ струнъ—„русскихъ струнъ“ „русской правдивой, горячей души“ („Пѣвцы“),—и будутъ предметомъ дальнѣйшаго изложенія; но предварительно нѣсколько словъ, чтобы выяснитъ *raison d'être* этихъ пѣсенъ и этой музыки въ „Запискахъ Охотника“.

Въ картинахъ и типахъ „старой Руси“, нами уже обследованныхъ, Тургеневъ правдиво изобразилъ русскую жизнь, какъ она сложилась въ условіяхъ тираніи и рабства. Объективный художникъ, онъ не отгѣнялъ искусственно того, отъ чего болѣла и ныла его правдивая, горячая душа, и однако его скорбь и тоска силою непосредственнаго впечатлѣнія отъ живыхъ образовъ передались русскому обществу, и оно—въ лучшихъ его членахъ—прониклось состраданіемъ къ рабу и негодованіемъ противъ деспота. Первая половина пути къ той цѣли, достигнуть которой клялся юноша—Тургеневъ, была сдѣлана: позорное равнодушіе было нарушено: „всколыхнулось болото стоячее“. Но ограничиться изображеніемъ только „мертвецовъ“ значило бы остановиться на полпути, не сдержатъ „аннибаловской клятвы“. Тургеневъ клятвы не нарушилъ.

Критика, какъ ни необходима она, не составляетъ всего, за ней слѣдуетъ болѣе трудная и болѣе важная работа созиданія. Вспомнимъ великаго критика русской жизни, нашего „великаго меланхолика“,—Гоголя. Несравненный, безпощадный анатомъ, онъ въ своихъ произведеніяхъ (особенно „Ревизоръ“ и „Мертвыхъ душахъ“) вскрылъ на всенародныя очи болѣзни и язвы русскаго общества, и однако, по справедливому выраженію Ап. Григорьева „можетъ быть, никто не полонъ такъ сознанія о прекрасномъ человѣкѣ, какъ этотъ писатель, призванный очертить пошлость пошлаго человѣка, и потому ни одинъ писатель не обладаетъ души такой тяжелой грустью, какъ Гоголь, когда онъ, какъ безпощадный анатомъ, разнимаетъ человѣка“. „Что пользы,—писалъ Гоголь Жуковскому,—поразить позорнаго и порочнаго, выставя его на видъ всѣмъ, если не ясенъ въ тебѣ самомъ идеаль ему противоположнаго? Какъ выставятъ недостатки и недостойнство человѣческое, если не задалъ самому себѣ запросъ: въ чемъ же достоинство человѣка? и не далъ на это себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго отвѣта? Какъ осмѣивать исключенія, если еще не узналъ хорошо тѣ правила,

изъ которыхъ выставляешь на видъ исключенія? Это будетъ значить разрушить старый домъ прежде, чѣмъ имѣешь возможность выстроить на мѣсто его новый. Но искусство не разрушеніе; въ искусствѣ таятся сѣмена созданія, а не разрушенія". И Тургеневъ, во исполненіе своей „аннибаловской клятвы“ бороться до конца съ крѣпостнымъ правомъ, не могъ и не долженъ былъ останавливаться только на художественномъ воспроизведеніи убогой крѣпостнической русской дѣйствительности въ видѣ „жалкой креатуры раба и не менѣе жалкаго манекена полуживилизованнаго рабовладѣльца“. „Мало показать общественную язву, мало сдѣлать ее очевидною для всѣхъ, это только часть работы. Нужно еще найти въ защищаемомъ элементѣ задатки лучшаго будущаго“, нужно показать эту „черноземную силу“ во всей ея, вѣками нетронутой, цѣльности, поднять цѣлину народной жизни и, путемъ творческаго возсозданія ея въ художественныхъ реальныхъ типахъ, дать убѣдиться всѣмъ, что, будь другія условія, народная нива дала бы высокой цѣнности произрастенія. И Тургеневъ съ честью разрѣшилъ эту трудную и отвѣтственную задачу „возсозданія русскихъ людей“.

„Жиль ты,—говоритъ поэтъ, обращаясь къ И. С. Тургеневу,—  
И вѣрилось въ русскую силу,  
Вѣрилось въ русской души красоту“

„Неумирающее значеніе „Записокъ Охотника“ въ томъ именно и состоитъ, что онѣ даютъ намъ здоровые народные типы, прямо выхваченные изъ жизни и не созданные въ угоду какой-либо тенденціи“ (Венгеровъ). На ряду съ „жалкими креатурами“— рабами Тургеневъ показываетъ намъ среди простолудиновъ нетронутыя натуры съ цѣльной, самобытной и богатой психической организаціей, доказывая тѣмъ самымъ способность русскаго народа къ культурному развитію и право на свободное человѣческое существованіе.

Теперь кажется страннымъ, что надо было доказывать такую истину, какъ *человѣкъ есть человѣкъ*; да, съ трудомъ вѣрится этому, но преданіе еще свѣжо о тѣхъ людяхъ, которые были убѣждены, что „у мужиковъ психическія движенія совершаются по другимъ законамъ, чѣмъ у людей вообще“, которые не хотѣли видѣть въ крѣпостномъ человѣкѣ и ставили его въ разрядъ вещей. „Я не понимаю,—говорилъ Николай I въ 1847 г. депутатъ смоленскаго дворянства, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью, и не могу себѣ объяснить это иначе, какъ хитростью и

обманомъ съ одной стороны и невѣжествомъ съ другой“. „Мои люди“, „мои крестьяне“, „мои рабы“, „мои холопы“, „хамы“, „подданные“ и т. п. выраженія—совершенно обычные въ тогдашнемъ помѣщичьемъ разговорномъ языкѣ для опредѣленія установившихся отношеній между помѣщиками—„даровыми полицеймейстерами“ (по выраженію импер. Павла) и крестьянами—„кременной собственностью“,—отношеній, которыя узаконились цѣлымъ рядомъ указовъ, гдѣ встрѣчаемъ такія выраженія, какъ: „крестьянамъ быть вѣчно за тѣмъ, за кѣмъ записаны“ или: „владѣльцамъ владѣть ими (крестьянами) вѣчно“,—а владѣютъ вѣдь только вещью. Въ одномъ указѣ 1792 года читаемъ, что купчія на крѣпостныхъ пишутся и совершаются со взятіемъ пошлины, „какъ и на прочее недвижимое имѣніе“. Такъ,

Не видя слезъ, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное судьбой,  
Здѣсь барство дикое безъ чувства, безъ закона  
Присвоило себѣ насильственно лозой  
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.  
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,  
Здѣсь рабство тощее влачится по браадамъ  
неумолимаго владѣльца,  
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ;  
Надеждъ и склонностей питать въ душѣ не смѣя,  
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ для прихоти  
развратнаго злодѣя.  
Опора милая старѣющихъ отцовъ,  
Младые сыновья, товарищи трудовъ,  
Изъ хижины родной идутъ собою множить  
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.

„До какихъ чудовищныхъ размѣровъ могло доходить у дурныхъ помѣщиковъ опьянѣніе патриархальнымъ крѣпостнымъ самовластіемъ, можно судить по слѣдующему образчику: „Малоярославскій помѣщикъ Михаилъ М.—невѣ запрягъ свою голую жену въ тарантасъ, а дѣвокъ, тоже голыхъ, на пристяжку, и на выносъ, да и поѣхалъ на сѣнокосъ, гдѣ велѣлъ всѣхъ голыхъ дѣвокъ и жену на кордѣ гонять. Подвернулся женинъ братъ, медикъ, онъ его до полусмерти изсѣкъ на конюшнѣ и челюсть проломилъ ему“. Этотъ дикій человѣкъ въ концѣ-концовъ былъ „преданъ суду: за разореніе крестьянъ, за вынужденіе крестьянскихъ женъ и дочерей къ разврату и за жестокое обращеніе какъ съ ними, такъ и съ женою своею, которую онъ травилъ собаками, выворачивалъ ей руки, вырвалъ ей всѣ волосы съ головы и ударами раздробилъ челюсть“. И такихъ извер-



говъ-помѣщиковъ было не мало въ средѣ рабовладѣльцевъ. Въ рѣчи Николая I, сказанной дворянамъ въ 1848 году, есть такой—неизвѣстно на чемъ основанный, но врядь ли сгущающій краски—подсчетъ: „На 50 дворянъ 15 хорошихъ, 25 порядочныхъ, 10 негодныхъ“, т.-е. 20%.

Этотъ строй жизни, какъ и его представители и защитники, стопами и кровью жертвъ оставившіе по себѣ страшную память въ потомствѣ, не могли пройти незамѣченными общественной совѣстью современниковъ, и наиболѣе чуткіе изъ нихъ—писатели (Фонвизинъ, Новиковъ, Радищевъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ)—осудили крѣпостничество, какъ позорнѣйшее зло русской жизни, а крѣпостниковъ—какъ безчеловѣчныхъ виновниковъ этого зла, какъ тирановъ,

Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,  
Кому закономъ былъ отцовъ законъ.

Но дѣйствіе этой художественно-литературной репродукціи „отвратительнаго недуга“ въ значительной мѣрѣ парализовалось состояніемъ нашего общества въ ту пору: „Наша литература безъ публики, писалъ въ 1842 году Бѣлинскій, потому что наша публика что-то загадочное: одинъ читалъ Пушкина, другой въ восторгѣ отъ г. Бенедиктова, третій былъ безъ ума отъ мистеріи г. Тимофеева; одинъ понимаетъ Гоголя, другой еще въ полномъ удовольствіи отъ Марлинскаго, а третій не знаетъ ничего лучше романовъ Зотова и Воскресенскаго... Театральные судьи равно хлопаютъ и „Гамлету“ и водевилямъ г. Коровкина, и „Парашѣ“ г. Полевого. И не думайте, чтобы это были люди разныхъ сферъ и классовъ общества—нѣтъ, они всѣ перемѣшаны и перетасованы, какъ колода картъ...“ И если для кого, то именно для „сермяжныхъ героев“, рабовъ въ жизни, не пришло еще время литературнаго гражданства, и стоило только показаться мужику на страницахъ прогрессивныхъ изданій, какъ съ разныхъ сторонъ раздались голоса: словесность „провоняла отъ запаха полушубковъ“. Родоначалникъ „народнической литературы“ Д. В. Григоровичъ, едва сдѣлавъ первый шагъ по направленію къ „меньшому брату“ (повѣсть „Деревня“), былъ осмѣянъ въ одномъ изъ журналовъ, который помѣстилъ карикатуру, изображавшую новатора-писателя въ видѣ человѣка, роющагося въ навозной кучѣ и политого помоями. Очевидно, для обличителей крѣпостничества и защитниковъ народной воли еще не было подходящей аудиторіи: ее надо было создать; до тѣхъ поръ ли-

тературныя обличенія помѣщичьей тираніи совершенно тонули въ крикливой и беспорядочной разноголосицѣ, какая поднялась въ средѣ „блюстителей порядка“, какъ только заявлено было правительствомъ намѣреніе освободить крестьянъ отъ опеки „отцовъ-благодѣтелей“. „Друзья своихъ интересовъ и враги общаго блага“ (Бѣлинскій), они, будучи призваны къ рѣшенію вопроса объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, не только не хотѣли признавать этотъ актъ справедливости необходимымъ, но и отрицали самую его возможность и законность. Въ основѣ этого отрицанія лежалъ „шкурный“ страхъ передъ утратой привилегіи на личность и трудъ „крещеной собственности“. „Тѣ изъ дворянъ нашихъ,—писалъ Заблоцкій-Десятовскій въ своемъ отчетѣ о поѣздкѣ, предпринятой въ концѣ 30-хъ годовъ (по порученію министра государственныхъ имуществъ гр. Киселева) для ознакомленія съ положеніемъ крѣпостныхъ крестьянъ,—кои стоятъ низко на степени образованія, видятъ въ крѣпостномъ правѣ необходимое условіе своего существованія. Они не проникаютъ въ глубь вопроса, знаютъ только, что въ ихъ власти находятся люди, которые должны имъ работать даромъ, что наемнику надо было бы платить наличными деньгами, межъ тѣмъ какъ крѣпостному предоставляется только средство къ выручкѣ денегъ, т.-е. земля. Въ глазахъ такихъ дворянъ это всегда выйдѣе и, разумѣется, легче. Притомъ весьма много льститъ чувство власти, къ которой такъ привыкъ нашъ дворянинъ. Все это вмѣстѣ поддерживаетъ во многихъ убѣжденіе, что крѣпостное право не только необходимо, какъ установленіе законное, временемъ освященное, но какъ неотъемлемое право дворянства и средство къ поддержанію его состоянія“<sup>1)</sup>)

---

1) Яркой иллюстраціей къ такого рода сужденіямъ служитъ картина съ натуры, набросанная П. И. Якушкинымъ въ одномъ изъ его „Очерковъ“. „Разсказывая о впечатлѣніи, произведенномъ рескриптомъ 20 ноября 1857 г., Якушкинъ передаетъ такую сцену, бывшую у одной провинціальной помѣщицы:

— Да что же это значить?—спрашиваетъ эта барыня, когда ей прочитали рескриптъ.

— Уничтожается крѣпостное право,—отвѣчали ей.

— А крѣпостныхъ крестьянъ не будетъ? Крѣпостныхъ совсѣмъ не будетъ?

— Совсѣмъ не будетъ.

— Ну, этого я не хочу!—объявила барыня, вскочивъ съ дивана. Всѣ посмотрѣли на нее съ недоумѣніемъ.

— Рѣшительно не хочу! Поѣду сама къ государю и скажу: я скоро

Эти доводы и эти „убѣжденія“ раздѣлялись громаднымъ большинствомъ душевладѣльцевъ, но развѣ только Простаковы и Скотинины были такъ наивны, что вѣрили въ незыблемую мощь и вѣчное торжество „вольности дворянства“; только для нихъ барское „не хочу“ представлялось совершенно достаточнымъ для того, чтобы все оставалось по закону отцовъ, и только они, какъ Сильванъ въ извѣстной сатирѣ Кантемира, продолжали думать, что „доводъ и порядокъ въ словахъ подлыхъ есть дѣло, а знатнымъ полно утверждать или отрицать смѣло“. Люди, хоть сколько-нибудь мыслившіе, понимали, что одного отрицанія недостаточно, что все растущей и все надвигающейся волнѣ освободительнаго движенія должна быть противопоставлена прочная искусственная преграда, иначе они будутъ снесены ею. И вотъ апологеты рабства и кнута пытаются „хитрость и обманъ“ возвести въ норму жизни, „отвратительный недугъ“ оправдать ображеніями государственной безопасности и народнаго здоровья, „позорному ярму“ усвоить достоинство „отеческой власти“. Такіе теоретики крѣпостнаго безправія народныхъ массъ „убѣждены, говоритъ Заблоцкій-Десятовскій,—что уничтоженіе крѣпостнаго состоянія будетъ губельно для государства“. „Какъ,—говорятъ они,—предоставить людей этихъ самимъ себѣ, когда они и подъ нашей властью не имѣютъ порядочной нравственности, да они всѣ сопьются и пропадутъ“. Нѣкоторые говорятъ: „просвѣтите сперва крестьянъ, а потомъ и освободите“. Другіе говорятъ: „рабы суть младшіе братья человѣчества, надъ которыми нужна еще строгая и близкая отеческая власть. Свобода имъ вредна, какъ дѣтямъ“. Совершенно въ тонъ этой доморощенной апологій „шкурныхъ“ интересовъ, Мардарій Аполлонычъ („Два помѣщика“) по поводу установившейся системы воспитательныхъ воздѣйствій спокойно заявляетъ изумленному охотнику: „Что вы, молодой человѣкъ, что вы? Что я злодѣй, что ли, что вы на меня такъ оставились? Любая да наказуетъ: сами вы знаете“. А г. Пѣночкинъ, Аркадій Павлычъ („Бурмистръ“), съ какимъ-то умиленіемъ говоритъ о себѣ, что онъ „строгъ, но справедливъ,

---

умру, послѣ меня пусть что хотятъ, то и дѣлаютъ, а пока я жива, я этого не хочу!

— Какъ, у меня отнимать мое!—разсуждалъ другой помѣщикъ.—Вѣдь я человѣкомъ владѣю; мнѣ мой Ванька приноситъ оброку въ годъ по пятидесяти цѣлковыхъ. Отнимутъ Ваньку, кто мнѣ за него заплатитъ, да и кто его цѣнить будетъ?“

(См. Гр. Джаншіева. „Эпоха великихъ реформъ“, 9 изд., стр. 24—25.)

о благѣ подданныхъ печется и наказываетъ ихъ—для ихъ же блага“. „Съ ними надо обращаться, какъ съ дѣтьми: невѣжество, *mon cher, il faut prendre cela en considération*“. Болѣе тонкіе „цѣнители и судьи“, соглашаясь признать, что крѣпостной строй въ своихъ основахъ несправедливъ, находили однако преждевременной его замѣну „братствомъ, равенствомъ, свободой“. „До сего времени писалъ одинъ харьковскій помѣщикъ, несмотря на злоупотребленія помѣщики были для правительства лучшими полицеймейстерами и блюстителями порядка“. Это для него „неоспоримо“, а отсюда заключеніе, высказанное другимъ—тамбовскимъ помѣщикомъ: „Сдѣлать права напыщеннаго барства пора, но уничтожить крѣпостное право рано, очень рано“. Какъ „будто барщина честнѣй свободнаго труда“, какъ будто можетъ быть преждевременно то, что справедливо. „Противъ этого софизма“ („хорошо, да не во время“), скажемъ словами корифея судебной реформы С. И. Заруднаго,—софизма, „который сдѣлалъ много зла на свѣтѣ, можно сказать одно только: если изложенныя основанія правильны, то они благовременны. Трудно думать, продожаетъ онъ, чтобы люди гдѣ-либо и когда-либо были приготовлены для дурнаго и не зрѣли для хорошаго... Правильный законъ *никогда* не сдѣлаетъ зла: онъ тотчасъ пуститъ глубокіе корни и составитъ могущественную опору спокойствія и благоденствія народа“.

Какъ бы то ни было, о мужикѣ стали говорить и тѣ, кто раньше не удостоивалъ его даже чести личнымъ распоряженіемъ отослать на конюшню для порки (Пѣночкинъ: „Насчетъ Ѳедора распорядиться...“). Правда, въ рѣчахъ Пѣночкиныхъ и Звѣрковыхъ всякаго рода мужикъ неизмѣнно являлся „звѣремъ“, или, въ лучшемъ случаѣ, дикимъ, неразумнымъ ребенкомъ; но для „Иванушки-дурачка“ и то было цѣннымъ приобрѣтеніемъ, что стали *доказывать* то, что онъ дуракъ, такъ какъ до сихъ поръ это считалось нетребующимъ никакихъ доказательствъ. Его когда-то гнушались, и на дворъ не пускали, развѣ только на конюшню, а теперь „и въ роскошныхъ палатахъ и въ скромныхъ усадьбахъ небогатыхъ помѣщиковъ, и въ домикахъ сельскихъ причтовъ, и въ купеческихъ конторахъ, и въ квартирахъ чиновниковъ—ездѣ слышались одни разсужденія о крестьянскомъ дѣлѣ“ („Свѣд. Почта“). Потомъ изъ гостиныхъ его вывели на широкою арену печатнаго слова и, такимъ образомъ, не безъ содѣйствія самихъ господъ рабъ получилъ доступъ въ литературу. Писателю-народнику открылась высокая миссія воз-

становленія человѣческаго достоинства въ крѣпостномъ крестьянинѣ: загорался,

тѣни рабства гоня,  
Нѣжный лучъ восходящаго дня.

Такъ, мы подошли къ опредѣленію положительной задачи автора „Записокъ Охотника“. Тургеневу надлежало показать, что „простой русскій человѣкъ умѣлъ остаться человѣкомъ и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи“, что эти „дѣти“ таятъ въ глубинахъ своихъ душъ могучіе родники духовной, умственной и нравственной мощи, которая, если ей дать свободу, сдѣлаетъ ребенка-народъ гражданиномъ, и не только для своей двори,—для всего русскаго закрѣпощеннаго народа Тургеневъ явился „ангеломъ“, „заступникомъ“, потому что, „читая „Записки охотника“, скажемъ словами историка новѣйшей русской литературы, русскіе читатели впервые видѣли въ мужикахъ не двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братьевъ своихъ по человѣчеству, и приучались любить ихъ, принимать горячее участіе въ ихъ судьбѣ“.

„Въ „Запискахъ Охотника“ вы въ одномъ томѣ имѣете передъ собою всю крестьянскую жизнь съ ея печальми и немногими радостями. Вы видите, какъ формируются народныя повѣрья, какъ складываются народныя понятія, какъ образуется, однимъ словомъ, народное міросозерцаніе. Вы видите долготерпѣніе русскаго народа, его пассивное геройство, его угрюмое добродушіе и мягкосердечіе. Всматриваясь внимательнѣе, вамъ нетрудно замѣтить его смышленость, здравый умъ и способность образоваться. Всѣ эти качества мелькаютъ передъ вами во время чтенія „Записокъ Охотника“, и въ концѣ ихъ вы уже имѣете весьма ясное представленіе о нравственной фізіономіи настоящей „черноземной“ силы. Вы начинаете любить эти неказистыя фигуры, потому что подъ непредставительной ихъ наружностью кроется богатѣйшій запасъ природныхъ силъ“ (Венгеровъ). Сгруппировать эти положительные типы русскаго крестьянства въ „Запискахъ Охотника“ и опредѣлить существенныя особенности наиболѣе значительныхъ и характерныхъ изъ нихъ и составляетъ задачу дальнѣйшаго изложенія.

Пользуясь терминологіей самого автора, можно все разнообразіе этихъ типовъ свести къ двумъ основнымъ группамъ, которыя намѣчены и охарактеризованы въ первомъ же очеркѣ „Хоръ и Калинычъ“: одна группа—это натуры практическія, люди

здраваго смысла, грубаго, но крѣпкаго и яснаго ума (Бѣлинскій), рационалисты; другая—натуры поэтическія, идеалисты, романтики, люди восторженные и мечтательные. Такое дѣленіе отнюдь не можетъ быть названо искусственнымъ приѣмомъ художника; нѣтъ, оно глубоко правдиво, жизненно и обличаетъ въ авторѣ его тонкаго наблюдателя русской дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ русскаго крестьянина въ крѣпостномъ состояніи и подумайте, какъ должна была выразиться духовная жизнь тѣхъ даровитыхъ, сильныхъ натуръ, которыя при всей тяжести помѣщичьяго гнета не теряли своего человѣческаго достоинства, своей индивидуальности. Очевидно, возможны только два исхода изъ такого положенія: или подчинить себѣ силою воли и ума людей и жизнь, отвоевать себѣ у нихъ свободное—если не юридически, то фактически, какъ Хорь—существованіе; или уйти отъ людей и жизни и, не переставая вѣрить въ человѣка и жизнь вообще, создать себѣ новый идеальный міръ и въ немъ и имъ жить. Познакомимся теперь съ наиболѣе видными представителями той и другой группы.

---

## „Рационалисть“.

„Клейменный, да не рабъ!..“

*Н. А. Некрасовъ.*

Типическимъ представителемъ людей трезваго, практическаго ума и стойкой, цѣпкой воли является Хорь. „Складъ его лица напоминаль Сократа: такой же высокій, шишковатый лобъ, такіе же маленькіе глазки, такой же курносый носъ“. Хорь—„мужикъ умный“, по словамъ его помѣщика Полутыкина; онъ человѣкъ „себѣ на умѣ“, по отзыву охотника, но—не въ смыслѣ той „скверной практичности“, которая въ общежитіи выражается, какъ умѣнье жить насчетъ другихъ, хотя бы этимъ другимъ жилось и безъ того плохо. „Онъ настолько практиченъ, чтобы не позволять себя эксплуатировать разнымъ гг. Полутыкинымъ. Онъ не желаетъ лишъ оставаться въ дуракахъ, примѣнять свою доброту къ ненадлежащему мѣсту“. Хорь—это (выражаясь словами Гоголя) „крѣпкая русская голова, тотъ самый умъ, который сродни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ“. Долгимъ и горькимъ опытомъ цѣлыхъ поколѣній, совершенно достаточнымъ для вполнѣ опредѣленныхъ выводовъ, русскій здравомыслящій простолудинъ пришелъ къ мысли о томъ, что, оставаясь въ крѣпостной крестьянской общинѣ, крестьянинъ является только звеномъ въ цѣпи, которою всецѣло владѣеть и распоряжается помѣщикъ. Круговая порука, которою былъ связанъ крестьянскій крѣпостной міръ и вслѣдствіе которой каждый членъ общины отвѣчалъ не только за себя, но и за своихъ сочленовъ, была очень удобна и выгодна для господъ, такъ какъ ея облегчалось и упрощалось до возможной степени рѣшеніе задачи „содрать“ какъ можно больше,—но безусловно гибельна для крестьянъ, затягивая ихъ нерѣдко мертвой петлей всевозможныхъ обязательствъ. Хорь и рѣшилъ снять съ себя эту петлю,

уйти отъ „міра“: онъ поселился на болотѣ, обязавшись платить барину хорошій оброкъ подѣ условіемъ „ни въ какую работу не употреблять“ его.—Хорь откупился отъ г. Полутыкина, которому чечевичная похлебка, очевидно, была дороже первенства,—такова сила экономическаго фактора, неуклонно, хотя и медленно, приводившаго институтъ рабства къ внутреннему саморазложенію.

Но въ томъ же направленіи дѣйствовали несомнѣнно и „громадныя силы“, „угрюмо покоившіяся“ дотолѣ въ „томъ исполнѣ, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ“. Освобожденіе Хоря отъ крѣпостныхъ цѣпей,—хотя бы только фактическое, а не юридическое,—скоро же сказалось въ такихъ фактахъ, которые непрерываемо ясно доказывали право Хоря на свободную жизнь по закону. Вполнѣ естественно, что результаты этого освобожденія, которое для Хоря можно опредѣлить, главнымъ образомъ, какъ независимость хозяина въ хозяйствѣ, особенно рѣзко сказались именно со стороны экономической же: Хорь „разбогатѣлъ“, т.-е. „обстроился, накопилъ денжку“. „Посреди лѣса на расчищенной и разработанной полянѣ, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла изъ нѣсколькихъ сосновыхъ срубовъ, соединенныхъ заборами“. Главная изба видѣялась особымъ навѣсомъ, а внутри пріятно поражала чистотой и достаткомъ. „Ни одна суздальская картина не залѣпляла чистыхъ бревенчатыхъ стѣнъ; въ углу, передъ тяжелымъ образомъ въ серебряномъ окладѣ, теплилась лампадка; липовый столъ недавно былъ выскобленъ и вымытъ; между бревнами и по косякамъ оконъ не скиталось рѣзвыхъ прусаковъ, не скрывалось задумчивыхъ таракановъ“... Достатокъ сказывается всюду въ этой „одинокой усадьбѣ“, и его съ удовольствіемъ наблюдаетъ писатель, который позднѣе, съ какой-то прямо материнской радостью, созерцалъ „довольство, покой, избытокъ русской вольной деревни“. „Молодой парень скоро появился съ большой бѣлой кружкой, наполненной хорошимъ квасомъ, съ огромнымъ ломтемъ пшеничнаго хлѣба и съ дюжиной соленыхъ огурцовъ въ деревянной мискѣ“...

Не удивительно, что, живя въ такихъ условіяхъ, обитатели усадьбы на болотѣ всѣ отличались здоровьемъ. „Хорь расплодилъ большое семейство“, и „хорьки“ выглядѣли „молодыми великанами“; отъ нихъ такъ и вѣяло здоровой силушкой молодецкою, которая энергично проступала наружу, сказываясь то „бѣлыми, какъ снѣгъ зубами“, то кудрями волосъ, то краснотою



щекъ. Читая описаніе усадьбы Хоря, получаешь впечатлѣніе, какъ будто сильное дерево, дотолѣ придавленное, освободилось отъ давившаго его тяжелаго гнета: оно сразу поднялось, быстро выпрямилось, стало сочнымъ и мощнымъ, а вокругъ него,

Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,  
Теперь младая роща разраслась.

И, подѣ дѣйствіемъ этого впечатлѣнія, сама собой является мысль что здорово, сильно, жизнеспособно крестьянство, какъ бы ни гнула, ни ломала крестьянина крѣпостная неволя,—что

Ни работою,  
Ни вѣчною заботою,  
Ни игомъ рабства долгаго,  
Ни кабакомъ своимъ  
Еще народу русскому  
Предѣлы не поставлены—

не только въ дѣлѣ личнаго совершенствованія и организациі семейной жизни, но и въ болѣе широкой и важной сферѣ государственнаго творчества. Какъ бы мимоходомъ Тургеневъ захватываетъ и эту сторону крѣпостническаго режима и на примѣрѣ Хоря доказываетъ нелѣпость взгляда, отрицающаго право крестьянина на свободное гражданство. „Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное“; это „единодушіе“ въ ту пору, когда насиліе и гнетъ царили всюду и связанные съ ними разладъ и борьба изъ области государственныхъ отношеній переходили въ семью, сказываясь здѣсь кулачнымъ правомъ сильныхъ и совершеннымъ поработеніемъ слабыхъ,—это „единодушіе“ служитъ доказательствомъ наличности въ „подломъ“ состояніи той организаторской способности, которую за нимъ совершенно не хотѣли признавать господа, считавшіе себя единственными „блюстителями порядка“. Но запросы „административной головы“, какъ называетъ охотникъ Хоря, шли далѣе обычной семейной обстановки. „Хорь насквозь видѣлъ г. Полутикина“, а съ охотникомъ говорилъ „о посѣвѣ, объ урожаѣ, о крестьянскомъ бытѣ“ въ такомъ тонѣ, что „какъ то странно выходило“ и помѣщику „становилось совѣстно“... за свои рѣчи: онѣ были такъ легковѣсны съ точки зрѣнія опытнаго хозяина, не даромъ Хорь, „все какъ будто соглашавшійся“ съ барининомъ, на прощанье уже не двусмысленно иронизируетъ и даетъ ему совѣтъ „стрѣлять себѣ на здоровье тетеревовъ, да старосту мѣнять почаще“—нехитрый способъ разрѣшенія большинствомъ по-

мѣщиковъ политико-экономическихъ вопросовъ, возникшихъ на почвѣ крѣпостническихъ отношеній. Хорю смѣшны такіе господа, какъ Полутыкинъ, потому что онъ хорошо понимаетъ, что силою вещей господская воля выродилась въ самовластье старосты которое барину не выгодно, а мужику крайне тягостно. Заслуженная укоризна, справедливый приговоръ дикому барству и вмѣстѣ глубокая грусть сильной души слышатся въ ироническомъ совѣтѣ Хоря, точно онъ хотѣлъ сказать: „Эхъ баринъ, баринъ! смѣшно вѣдь и стыдно вамъ такъ жить, а намъ-то каково! Ты вотъ стрѣляешь себѣ въ свое удовольствіе тетеревовъ да старость мѣняешь, а мы „замучены совѣмъ“, „разорены въ конецъ“... Вѣдь вотчины то только числятся за вами, вѣдь не вы ими владѣете (ср. „Бурмистръ“); такъ какая же прибыль вамъ отъ нашихъ мукъ и страданій?!..“ Такъ, понятной становится теперь эта, на первый взглядъ не идущая къ Хорю, даже какъ будто сентиментальная, подробность, о которой не случайно сообщаетъ охотникъ въ концѣ разсказа: „Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на балалайкѣ. Хоръ слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особѣнно любилъ онъ пѣсно: „Доля ты моя, доля!“ Одея не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. „Чего, старикъ, разжалобился?“ Но Хоръ подпиралъ щеку рукой, закрывалъ глаза и продолжалъ жаловаться на свою долю“... Зато, „въ другое время не было человѣка дѣятельнѣе его“; тогда Хоръ знаетъ себѣ цѣну и въ спокойно-насмѣшливой рѣчи его, когда онъ подводитъ итоги „старому порядку“, этотъ позорный пережитокъ представляется,—не говоря уже о дикости и безчеловѣчности,—чѣмъ то нелѣпымъ и бессмысленнымъ, что совершенно и навсегда утратило свою „raison d'être“. „Совѣстно становилось“ человѣку-писателю за свою принадлежность къ сословію господъ; а въ „административной головѣ“ напряженно работала мысль, изслѣдуя и формулируя пути къ иной, свободной жизни, къ инымъ, болѣе разумнымъ и человѣчнымъ, формамъ государственности. Общія основанія этой новой жизни Хорю ясны: „братствомъ, равенствомъ, свободой называются они“; но его глубоко интересуеетъ реальное воплощеніе этихъ началъ въ опредѣленныхъ законахъ и учрежденіяхъ, которыхъ напрасно было бы искать у себя дома. „Узналъ онъ, разсказываетъ охотникъ, что я бывалъ за границей, и любопытство его разгорѣлось... Калинычъ отъ него не отставалъ; но Калиныча болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ

зданий, больших городов, Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку:— „Что, у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка,—какъ же?..—„А! ахъ, Господи, Твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ {во время моего разсказа; Хорь молчалъ, хмурилъ густыя брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо—это порядокъ“.— Всѣхъ его разспросовъ я передать вамъ не могу, да и не зачѣмъ; но изъ нашихъ разговоровъ я вынесъ одно убѣжденіе, котораго вѣроятно, никакъ не ожидаютъ читатели,—убѣжденіе, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что онъ не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ, и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо-то ему и нравится, что разумно—то ему и подавай, а откуда оно идетъ ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ“...

Эту умѣлую постановку вопросовъ, этотъ порядокъ въ нихъ, эту „простую, умѣлую рѣчь русскаго мужика“ Тургеневъ справедливо ставитъ въ связь съ „исключительностью положенія Хоря“: „благодаря своей фактической независимости Хорь говорилъ со мной о многомъ, чего изъ другого рычагомъ не вывотишь, какъ выражаются мужики, жерновомъ не вымелешь. Онъ дѣйствительно понималъ свое положеніе“. Непредубѣжденному читателю остается только изъ данныхъ, добытыхъ авторомъ, построить выводъ: Хорь, „понималъ свое положеніе“ и „просто и умно“ говорилъ, потому что былъ фактически независимъ; слѣдовательно, а) надо быть свободнымъ, чтобы понимать и в) тотъ кто „понимаетъ свое положеніе“, имѣетъ право дѣйствовать согласно съ своими убѣжденіями, т.-е. свободно; слѣдовательно, русскій крѣпостной крестьянинъ не дитя неразумное, чтобы нуждаться въ „отеческой власти“, онъ—совершеннолѣтній и долженъ быть свободнымъ, отвѣтственнымъ за свои слова и дѣйствія, гражданиномъ. Это совершеннолѣтіе „вчерашняго раба—одинъ изъ основныхъ догматовъ того „символа вѣры“, который исповѣдывали „кузнецы-граждане“, ковавшіе крестьянскую реформу. „Я не боюсь послѣдовательной реакціи“, писалъ 19 мая 1861 года одинъ изъ славныхъ дѣятелей крестьянской реформы, Ю. О. Самаринъ, Н. А. Милютину. „Чтобы убѣдиться въ ея

невозможности,—продолжаетъ Самаринъ,—достаточно бросить бѣглый взглядъ на народъ; онъ—безъ преувеличенія—преобразился съ ногъ до головы. Новое положеніе развязало ему языкъ и разорвало окружавшій его заколдованный кругъ. Его языкъ, манеры, походка—все измѣнилось. Сегодня онъ не рабъ; вчера лишь освобожденный, онъ выше государственнаго крестьянина, конечно, не въ экономическомъ отношеніи, а какъ гражданинъ, сознающій, что у него есть права, которыя онъ долженъ и можетъ защищать самъ... Бывшій крѣпостной, при столкновеніи съ помѣщикомъ, думаетъ про себя: посмотримъ, чья возьметъ, на чью сторону станетъ правительство. Въ этой борьбѣ за право крестьянинъ впервые является, какъ субъектъ права, независимый и свободный отъ опеки. Такимъ путемъ должно совершаться его гражданское воспитаніе“.

Честъ и слава писателю, который въ „подавленныхъ и трепетныхъ рабахъ“ увидѣлъ людей—гражданъ и художественной репродукціей крѣпостнаго быта доказалъ право „вчерашняго раба“ быть свободнымъ членомъ свободного государства.

Таковъ Хоръ—человѣкъ положительный, практическій, административная голова, рационалистъ.

## II.

### „Богатырь сермяжный“.

Почернѣлъ ты весь,  
Затуманился,  
Одичаль, замолкъ...

*А. В. Кольцовъ.*

Всегда оставаясь строго объективнымъ художникомъ, Тургеневъ тщательно обрисовываетъ типъ „человѣка положительнаго“; но личныя симпатіи писателя влекутъ его къ тѣмъ образамъ, которые ближе подходятъ подъ идеальный складъ его глубоко-поэтической натуры. Такихъ образовъ больше среди положительныхъ типовъ „Записокъ Охотника“, любовно и нѣжно чертитъ ихъ художникъ своей творческой кистью, и тѣснятся они въ нашу душу какой-то сладкой и вмѣстѣ грустной, страстной мелодіей.

Вотъ Бирюкъ,—типъ, въ которомъ есть черты, сближающія его и съ энергичными и дѣятельными натурами, и съ мечтательными идеалистами.

„Я ѣхалъ съ охоты, вечеромъ, одинъ,—разсказываетъ И. С. Тургеневъ. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась изъ-за лѣса; надо мною и мнѣ навстрѣчу неслись длинныя, сѣрыя облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жаръ внезапно смѣнился влажнымъ холодомъ; тѣни быстро густѣли... Дорога вилась передо мною, между густыми кустами орѣшника, уже залитыми мракомъ; я подвигался впередъ съ трудомъ... Сильный вѣтеръ внезапно загудѣлъ въ вышинѣ, деревья забушевали, крупныя капли дождя рѣзко застучали, зашлепали по листьямъ, сверкнула молнія и гроза разразилась. Дождь полилъ ручьями“... Въ такихъ обстоятельствахъ встрѣчаетъ Тургеневъ лѣсника Оому, по прозвищу „Бирюка“.

„Рѣдко мнѣ случалось, говоритъ онъ видѣть такого молодца. Онъ былъ высокаго роста, плечистъ и сложенъ на славу. Изъ

подъ мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучія мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; изъ подъ сросшихся широкихъ бровей смѣло глядѣли небольшіе каріе глаза. Онъ слегка уперся руками въ бока и остановился передо мною“...

Не знаю какъ вамъ, а мнѣ этотъ угрюмый великанъ напомнилъ другой художественный образъ; мнѣ вспоминается „Бова-силачъ“ Кольцова, и невольно просится въ голову сближеніе, хочется сказать вмѣстѣ съ Кольцовымъ этому русскому богатырю-страдальцу:

Ты всю жизнь свою  
Маялъ битвами...

Природа мать щедро наградила тебя силушкой молодецкою. Эта мощь—духовная и физическая—невредимымъ пронесла тебя на протяженіи тысячелѣтняго рабства:

Не осилили тебя сильные,  
Такъ дорѣзала осень черная,  
Знать, во время сна къ безоружному  
Силы вражія понахлынули,  
Съ богатырскихъ плечъ сняли голову  
Не большой горой, а соломинкой...

Вспомните эту душу надрывающую сцену:

— Такъ ты Бирюкъ,—повторилъ я:—я, братъ, слыхаль про тебя. Говорять, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю,—отвѣчалъ онъ угрюмо:—даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится.

Онъ досталъ изъ-за пояса топоръ, присѣлъ на полъ и началъ колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нѣтъ?—спросилъ я его.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ—и сильно махнулъ топоромъ.

— Умерла, знать?

— Нѣтъ... да... умерла, прибавилъ онъ и отвернулся.

Я замолчалъ; онъ поднялъ глаза и посмотрѣлъ на меня.

— Съ проходимъ мѣщаниномъ обѣжала,—произнесъ онъ съ жестокой улыбкой. Дѣвочка потупилась; ребенокъ проснулся и закричалъ; дѣвочка подошла къ люлькѣ.—На, дай ему, проговорилъ Бирюкъ, сунувъ ей въ руку запачканный рожокъ.—Вотъ и его бросила,—продолжалъ онъ вполголоса, указывая на ребенка...

... Онъ вышелъ и хлопнулъ дверь. Я въ другой разъ осмотрѣлся. Изба показалась мнѣ еще печальнѣе прежняго. Горькій

запахъ остывшаго дыма неприятно стѣснялъ мнѣ дыханіе. Дѣвочка не трогалась съ мѣста и не поднимала глазъ; изрѣдка по-талкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ея голыя ноги висѣли, не шевелясь.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ я.

— Улитой,—проговорила она, еще болѣе понутивъ свое печальное личико...

Не правда ли, вамъ понятно теперь, отчего этотъ богатырь „почернѣлъ весь“, затуманился, одичалъ, замолкъ...

И ему, какъ „несоразмѣрному“ Касьяну, „задачи въ жизни не вышло“... Люди, въ которыхъ такъ мало справедливости, подкрались къ нему, сломали его семейное счастье, и стоитъ онъ, поникъ подъ неожиданно обрушившимся ударомъ людской неправды, и не ратуетъ... Онъ ушелъ отъ людей и, несмотря на свою богатырскую силу, производитъ впечатлѣніе „овцы безпредѣльной“...

„Должность свою справляю: даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится“... „И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не пойдетъ“, и „всѣ боялись его, какъ огня“... Да, Бирюкъ не вѣритъ въ людей, потому что лучшія человѣческія чувства поруганы въ немъ этими же самыми людьми... Онъ живетъ теперь справедливостью „должности“, а правда человѣческая, оскорбленная, ушла въ глубины его чистаго, могучаго сердца. И, точно святыню, хранить онъ эту правду въ тайникахъ своей души, и не понять его людямъ, которые выросли подъ гнетомъ вѣковѣчной несправедливости... Бирюкъ потому и отдался весь во власть суровой морали долга или „должности“ (какъ онъ выражается), что не вѣрилъ уже въ возможность осуществленія при данныхъ условіяхъ другой, высшей правды, а люди, судя по себѣ, не признавали въ немъ этой послѣдней, боялись его, какъ огня, какъ звѣря, не прочь были отнести его въ разрядъ „душегубцевъ, кровопійцъ, азіатовъ, пьющихъ кровь христіанскую“... „Вязанки хворосту не дасть утащить, въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться,—силенъ, дескать, и ловокъ, какъ бѣсъ“... И это вовсе не изъ желанія подслужиться барину или, тѣмъ болѣе, насолить мужику, нѣтъ, у него, „и щемитъ, и ноетъ, болитъ ретивое“; и за этимъ усиленно-тщательнымъ справленіемъ своей должности скрывается дума о „прожитомъ счастьи“, чувствуется желаніе уйти отъ „горести печали“ и въ суровомъ неуклонномъ испол-

ненія долга потопить „жалобу на безвременье“, съ которымъ никакъ не хотѣло мириться сильное несговорчивое сердце. „Пусть не видятъ люди прожитого счастья“. Припомните эту тяжелую сцену съ мужикомъ.

„Мужикъ... сидѣлъ неподвижно на лавкѣ. При свѣтѣ фонаря я могъ разглядѣть его испитое морщинистое лицо, нависшія желтыя брови, безпокойные глаза, худые члены... Дѣвочка улеглась на полу, у самыхъ его ногъ, и опять заснула. Бирюкъ сидѣлъ возлѣ стола, опершись головою на руки. Кузнечикъ кричалъ въ углу... дождикъ стучалъ по крышѣ и скользилъ по окнамъ; мы всѣ молчали.

— Ома Кузьмичъ,—заговорилъ вдругъ мужикъ голосомъ глухимъ и разбитымъ:—а Ома Кузьмичъ!

— Чего тебѣ?

— Отпусти.

Бирюкъ не отвѣчалъ.

— Отпусти... съ голодухи... отпусти.

— Знаю я васъ,—угрюмо возразилъ лѣсникъ:—ваша вся свобода такая—воръ на ворѣ.

— Отпусти,—твердилъ мужикъ:—приказчикъ... разорены, во-какъ... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не слѣдъ.

— Отпусти, Ома Кузьмичъ... не погуби. Вашъ-то, самъ знаешь, заѣсть, во-какъ.

Бирюкъ отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Онъ встряхивалъ головой и дышалъ неровно.

— Отпусти,—повторилъ онъ съ унылымъ отчаяніемъ:—отпусти, ей-Богу, отпусти! я заплачу, во-какъ, ей-Богу. Ей-Богу, съ голодухи... дѣтки пищать, самъ знаешь. Круто, во-какъ, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,—продолжалъ мужикъ:—лошаденку-то, хоть ее-то... одинъ животъ и есть... отпусти!

— Говорять нельзя. Я тоже человѣкъ подневольный: съ меня взыщутъ. Васъ баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Ома Кузьмичъ, нужда, какъ есть того... отпусти!

— Знаю я васъ!

— Да отпусти!

— Э, да что съ тобой толковать; сиди смирно, а то у меня знаешь? Не видишь, что ли, барина?



Бѣднякъ потупился... Бирюкъ зѣвнулъ и положилъ голову на столъ. Дождикъ все не переставалъ. Я ждалъ, что будетъ.

Мужикъ внезапно выпрямился. Глаза у него загорѣлись и на лицѣ выступила краска. „Ну, на, ѣшь, на, подавись, на“,—началъ онъ прищуривъ глаза и опустивъ углы губъ.—„На, душегубецъ окаянный, пей христіанскую кровь, пей“...

Лѣсникъ обернулся.

— Тебѣ говорю, тебѣ, азіатъ, кровопійца, тебѣ!

— Пьянъ ты, что ли, что ругаться вздумалъ!—заговорилъ съ изумленіемъ лѣсникъ.—Съума сошелъ, что ли?

— Пьянъ!.. не на твои ли деньги, душегубецъ окаянный, звѣрь, звѣрь, звѣрь!

— Ахъ, ты... да я тебя!..

— А мнѣ что? Все едино—пропадать; куда я безъ лошади пойду? Пришиби—одинъ конецъ; что съ голоду, что такъ—все едино. Пропадай все: жена, дѣти,—околѣвай все... А до тебя, погоди, доберемся.

Бирюкъ приподнялся.

— Бей, бей,—подхватилъ мужикъ свирѣпымъ голосомъ; бей, на, на, бей... (Дѣвочка торопливо вскочила съ полу и уставилась на него.) Бей, бей!

— Молчать!—загремѣлъ лѣсникъ и шагнулъ два раза.

— Полно, полно, Оома,—закричалъ я:—оставь его... Богъ съ нимъ.

— Не стану я молчать,—продолжалъ несчастный.—Все едино—околѣвать-то. Душегубецъ ты, звѣрь, погибели на тебя нѣту... Да постой, недолго тебѣ чваниться! Затянуть тебѣ глотку, постой!

Бирюкъ схватилъ его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, баринъ!—крикнулъ на меня лѣсникъ.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянулъ было руку, но, къ крайнему моему изумленію, онъ однимъ поворотомъ сдернулъ съ локтей мужика кушакъ, схватилъ его за шиворотъ, нахлобучилъ ему шапку на глаза, растворилъ дверь и вытолкнулъ его вонъ.

— Убирайся къ чорту съ своей лошадейю!—закричалъ онъ ему вслѣдъ:—да смотри, въ другой разъ у меня...

Онъ вернулся въ избу и сталъ копать въ углу.

— Ну, Бирюкъ,—промолвилъ я наконецъ:—удивилъ ты меня: ты, я вижу, славный малый.



— Э, полноте, баринъ,—перебилъ онъ меня съ досадою:— не извольте только сказывать“.

Видите, какъ трудно болѣзненно сжавшемуся сердцу Бирюка открыться для любви... Только на голосъ отчаянія, на изступленные вопли безысходной нужды отозвалось оно, и то спряталось за внѣшнюю суровость. И только другая, въ другихъ условіяхъ выросшая, добрая русская душа поняла, что подъ грубой и суровой наружностью Бирюка скрывается „славный малый“, что подъ „мокрой замашной рубахой“ билось оскорбленное, но чуткое къ скорби другого сердце...

---

### III.

#### „Странный старицъ“.

„И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходять, по міру бродять, правды ищуть“...

Идемъ далѣе по ряду „сермяжныхъ героевъ“: какой поразительный контрастъ! Точно въ сказкѣ—повернулась волшебная палочка, и разомъ все перемѣнилось... Отъ „лиловой тучи“, „бушующихъ деревьевъ“, „сверкающей молніи“ и слѣда не осталось. „Погода была прекрасная... По ясному небу едва-едва неслись высокія и рѣдкія облака, изжелта-бѣлыя, какъ весенній запоздалый снѣгъ, плоскія и продолговатыя, какъ опустившіеся паруса. Ихъ узорчатые края, пушистые и легкіе, какъ хлопчатая бумага, медленно, но видимо измѣнялись съ каждымъ мгновениемъ: они таяли, эти облака, и отъ нихъ не падало тѣни“. Волшебникъ писатель ведетъ васъ съ собою въ лазурное царство ствѣта, молодости и счастья. Вмѣстѣ съ нимъ вы бросаетесь „подъ высокій кустъ орѣшника, надъ которымъ молодой, стройный клень раскинулъ свои легкія вѣтки“, ложитесь на спину и глядите вверхъ. „Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается подъ вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но, словно корни огромныхъ растений, спускаются, отвѣсно падаютъ въ тѣ стеклянно-ясныя волны; листья на деревьяхъ то сквозятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень. Гдѣ-нибудь, далеко, оканчивая собою тонкую вѣтку, неподвижно стоитъ отдѣльный листокъ на голубомъ клочкѣ прозрачнаго неба, и рядомъ съ нимъ качается другой, напоминая своимъ движениемъ игру рыбьяго плеса, какъ будто движение то самовольное и не производится вѣтромъ. Волшебными подводными островами тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя, круглыя облака,—и вотъ, вдругъ все это море, этотъ лучезарный воздухъ, эти вѣтки и листья, облитые солнцемъ—

все заструится, задрожитъ бѣглымъ блескомъ, и поднимается свѣжее, трепещущее лепетаніе, похожее на безконечный мелкій плескъ внезапно набѣжавшей зыби. Вы не двигаетесь—вы глядите: и нельзя выразить словами, какъ радостно и тихо, и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама; какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними, медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше, и тянетъ васъ самихъ за собой въ ту спокойную, сіяющую бездну, и невозможно оторваться отъ этой вышины, отъ этой глубины“...

Не правда ли, читатель, зачаровала васъ эта „спокойная, сіяющая бездна“, эта „глубокая, чистая лазурь“?!... Теперь вы уже не властны надъ собой, васъ тянетъ къ „высокому, свѣтлому небу“, вамъ страстно хочется „прильнуть къ мечтѣ“... Вся отдавшись во власть этого возвышеннаго порыва, ваша душа невольно влечется къ высокому и прекрасному, и вдругъ эта тщедушная фигурка „страннаго старика“, съ которымъ знакомить васъ охотникъ. „Вообразите себѣ карлика лѣтъ пятидесяти, съ маленькимъ, смуглымъ и сморщеннымъ лицомъ, острымъ носикомъ, карими едва замѣтными глазками и курчавыми, густыми, черными волосами, которые, какъ шляпка на грибѣ, широко сидѣли на крошечной его головкѣ. Все тѣло его было чрезвычайно тщедушно и худо, и рѣшительно нельзя передать словами, до чего былъ необыкновененъ и страненъ его взглядъ“. Какимъ-то тягостнымъ недоумѣніемъ отдается въ вашей восторженной душѣ „маленькое, смуглое и сморщенное лицо“ Касьяна; вы готовы сказать: „только-то“, и отвернуться... Но, помимо вашей воли, васъ тянетъ что-то къ этому „необыкновенному и странному взгляду“, васъ чаруетъ этотъ удивительно сладкій, молодой и почти женскій голосъ“, этотъ языкъ „обдуманно-торжественный и странный“... И подъ обаяніемъ этого взгляда, зачарованные этимъ голосомъ вы подходите ближе къ „необнаковенному“ старику; недоумѣніе смѣняется любовью, что только и даетъ силу открывать сокровенную поэзію въ самыхъ, на первый взглядъ, обыкновенныхъ и даже смѣшныхъ предметахъ и существахъ; любовь рождаетъ вниманіе: пристальнѣе всматриваетесь вы въ „юродивца“ и начинаете понимать и цѣнить то „вѣчное“, что „сквозитъ и тайно свѣтитъ“ въ его, на видъ неказистой, фигурѣ, что возноситъ его высоко надъ окружающей его повсе-

дневностью; вслѣдствіе чего она эта обыденщина, безпощадно и неодолимо могущественная, когда соприкасается съ посредственностью, рѣшительно не властна и безсильна принизить до себя, до своей пошлости такихъ „несоразмѣрныхъ“ людей, какъ Касьянъ.

Для людей посредственности, для тѣхъ,

Кто постепенно жизни холодъ  
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ,  
Кто страннымъ снамъ не предавался,—

Касьянъ — юродивецъ, овца безпредѣльная, чудной человѣкъ, глупый человѣкъ, хотя и необыкновенный, непостоянный такой, несоразмѣрный даже; эти люди привыкли мѣрять жизнь своимъ небольшимъ аршиномъ, оцѣнивать людей и ихъ дѣйствія по шаблону; никакъ не могутъ они понять того, кого этимъ аршиномъ не измѣрить, кто подъ этотъ шаблонъ не подходитъ. Для такихъ людей всякая жизнь и дѣятельность сводится къ формѣ, и тѣмъ, чья жизнь въ установившіяся рамки не укладывается, они готовы отказать въ человѣческомъ достоинствѣ; не желаютъ знать они, что чѣмъ глубже и полнѣе духовная жизнь человѣка, тѣмъ она индивидуальнѣе, тѣмъ сложнѣе, „несоразмѣрнѣе“ человѣческое „тамъ внутри“, тѣмъ менѣе поддается оно традиціонной мѣркѣ, и, слѣдовательно, тѣмъ цѣннѣе въ общей суммѣ человѣческихъ силъ, созидающихъ историческій прогрессъ (если разумѣется дѣятельность такой личности направлена къ осуществленію, — а не къ разрушенію, — вѣчныхъ идеаловъ человѣка). Послушайте, какъ одинъ изъ такихъ судей „рѣшительныхъ и строгихъ“ думаетъ и говоритъ о Касьянѣ.

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,—заговорилъ я:—что за человѣкъ этотъ Касьянъ?

Ерофей не скоро мнѣ отвѣтилъ: онъ вообще человѣкъ былъ обдумывающій и неторопливый; но я тотчасъ могъ догадаться, что мой вопросъ его развеселилъ и успокоилъ.

— Блоха-то?—заговорилъ онъ, наконецъ, передернувъ вожжами:—чудной человѣкъ: какъ есть юродивецъ; такого чудного человѣка и не скоро найдешь другого. Вѣдь, напримѣръ, вѣдь онъ ни дать, ни взять нашъ вотъ саврасый: отъ рукъ отбился тоже... отъ работы то-есть. Ну, конечно, что онъ за работникъ, въ чемъ душа держится,—ну, а все-таки... Вѣдь онъ сызмальства такъ. Сперва онъ со дядьями со своими въ извозъ ходилъ: они у него были троечные; ну, а потомъ, знать, наскучило—бросилъ.

Сталъ дома жить, да и дома-то не уживался: такой безпокойный,—ужъ точно блоха. Баринъ ему попался, спасибо, добрый—не принуждалъ. Вотъ, онъ такъ съ тѣхъ поръ все и болтается, что овца безпредѣльная. И вѣдь такой удивительный, Богъ его знаетъ: то молчить, какъ пень, то заговорить, а что заговорить, Богъ его знаетъ. Развѣ это манерь? Это не манерь. Несообразный человѣкъ, какъ есть. Поеть, однако хорошо. Этакъ важно,—ничего, ничего.

— А что, онъ лѣчить, точно?

— Какое лѣчить?.. Ну, гдѣ ему! Таковскій онъ человѣкъ! Меня, однако, отъ золотухи вылѣчилъ... Гдѣ ему! глупый человѣкъ, какъ есть,—прибавилъ онъ, помолчавъ“.

Если вы прислушаетесь къ тону этого приговора, то согласитесь, что, несмотря на всю рѣшительность въ смыслѣ разжалованія Касьяна въ глупые люди, Ерофей никакъ не можетъ овладѣть предметомъ своего сужденія, онъ не поддается его неповоротливой и неглубокой мысли, и нашъ доморощенный судья, легко и безапелляционно осудившій Касьяна съ точки зрѣнія вѣками установленнаго „манера“, становится рѣшительно втупикъ, когда подходитъ къ тому, что собственно и составляетъ суть жизни этой „овцы безпредѣльной“,—къ его постоянно напряженной душевной работѣ въ области вѣчныхъ, коренныхъ вопросовъ бытія, безотрывныхъ думъ надъ „загадкою жизни“: „И вѣдь такой удивительный, Богъ его знаетъ: то молчить, какъ пень, то вдругъ заговорить, а что заговорить, Богъ его знаетъ“.

Въ эту интимную, внутреннѣйшую область душевной жизни Касьяна и вперилъ свой проникновенный взоръ писатель-художникъ, и „чудной человѣкъ“ Ерофея предстаетъ предъ нами чуднымъ въ художественномъ воспроизведеніи Тургенева.

Касьянъ—человѣкъ не отъ міра сего, потому что этотъ міръ совершенно не соотвѣтствуетъ его идеаламъ, противорѣчитъ со всѣмъ его существомъ. Несложно и для поверхностнаго взгляда бѣдно даже его міросозерцаніе, не великъ и не многорѣчивъ его катехизисъ. Вотъ это своеобразное credo—его исповѣданіе вѣры:

- 1) „Всѣ подъ Богомъ ходимъ“.
- 2) „Кто вѣруеть, спасется“.
- 3) „Справедливъ долженъ быть человѣкъ и Богу угоденъ“.
- 4) „Нравственно чистъ“.
- 5) Идеаль жизни—полнота и внутренняя гармонія духовной жизни, „довольство“.

Съ точки зрѣнія этихъ идеаловъ, „правды“ въ людяхъ нѣтъ, ее только „ищутъ“ такіе же „хрестьяне“; а пока не нашли, они уходятъ въ себя, въ свою восторженную вѣру, въ свою нѣжную, страстную, всепрощающую любовь, въ свои поэтическія грезы.

Но послушаемъ эту замѣчательно цѣльную и глубокую, при всей видимой ея отрывочности и простотѣ, философію въ изложеніи самого Касьяна. Не останавливайтесь только на ея формѣ, въ которой, конечно, не мало наивности, вдумайтесь въ ея смыслъ, и вы замѣтите въ этомъ „ребенкѣ“ „уже вовсе не дѣтскую способность къ широкохватающимъ обобщеніямъ“, какъ выражается о немъ одинъ критикъ (Миллеръ), замѣтите ту „особаго рода разумность, которую такъ любитъ скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущейся глупостью любимаго ихъ героя — Иванушки“.

„— Баринъ, а баринъ!—промолвилъ вдругъ Касьянъ своимъ звучнымъ голосомъ.

Я съ удивленіемъ приподнялся; до сихъ поръ онъ едва отвѣчалъ на мои вопросы, а то вдругъ самъ заговорилъ.

— Что тебѣ?—спросилъ я.

— Ну, для чего ты пташку убилъ?—началъ онъ, глядя мнѣ прямо въ лицо.

— Какъ для чего?.. Коростель—это дичь: его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да вѣдь ты самъ, небось, гусей или курицъ, напримѣръ, ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой,—и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлѣбъ—Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ.

Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на Касьяна. Слова его лились свободно; онъ не искалъ ихъ, онъ говорилъ съ тихимъ одушевленіемъ и кроткою важностью, изрѣдка закрывая глаза.

— Такъ и рыбу по-твоему грѣшно убивать?—спросилъ я.

— У рыбы кровь холодная,—возразилъ онъ съ увѣренностью:—рыба тварь нѣмая. Она не боится, не веселится; рыба тварь безсловесная. Рыба не чувствуетъ, въ ней и кровь не живая... Кровь,—продолжалъ онъ, помолчавъ:—святое дѣло кровь!

Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!

Онъ вздохнулъ и потупился. Я, признаюсь, съ совершеннымъ изумленіемъ посмотрѣлъ на страннаго старика. Его рѣчь звучала не мужичьей рѣчью: такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи такъ не говорятъ. Этотъ языкъ обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхалъ ничего подобнаго.

— Скажи, пожалуйста, Касьянъ,—началь я, не спуская глазъ съ его слегка раскраснѣвшагося лица, — чѣмъ ты промышляешь?

Онъ не тотчасъ отвѣтилъ на мой вопросъ. Его взглядъ безпокойно забѣгалъ на мгновеніе.

— Живу, какъ Господь велитъ,—промолвилъ онъ наконецъ,— а чтобы, то-есть, промышлять — нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно, съ малства; работаю, пока мочно, — работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ, и руки глупы. Ну, весной соловьевъ ловлю.

— Соловьевъ ловишь?.. А какъ же ты говорилъ, что всякую лѣсную и полевою и прочую тамъ тварь не надо трогать.

— Убивать ее не надо, точно; смерть и такъ свое возьметъ. Вотъ, хоть бы Мартынъ-плотникъ: жилъ Мартынъ-плотникъ, и недолго жилъ, и померъ; жена его теперь убивается о мужъ, о дѣткахъ малыхъ... Противъ смерти ни человѣку, ни твари не sluкавить. Смерть и не бѣжитъ, да и отъ нея не убѣжишь; да помогать ей не должно... А я соловушекъ не убиваю,—сохрани Господи! Я ихъ не на муку ловлю, не на погибель ихъ живота, а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселіе.

— Ты въ Курскъ ихъ ловить ходишь?

— Хожу я и въ Курскъ, и подалѣ хожу, какъ случится. Въ болотахъ ночью да въ залѣсяхъ, въ полѣ ночью одинъ, во глуши: тутъ кулички разсвистятся, тутъ зайцы кричатъ, тутъ селезни стрекочуть... По вечеркамъ замѣчаю, по утренничкамъ выслушиваю, по зарямъ обсыпаю сѣткой кусты... Иной соловушко такъ жалостно поетъ, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты ихъ?

— Отдаю добрымъ людямъ.

— А что жъ ты еще дѣлаешь?

— Какъ дѣлаю?

— Чѣмъ ты занятъ?

Старикъ помолчалъ.



— Ничѣмъ я этакъ не занятъ... Работникъ я плохой. Грамотѣ однако разумѣю.

— Ты грамотный?

— Разумѣю грамотѣ. Помогъ Господь да добрые люди.

— Что ты семейный человѣкъ?

— Нѣту-ти, безсемейный.

— Что такъ?.. Перемерли, что ли?

— Нѣтъ, а такъ: задачи въ жизни не вышло. Да это все подь Богомъ, всѣ мы подь Богомъ ходимъ; а справедливъ долженъ быть человѣкъ,—вотъ что! Богу угоденъ, то-есть.

— И родни у тебя нѣтъ?

— Есть... да... такъ...

Старикъ замялся.

— Скажи, пожалуйста,—началь я,—мнѣ послышалось, мой кучеръ у тебя спрашиваль, что, дескать, отчего ты не вылѣчилъ Мартына? Развѣ ты умѣешь лѣчить?

— Кучеръ твой справедливый человѣкъ, — задумчиво отвѣчалъ мнѣ Касьянъ,—а тоже не безъ грѣха. Лѣкаркой меня называютъ... Какая я лѣкарка!.. И кто можетъ лѣчить? Это все отъ Бога. А есть... есть травы, цвѣты есть—помогаютъ, точно. Вотъ, хоть череда, напримѣръ, трава добрая для человѣка; вотъ, подорожникъ тоже; объ нихъ и говорить не зазорно; чистыя травки—Божьи. Ну, а другія не такъ: и помогаютъ-то онѣ, а грѣхъ; и говорить о нихъ грѣхъ. Еще съ молитвой развѣ... Ну, конечно, есть и слова такія... А кто вѣруеть—спасется,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Ты ничего Мартыну не даваль?—спросилъ я.

— Поздно узналъ—отвѣчалъ старикъ.—Да что!—кому какъ на роду написано. Не жилецъ былъ плотникъ Мартынъ, не жилецъ на землѣ: ужъ это такъ. Нѣтъ, ужъ какому человѣку не жить на землѣ, того и солнышко не грѣетъ, какъ другого, и хлѣбушекъ тому не въ прокъ,—словно что его отзываетъ... Да, упокой Господь его душу!

— Давно васъ переселили къ намъ?—спросилъ я послѣ небольшого молчанія. Касьянъ встрепенулся.

— Нѣтъ, недавно: года четыре. При старомъ баринѣ мы все жили на своихъ прежнихъ мѣстахъ, а вотъ опека переселила. Старый баринъ у насъ былъ кроткая душа, смиренникъ,—царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо разсудила; видно, ужъ такъ пришлось.

— А вы гдѣ прежде жили?

— Мы съ Красивой Мечи.

— Далекo это отсюда?

— Верстѣ сто.

— Что жѣ тамъ лучше было?

— Лучше... лучше. Тамъ мѣста привольныя; рѣчныя, гнѣздо наше, а здѣсь тѣснота, сухмень... Здѣсь мы осиротѣли. Тамъ у насъ, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ, взойдешь—и Господи, Боже мой, что это? а?.. И рѣка-то, и луга, и лѣсъ; а тамъ церковь, а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече. Вотъ, какъ далеко видно... Смотришь, ахъ ты, право! Ну, здѣсь, точно, земля лучше: суглинокъ, хорошій суглинокъ, говорятъ крестьяне; да съ меня хлѣбушка-то вскоду вдоволь на родится.

— А что, старикъ, скажи правду: тебѣ, чай, хочется на родинѣ-то побывать?

— Да, посмотрѣлъ бы. А впрочемъ, вездѣ хорошо. Человѣкъ я безсемейный, непосѣдъ. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вотъ, какъ пойдешь, какъ пойдешь,—подхватилъ онъ, возвысивъ голосъ:—и полегчить, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь, трава какая растеть; ну, замѣтишь, — сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напимѣръ, ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься,—замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... А то, за Курскомъ пойдутъ степи, этакія степныя мѣста, вотъ удивленіе, вотъ удовольствіе человѣку, вотъ раздолье-то, вотъ Божья-то благодать! И идутъ онѣ, люди сказываютъ, до самыхъ теплыхъ морей, гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и съ деревъ листь ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растутъ золотыя на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости... И вотъ, ужъ я бы туда пошелъ... Вѣдь я мало-ли куда ходилъ! И въ Ромѣнъ ходилъ, и въ Синбирскъ славный-градъ, и въ самую Москву золотыя-маковки; ходилъ на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видалъ, добрыхъ хрестьянъ, и въ городахъ побывалъ честныхъ... Ну, вотъ, пошелъ бы я туда... и вотъ... и ужъ и... И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да!.. А то, что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, — вотъ оно что"...

Подъ какимъ же вліяніемъ сложилась эта оригинальная личность и образовалось ея міросозерцаніе?

Физическій уродь, предметъ насмѣшки (Блоха, лѣкарка) и вмѣстѣ человѣкъ „болѣзненно-чуткой души“, Касьянъ ушелъ отъ этого міра, потому что всей глубиной своего чистаго, прозрачнаго сердца почувствовалъ „несправедливость“ людскую: „справедливости нѣтъ въ человѣкѣ“, и онъ вноситъ тягостную для сердца Касьяна дисгармонію даже и въ природу: „пташку стрѣляетъ для потѣхи“, „рощу сводятъ,—Богъ имъ судья“. Это сердце жизнерадостное, готовое обнять весь міръ своею любовью, дрожить и сжимается при вѣсти о смерти. Вспомните, какое впечатлѣніе произвело на Касьяна извѣстіе о смерти Мартына, какъ испугалъ его выстрѣлъ охотника. „Услышавъ выстрѣлъ, Касьянъ быстро закрылъ глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядилъ ружья и не поднялъ коростеля. Когда же я отправился далѣе, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ упала убитая птица, нагнулся къ травѣ, на которую брызнуло нѣсколько капель крови, покачалъ головой, пугливо взглянулъ на меня... Я слышалъ, послѣ, какъ онъ шепталъ: „Грѣхъ!.. Ахъ, вотъ это грѣхъ!“ Смерть фактъ тяжелой, неизбежной необходимости: „смерть и такъ свое возьметъ... Противъ смерти ни человѣку, ни твари не слукавить... Да помогать ей не должно“... а люди помогаютъ ей... Богъ имъ судья.

Ему „задачи въ жизни не вышло“, какая-то драма имѣла мѣсто въ его жизни,—драма, живой свидѣтельницей которой осталась Аннушка; „да это все подъ Богомъ“, но люди не оказали справедливости Касьяну, и онъ ушелъ отъ нихъ къ природѣ, которая ожила, запѣла, заговорила подъ вдохновеннымъ чувствомъ юродивца, заговорила языкомъ его вѣрованій, чувствованій, неопредѣленныхъ, но сильныхъ порывовъ къ общечеловѣческому довольству и справедливости. Какъ хорошо и привольно чувствовалъ себя Касьянъ въ этихъ степныхъ раздольныхъ мѣстахъ среди родниковъ, пташекъ: и солнышко-то на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется ладнѣй. „Мы пошли. Вырубленнаго мѣста было съ версту. Я, признаюсь, больше глядѣлъ на Касьяна, чѣмъ на свою собаку. Недаромъ его прозвали Блохой. Его черная, ничѣмъ не прикрытая головка (впрочемъ, его волосы могли замѣнить любую шапку) такъ и мелькала въ кустахъ. Онъ ходилъ необыкновенно проворно и словно все подпрыгивалъ на ходу, безпрестанно нагибался, срывая какія-то травки, совалъ ихъ за пазуху, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ и все поглядывалъ на меня и на мою собаку, да такимъ пытливымъ, страннымъ взглядомъ. Въ низкихъ кустахъ, „въ мело-

чахъ“, и на ссѣчкахъ часто держатся маленькія сѣрыя птички, которыя то и дѣло перемѣщаются съ деревца на деревцо и по-свистываютъ, внезапно ныряя на лету. Касьянъ ихъ передразнивалъ, перекликался съ ними; поршокъ полетѣлъ, чиликая, у него изъ-подъ ногъ,—онъ зачиликалъ ему вслѣдъ; жаворонокъ сталъ спускаться надъ нимъ, трепеща крылами и звонко распѣвая,—Касьянъ подхватилъ его пѣсенку“. Здѣсь, среди природы, онъ забывалъ о людской несправедливости, здѣсь охватывала его дѣтски-наивная, но чистая, глубокая и мощная вѣра, и одухотворенный ею — этой вѣрой въ непоколебимую, вѣчную силу добра и правды, онъ со всею страстностью своей непосредственной природы отдается исканію этой правды среди людей и сильному служенію ей. Смерть—одна изъ величайшихъ неправдъ, не должно помогать ей, и Касьянъ лѣчитъ, заговариваетъ, читаетъ проповѣдь добра и справедливости охотнику, для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и на веселіе ловить соловьевъ... Но душой своей онъ тамъ, въ дивныхъ краяхъ, „гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и съ деревъ листь ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растутъ золотыя на серебряныхъ вѣтвяхъ, и живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости...“

И подъ обаяніемъ этого дивнаго образа безграничной любви вѣрится „въ русскую силу, въ русской души красоту“, вѣрится въ неотразимую мощь этой души человѣческой, которая до самыхъ тайныхъ глубинъ своихъ проникнута чувствомъ людской несправедливости и вмѣстѣ носить въ себѣ неизсякаемый источникъ какой-то неземной, дѣтски-наивной, но и сильной своей непосредственностью правды. Вѣрится, что эти любовь и правда пришли бы въ среду людей, дали бы новые, лучшіе устои для человѣческихъ отношеній, если бы не блуждали одинокими и затерянными среди нихъ эти овцы безпредѣльныя, но... Богъ имъ судья: рощи сводятъ, пташекъ убиваютъ, кровь свѣту показываютъ, смерти помогаютъ, нѣтъ справедливости въ людяхъ... И Касьяны блуждаютъ, какъ овцы безпредѣльныя, не признанные; для большинства они—какіе-то несоразмѣрные, чудные люди, и развѣ только болѣе чуткое меньшинство преклонится предъ ними, какъ людьми „необнаковенными“.

#### IV.

### „Край родной долготерпѣнья“.

Край родной долготерпѣнья—  
Край ты русскаго народа!

*Ө. Тютчевъ.*

„Maitre, nous devons aller tous à votre école“, такъ писала Тургеневу Жоржъ-Зандъ, когда прочитала въ переводѣ „Живыя мощи“. Тѣнь видитъ въ „Живыхъ мощахъ“ „образецъ воспроизведенія истины народнаго пониманія жизни“, а Брандесъ называетъ этотъ разсказъ „самой выдающейся“ изъ всѣхъ „монографій несчастья“, которыя занимаютъ такое видное мѣсто въ творествѣ Тургенева. Такъ, вопреки опасеніямъ поэта, „гордый взоръ иноплеменный“ понялъ и оцѣнилъ, что сквозить и тайно свѣтитъ въ этой „муміи“ съ „жестокой каменной неподвижностью“, въ этой „совершенно обнаженной душѣ, лишенной плоти“. И все же русскому читателю ближе, роднѣе, понятнѣе эта, по выраженію французскаго критика, „жалкая развалина, въ которой живетъ возвышенная душа, просвѣтленная страданіемъ, божественно смиренная и въ то же время нисколько, въ своемъ абсолютномъ отреченіи отъ всего земнаго, не утратившая своей примитивной, „мужицкой простоты“. „Не побрезгуйте, не погнушайтесь несчастьемъ“ Лукерья и вы, и я увѣренъ, что „русской души красота“ откроется и вашему сердцу, какъ открылась она „золотому сердцу“ писателя-народолюбца. „Солнце только что встало; на небѣ ни одного облака; все кругомъ блестяло сильнымъ двойнымъ блескомъ: блескомъ молодыхъ утреннихъ лучей и вчерашняго ливня... Ахъ, какъ было хорошо на вольномъ воздухѣ, подъ яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисеръ ихъ звонкихъ голосовъ! На крыльяхъ своихъ они, навѣрно, унесли капли росы, и пѣсни ихъ казались орошенными росой. Я даже шапку снялъ съ головы и дышалъ радостно—всею грудью“... Такъ начинается Тургеневъ

свое описаніе встрѣчи съ Лукерьей. „Край родной долготерпѣнья“ предстаетъ читателю въ великолѣпномъ освѣщеніи: „все кругомъ блестяло сильнымъ двойнымъ блескомъ“; „икона стариннаго письма“ вставлена въ дивную раму родной природы. Этотъ рѣзкій для грубаго слуха диссонансъ—единственный въ своемъ родѣ шедевръ, въ которомъ не знаешь, чему больше удивляться: „блеску ли молодыхъ утреннихъ лучей“, „серебряному бисеру звонкихъ голосовъ“ „трепещущихъ жаворонковъ“, „ясному небу“ или— „жестокой, каменной неподвижности“ лежавшаго на подмосткахъ „живого, несчастнаго существа“, или этому неподражаемому сочетанію жизни и смерти, свѣта и тѣни, вольной радости и терпѣливыхъ слезъ...

„На склонѣ неглубокаго оврага, возлѣ самаго плетня, виднѣлась пасѣвка; узенькая тропинка вела къ ней, извиваясь змѣйкой между сплошными стѣнами бурьяна и крапивы, надъ которыми высились Богъ вѣсть откуда занесенные остроконечные стебли темно-зеленой конопли.

Я отправился по этой тропинкѣ; дошелъ до пасѣвки. Рядомъ съ нею стоялъ плетеный сарайчикъ, такъ называемый омшаникъ, куда ставятъ ульи на зиму. Я заглянулъ въ полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнетъ мятой, мелиссой. Въ углу приспособлены подмостки, и на нихъ, прикрытая одѣяломъ, какая-то маленькая фигура... Я пошелъ было прочь...

— Баринъ, а баринъ! Петръ Петровичъ! — послышался мнѣ голосъ, слабый, медленный и сиплый, какъ шелестъ болотной осоки.

Я остановился.

— Петръ Петровичъ! Подойдите, пожалуйста! — повторилъ голосъ. Онъ доносился до меня изъ угла съ тѣхъ, замѣченныхъ мною, подмостковъ.

Я приблизился—и остолбенѣлъ отъ удивленія. Передо мною лежало живое человѣческое существо; но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая, — ни дать, ни взять—икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать,—только зубы бѣлѣютъ и глаза, да изъ-подъ платка выбиваются на лобъ жидкія пряди желтыхъ волосъ. У подбородка, на складкѣ одѣяла, движутся, медленно перебирая пальцами, какъ палочками, двѣ крошечныхъ руки тоже бронзоваго цвѣта. Я вглядываюсь пристальнѣе: лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется мнѣ это лицо, что по немъ, по метал-

лическимъ его щекамъ, я вижу, силится... силится и не можетъ расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, баринъ?—прошепталь опять голосъ; онъ словно испарялся изъ едва шевелившихся губъ.—Да и гдѣ узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей, въ Спасскомъ, водила... Помните, я еще запѣвалой была?

— Лукерья!—воскликнулъ я.—Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, баринъ,—я. Я—Лукерья.

Я не зналъ, что сказать, и какъ ошеломленный глядѣлъ на это темное, неподвижное лицо съ устремленными на меня свѣтлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумія—Лукерья, первая красавица во всей нашей дворнѣ, — высокая, полная, бѣлая, румяная,—хохотунья, плясунья, пѣвунья“.

Да, какой необычайный, страшный жизненный путь. Точно „двухпудовыя лапы“ „святой дѣвственницы“,—подвиги которой Лукерья знаетъ въ передачѣ русскаго начетчика и предъ которой она преклоняется, какъ передъ святой мученицей,—„жестокая, каменная неподвижность“ сковала въ несчастной страдальцѣ все земное вплоть до „мысленнаго грѣха“. И невольно вспоминаются слова таинственнаго голоса, который звалъ Иоанну отъ „холмовъ, полей родныхъ, пріютно мирнаго, яснаго дола“ на „пажити кровавыя войны“:

Иди о мнѣ свидѣтельствовать, дѣва!  
Надѣть должна ты латы боевыя,  
Въ желѣзо грудь младую заковать;  
Страшись надеждъ, не знай любви земныя...  
Вѣнчальныхъ свѣчъ тебѣ не зажигать,  
Не быть тебѣ душой семьи родныя,  
Цвѣтущаго младенца не ласкать...

„Тихо и слабо, но безъ остановки“, Лукерья рассказала печальную повѣсть несчастной любви, въ самомъ началѣ „сломанной жизни“. „—А бѣда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, баринъ, не погнушайтесь несчастьемъ моимъ, сядьте вонъ на кадушечку, поближе, а то вамъ меня не слышно будетъ... вишь, я какая голосистая стала!.. Ну, ужъ и рада же я, что увидала васъ!..

... — Про бѣду-то мою рассказать? Извольте, баринъ. Случилось это со мной уже давно, лѣтъ шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова—помните, такой изъ себя статный былъ, кудрявый,—еще буфетчикомъ у матушки у вашей служилъ? Да васъ уже тогда въ деревнѣ не было; въ

Москву уѣхали учиться. Очень мы съ Василюмъ слюбились; изъ головы онъ у меня не выходилъ; а дѣло было весною. Вотъ, разъ, ночью... ужъ и до зари недалеко... а мнѣ не спится: соловей въ саду таково удивительно поетъ сладко!.. Не вытерпѣла я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается онъ, заливается... и вдругъ мнѣ почудилось: зоветъ меня кто-то Васинымъ голосомъ, тихо такъ: Луша!.. Я глядь въ сторону, да знать съ просонья оступилась, такъ прямо съ рундучка и полетѣла внизъ—да о-землю хлопъ! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому скоро поднялась и къ себѣ въ комнату вернулась. Только словно у меня что внутри—въ утробѣ—порвалось... Дайте духъ перевести... съ минуточку... баринъ.

Лукерья умолкла, а я съ изумленіемъ глядѣлъ на нее. Изумляло меня собственно то, что она разсказъ свой вела почти весело, безъ оховъ и вздоховъ, нисколько не жалуясь и не спрашиваясь на участіе.

— Съ самаго того случая,—продолжала Лукерья,—стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мнѣ стало ходить, а тамъ уже полно и ногами владѣть: ни стоять, ни сидѣть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни ѣсть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша, по добротѣ своей, и лѣкарямъ меня показывала, и въ больницу посылала. Однако облегченья мнѣ никакого не вышло. И ни одинъ лѣкаръ даже сказать не могъ, что за болѣзнь у меня за такая. Чего они со мной только ни дѣлали: желѣзомъ раскаленнымъ спину жгли, въ колотый ледъ сажали—и все ничего. Совсѣмъ я окостенѣла подъ конецъ... Вотъ и порѣшили господа, что лѣчить меня больше нечего, а въ барскомъ домѣ держать калѣкъ не способно... Ну, и переслали меня сюда—потому тутъ у меня родственники есть. Вотъ я и живу, какъ видите.

Лукерья опять умолкла и опять силилась улыбнуться..."

Тяжелый, крестный путь!

„Сперва очень томно было“; видно, не мало слезъ было пролито, если и теперь изрѣдка врывающаяся въ „плетеный сарайчикъ“ жизнь находила въ этой муміи довольно слезъ: „откуда бралось“... Помните, какъ Лукерья поетъ „вѣчную память“ свѣтлому призраку счастья, ослѣпительно ярко блеснувшему и вмигъ умчавшемуся. „Лукерья собралась съ духомъ... Мысль, что это полумертвое существо готовится запѣть, возбудила во мнѣ невольный ужасъ. Но прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, въ ухахъ моихъ задрожалъ протяжный, едва слышный, но чи-



стый и вѣрный звукъ... За нимъ послѣдовалъ другой, третій. „Во лузяхъ“ пѣла Лукерья. Она пѣла, не измѣнивъ выраженія своего окаменѣлаго лица, уставивъ даже глаза. Но такъ трогательно звенѣлъ этотъ бѣдный, усиленный, какъ струйка дыма, колебавшійся голосокъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить... Уже не ужась чувствовала я: жалость несказанная стиснула мнѣ сердце.

— Охъ, не могу!—промолвила она вдругъ:—силушки не хватаетъ... Очень ужъ я вамъ обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положилъ руку на ея крошечные, холодные пальчики... Она взглянула на меня—и ея темныя вѣки, опущенныя золотыми рѣсницами, какъ у древнихъ статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье они заблестали въ полутьмѣ... слеза ихъ смочила.

Я не шевелился попрежнему.

— Экая я!—проговорила вдругъ Лукерья съ неожиданной силой и, раскрывъ широко глаза, постаралась смигнуть съ нихъ слезу.—Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось... съ самаго того дня, какъ Поляковъ Вася у меня былъ, прошлой весной. Пока онъ со мной сидѣлъ да разговаривалъ—ну, ничего; а какъ ушелъ онъ—поплакала я-таки въ одиночку! Откуда бралось!.. Да вѣдь у нашей еестры слезы не купленыя. Баринъ,—прибавила Лукерья:—чай, у васъ платочекъ есть... Не побрезгуйте, утрите мнѣ глаза“.

Теперь начало разсказа, гдѣ Тургеневъ говоритъ о дождѣ, что онъ не переставалъ „съ самой утренней зари“, получаетъ особенный смыслъ; чтобы выяснить его, я позволю себѣ небольшое отступление. Однажды, въ осенній дождливый вечеръ, возвратясь домой на извозчичьихъ дрожкахъ, Э. И. Тютчевъ сказалъ встрѣтившей его дочери: „j'ai fait quelques rimes“, и, пока его раздѣвали, продиктовалъ ей чудный гимнъ слезамъ:

Слезы людскія, о, слезы людскія!  
Льетесь вы ранней и поздней порой,  
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,  
Неисчислимыя, неисчислимыя,  
Льетесь, какъ льются струи дождевыя  
Въ осень глухую ночью порой.

„Здѣсь,—говоритъ И. С. Аксаковъ,—почти наглядень для насъ тотъ истинно поэтический процессъ, которымъ внѣшнее ощущение капель частаго осенняго дождя, лившаго на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется въ ощущение слезъ и облекается

въ звуки, которые сколько словами, столько же музыкальностью своею воспроизводятъ въ насъ и впечатлѣніе дождливой осени, и образъ плачущаго людского горя“...

Для Лукерьи „съ самой утренней зари“ начался этотъ дождь, и не переставалъ. Тяжелы были латы, но имъ не сдavitъ сразу могучихъ порывовъ молодой души. Недалеко уже было до Петровкъ, а Лукерья все еще не забыла того времени,

Когда раскрывалась грудь надеждъ  
И мечтамъ о счастіи земномъ,

когда она веселая была, „бой-дѣвка“; еще помнить и поеть „старья пѣсни, хороводныя, подблюдныя, святочныя“; еще всплываетъ въ ея памяти среди другихъ воспоминаній эта роскошная, „до самыхъ колѣнъ“ коса. „Помните, баринъ,—сказала она, и чудное что-то мелькнуло въ ея глазахъ и на губахъ:—какая у меня была коса! Помните,—до самыхъ колѣнъ! Я долго не рѣшалась... Этакіе волосы!.. Но гдѣ же ихъ было расчесывать? Въ моемъ-то положеніи!.. Такъ я ужъ ихъ обрѣзала... Да...“ Предъ вами одна изъ величайшихъ трагедій, въ ней „горя рѣченка бездонная“:

Случайная жертва судьбы!  
Ты глухо, незримо страдала,  
Ты свѣту кровавой борьбы  
И жалобъ своихъ не ввѣряла...

„Отъ нея никакого не видать безпокойства,—докладывалъ охотнику хуторской десятникъ:—ни ропота отъ нея не слышать, ни жалобъ. Сама ничего не требуетъ, а напротивъ, за все благодарна, тихоня, какъ есть тихоня...“ „Привыкла, обтерпѣлась—ничего; инымъ еще хуже бываетъ“, такъ просто говоритъ Лукерья объ ужасномъ пути страданій, слезъ, душевной истомы,—пути, которымъ она пришла къ „полеживанію безъ всякой думочки“, кромѣ одной: „послалъ Онъ мнѣ крестъ—значитъ меня Онъ любить“. Присмотримся однако ближе къ душевной жизни этой страдальцы, чтобы понять и оцѣнить, что „сквозить и тайно свѣтитъ въ наготѣ ея смиренной“.

„... Кто другому помочь можетъ? Кто ему въ душу войдетъ? Самъ себѣ человѣкъ помогай!..“ Такъ, сильные характеры не ищутъ сочувствія своему горю на сторонѣ, и чѣмъ тяжелѣе ударъ, чѣмъ глубже рана, тѣмъ дальше уходятъ они въ себя, тѣмъ недоступнѣе душевныя муки для постороннихъ глазъ. Вспомните Бирюка. Такіе люди или сломятъ душевный недугъ,

уйдутъ отъ „горя горинскаго“, или сами сломятся, но не погнутся; къ нимъ принадлежить и Лукерья.

„Словно у меня что внутри оборвалось... Стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла. Все хуже да хуже...“ Возврата нѣтъ туда, гдѣ молодость, любовь и счастье; Лукерья поняла это: только слабыя души даютъ мечтамъ обольщать себя, „не думать, а пуще того не вспоминать“, рѣшила Лукерья, и ей удалось устоять въ своемъ рѣшеніи. Правда, думы и воспоминанія о свѣтлой, прекрасной зарѣ любви и счастья, такъ ярко загорѣвшейся и такъ неожиданно погасшей, жили въ ней до самой смерти, но жили на такой неизмѣримой глубинѣ, что только чрезвычайныя обстоятельства, какъ приходъ Васи или посѣщеніе барина, который зналъ прежнюю Лукерью, „первую красавицу во всей дворнѣ,—высокую, полную, бѣлую, румяную,—хохотунью, плясунью, пѣвунью“ и самъ „втайнѣ вздыхалъ“ по ней,—только они могли вызвать на поверхность душевной жизни Лукерьи ея тяжкія думы, ея томныя, горькія чувства; тогда „хотѣлось ей всю душу вылить“, и она давала волю слезамъ. Тяжело доставались несчастной эти рѣдкія душевныя бури; но это были мгновенья, да и ихъ мы знаемъ только два. Чѣмъ же Лукерья жила?

„Вы, вотъ, не повѣрите, а лежу я иногда такъ то одна... и словно никого въ цѣломъ свѣтѣ кромѣ меня нѣту. Только одна я—живая“. Этой жизнью внѣ окружающей обстановки, жизнью гдѣ-то внутри себя и живетъ Лукерья. Миръ человѣческихъ отношеній, обычныхъ тревогъ и радостей для нея не существуетъ; быть одной ей „не страшно, даже лучше“. „Думается мнѣ,—говоритъ Лукерья:—будь около меня люди, ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья“. Зато тѣмъ ближе стала для нея природа и тѣмъ свободнѣе она себя чувствовала среди созданій своей глубокой, доходящей до какого-то ясновидѣнія, вѣры. — И такъ ты все лежишь, да лежишь? — спрашиваетъ охотникъ.—И не скучно, не жутко тебѣ, моя бѣдная Лукерья?

— А что будешь дѣлать? Лгать не хочу—сперва очень томно было; а потомъ привыкла, обтерпѣлась—ничего; инымъ еще хуже бываетъ.

— Это какимъ же образомъ?

— А у иного и пристанища нѣтъ! А иной—слѣпой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крогъ подъ землю роется—я и то слышу. И запахъ я всякій чувство-



вать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха въ полѣ зацвѣтеть или липа въ саду—мнѣ и сказывать не надо: я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить?—многимъ хуже моего бываетъ. Хоть бы то взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ; а отъ меня самъ грѣхъ отошелъ. Намеднись отецъ Алексѣй, священникъ, сталъ меня причащать, да и говоритъ: тебя, моль, исповѣдывать нечего: развѣ ты въ своемъ состояніи согрѣшить можешь? Но я ему отвѣтила: а мысленный грѣхъ, батюшка?—Ну, говоритъ, а самъ смѣется это грѣхъ не великій.

— Да я, должно быть, и этимъ самымъ мысленнымъ грѣхомъ не больно грѣшна,—продолжала Лукерья:—потому я такъ себя приучила: не думать, а пуще того—не вспоминать. Время скорѣй проходить.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; какъ же ты можешь помѣшать, чтобы мысли тебѣ въ голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нѣтъ, баринъ! Спать-то я не всегда могу. Хоть и большихъ болей у меня нѣтъ, а ноетъ у меня тамъ, въ самомъ нутрѣ, и въ костяхъ тоже; не даетъ спать какъ слѣдуетъ. Нѣтъ... а такъ, лежу я себѣ, лежу-полеживаю—и не думаю; чую, что жива, дышу—и вся я тутъ. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжать да гудятъ; голубь на крышу сядетъ и заворкуетъ; курочка-насъдочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать; а то воробей залетитъ или бабочка—мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ, въ углу, гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занятно! Одна влетитъ къ гнѣздышку—припадетъ, дѣтокъ накормитъ—и вонъ. Глядишь—ужъ на смѣну ей другая. Иногда не влетитъ—только мимо раскрытой двери пронесется, а дѣтки тотчасъ ну пищать да клювы развѣвать... Я ихъ на слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какіе вы, господа, охотники, злые!

— Я ласточекъ не стрѣляю,—поспѣшилъ я замѣтить.

— А то разъ,—начала опять Лукерья:—вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право! Собаки, что-ли, за нимъ гнались,—только онъ прямо въ дверь какъ прикатитъ!.. Сѣлъ близехонько—и долго-таки сидѣлъ,—все носомъ водилъ и усами дергалъ,—настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значитъ,

что я ему не страшна. Наконецъ, всталъ, прыгъ-прыгъ къ двери, на порогъ оглянулся—да и былъ таковъ! Смѣшной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, молъ, не забавно? Я, въ угоду ей, посмѣялся. Она покусала пересохшія губы.

— Ну, зимою, конечно, мнѣ хуже: потому темно; свѣчку зажечь жалко, да и къ чему? Я хоть грамотѣ знаю и читать всегда охота была, но что читать? Книгъ здѣсь нѣтъ никакихъ, да хоть бы и были, какъ я буду держать ее, книгу-то? Отецъ Алексѣй мнѣ, для разсѣянности, принесъ календарь, да видитъ, что пользы нѣтъ, взялъ да унесъ опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчокъ затрещитъ али мышъ гдѣ скрестись станеть.—Вотъ тутъ-то хорошо! не думать!

— А то я молитвы читаю,—продолжала, отдохнувъ немного, Лукерья.—Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я Его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, чего мнѣ надобно. Послалъ онъ мнѣ крестъ—значитъ, меня Онъ любить. Такъ намъ вѣрно это понимать. Прочту Отче нашъ, Богородицу, акафистъ Всѣмъ Скорбящимъ,—да и опять полеживаю себѣ безъ всякой думочки. И ничего!

Слушая этотъ разсказъ Лукерьи о томъ, какъ она лежитъ-полеживаеть и не думаетъ, вся отдавшись впечатлѣніямъ живущей и растущей природы, вспоминаешь слова поэта о поэтѣ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,  
И чувствовалъ травъ прозябанье.

Въ глубокую и чуткую душу простой крестьянки легко и свободно входятъ безконечно разнообразныя отклики жизни и, привольно укладываясь въ глубинѣ скорбнаго, но могучаго въ самой скорби духа, они слагаются въ великій гимнъ матери природѣ. Вдумавшись въ эту исповѣдь, вамъ станеть ясно, что Лукерья ушла отъ людей, но не перестала быть человѣкомъ,—больше того, она выросла духовно, потому что стала выше того, чему обычно люди покорствуютъ, въ ней нѣтъ эгоизма. Забыть свое горе и радоваться радостью другого, превратиться въ „живыя мощи“ и восторженно внимать всякому проявленію жизни и здороваго роста—развѣ это не подвигъ? Развѣ это не побѣда „Богомъ убитой“?

Но еще шире, еще напряженнѣе, еще своеобразнѣе религиозная жизнь Лукерьи, и эти три дивныя разсказа ея о своихъ

снахъ - видѣніяхъ, неподражаемо-художественно переданные писателемъ, говорятъ о результатахъ гигантской работы духа, совершенной въ безвѣстной тиши одинокаго страданія.

„— Вотъ, вы, баринъ, спрашивали меня,—заговорила опять Лукерья: — сплю ли я? Сплю я, точно, рѣдко, но всякій разъ сны вижу,—хорошіе сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во снѣ здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я—потянуться хочу хорошенько—анъ я вся какъ скованная. Разъ мнѣ какой чудный сонъ приснился! Хотите, расскажу вамъ? Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я въ полѣ, а кругомъ рожь, такая высокая, спѣлая, какъ золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая—все укусить меня хочетъ. И будто въ рукахъ у меня серпъ, и не простой серпъ, а самый какъ есть мѣсяцъ, вотъ, когда онъ на серпъ похожъ бываетъ. И этимъ самымъ мѣсяцемъ должна я эту самую рожь сжать до-чиста. Только очень меня отъ жары растомило, и мѣсяцъ меня слѣпить, и лѣнь на меня нашла; а кругомъ васильки растутъ, да такіе крупные! И всѣ ко мнѣ головками повернулись. И думаю я: нарву я этихъ васильковъ; Вася придти обѣщался—такъ вотъ, я себѣ вѣнокъ сперва совью; жать-то я еще успѣю. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промежъ пальцевъ таютъ да таютъ, хоть ты что! И не могу я себѣ вѣнокъ свить. А между тѣмъ я слышу—кто-то ужъ идетъ ко мнѣ, близко таково, и зоветъ: Луша! Луша!.. Ай, думаю, бѣда—не успѣла! Все равно, надѣну я себѣ на голову этотъ мѣсяцъ замѣсто васильковъ. Надѣваю я мѣсяцъ ровно какъ кокошникъ, и такъ сама сейчасъ засіяла, все поле кругомъ освѣтила. Глядь—по самымъ верхушкамъ колосьевъ катитъ ко мнѣ скорехонько—только не Вася, а самъ Христось! И почему я узнала, что это Христось—сказать не могу,—такимъ Его не пишутъ, а только Онъ! Безбородый, высокій, молодой, весь въ бѣломъ,—только поясъ золотой,—и ручку мнѣ протягиваетъ. „Не бойся,—говорить,—невѣста Моя разубранная, ступай за Мной; ты у Меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія“. И я къ Его ручкѣ какъ прильну!—Собачка моя сейчасъ меня за ноги... но тутъ мы взвились! Онъ впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинныя, какъ у чайки,—и я за нимъ. И собачка должна отстать отъ меня. Тутъ только я поняла, что это собачка—болѣзнь моя и что въ царствѣ небесномъ ей уже мѣста не будетъ.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видѣла я сонъ,—начала она снова:—а быть можетъ, это было мнѣ видѣніе—я ужъ не знаю. Почудилось мнѣ, будто я въ самой этой плетушкѣ лежу и приходятъ ко мнѣ мои покойные родители—батюшка да матушка—и кланяются мнѣ низко, а сами ничего не говорятъ. И спрашиваю я ихъ: зачѣмъ вы, батюшка и матушка, мнѣ кланяетесь? А затѣмъ, говорятъ, что такъ, какъ ты на семъ свѣтѣ много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и съ насъ большую тягу сняла. И намъ на томъ свѣтѣ стало много способнѣе. Со своими грѣхами ты уже покончила; теперь наши грѣхи побѣждаешь. И сказавши это, родители мнѣ опять поклонились—и не стало ихъ видно: однѣ стѣны видны. Очень я потомъ сомнѣвалась, что это такое со мной было. Даже батюшкѣ на духу рассказала. Только онъ такъ полагаетъ, что это было не видѣніе, потому что видѣнія бываютъ одному духовному чину“.

Дайте себѣ трудъ остановиться мыслью на этихъ дерзновенныхъ утвержденіяхъ. Ихъ совершенно свободно высказываетъ Лукерья, само воплощенное смиреніе,—та самая Лукерья, которая о своихъ страданіяхъ тѣлесныхъ и мукахъ душевныхъ только и находится сказать: „Эхъ, баринъ! Что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было, точно, великое: тридцать лѣтъ на столбу простоялъ! А другой угодникъ себя въ землю зарыть велѣлъ по самую грудь, и муравьи ему лицо ѣли... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетчикъ: была нѣкая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всѣхъ жителей они мучили и убивали; и что ни дѣлали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявился тутъ, между тѣми жителями, святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. А только, прогнавши ихъ, говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обѣщаніе, чтобы мнѣ смертью огненною за свой народъ помереть. И агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился! Вотъ это подвигъ! А я что!“

Лукерья рассказа охотнику и еще одинъ сонъ. „Вижу я, что сижу я этакъ на большой дорогѣ подъ ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платкомъ окутана—какъ есть странница! И идти мнѣ куда-то далеко-далеко, на богомолье. И проходятъ мимо меня все странники; идутъ они тихо, словно нехотя, все въ одну сторону; лица у всѣхъ унылыя, и другъ на дружку всѣ очень похожи. И вижу я: вьется, мечется

между ними одна женщина, цѣлой головой выше другихъ, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто всѣ другіе отъ нея сторонятся, а она вдругъ вертъ—да прямо ко мнѣ. Остановилась и смотритъ; а глаза у ней, какъ у сокола, желтые, большіе и свѣтлые-пресвѣтлые. И спрашиваю я ее: кто ты? А она мнѣ говоритъ; „Я смерть твоя“. Мнѣ что бы испугаться, а я напротивъ—рада-радехонька, крещусь! И говоритъ мнѣ та женщина, смерть моя: „Жаль мнѣ тебя, Лукерья, но взять я тебя съ собою не могу. Прощай!“ Господи! какъ мнѣ тутъ грустно стало!.. „Возьми меня“, говорю, „матушка, голубушка, возьми!“ И смерть моя обернулась ко мнѣ, стала мнѣ выговаривать... Понимаю я, что назначаетъ она мнѣ мой часъ, да невнятно такъ, неявственно... Послѣ, молъ, Петровокъ... Съ этимъ я проснулась. Такіе-то у меня бываютъ сны удивительные“.

Подумайте только, что такъ говоритъ Лукерья, „бой-дѣвка“, сама жизнь когда-то, и вы поймете величіе подвига, который сдѣлалъ для нея смерть желанной „матушкой-голубушкой“,—въ 28 или 29 лѣтъ, не забудьте. Страхъ смерти, противъ которой, по выраженію Касьяна, „ни человѣку, ни твари не sluкавить“, не имѣетъ власти надъ этой „муміей“: „мнѣ чтобы испугаться, а я напротивъ—рада-радехонька, крещусь“. И это не равнодушіе умирающаго, у котораго холодѣютъ члены и тупѣетъ чувство жизни,—нѣтъ, въ ея „хорошихъ, удивительныхъ снахъ“ замирающая земная жизнь блекнетъ и засыхаетъ, чтобы смѣниться „царствомъ небеснымъ“, гдѣ „болѣзни уже мѣста не будутъ“, гдѣ съ самимъ Христомъ она, „невѣста разубранная“, „хоро-воды водить будетъ и пѣсни играть райскія“.

Уже звучать въ ея „звона и шума“ полныхъ ушахъ „райскіе напѣвы“, уже несутся они изъ прекраснаго далека, еще невѣдомые и неуловимые, но дивные и плѣнительные, и рѣютъ въ этомъ „вольномъ воздухѣ, подъ яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисеръ изъ голо-совъ“...

„Смерть пришла-таки за ней... и „послѣ Петровокъ“... Въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ“... и „говорила, что звонъ шелъ... „сверху“. Вѣроятно, она не посмѣла сказать: съ неба“...

„Скучныя пѣсни земли“, такъ долго „томившія“ эту „желаніемъ чуднымъ полною“ душу, замѣнились, наконецъ, „звуками



небесъ“. И слагались они, эти „звуки небесъ“, въ дивную симфонію радости и счастья, и билось ими въ послѣдній разъ чистое сердце „страдалицы забытой“. Великимъ подвигомъ безмѣрнаго страданія, „святыми муками“ освятилась ея „душа высокая“ и, вся озарившись, свѣтомъ любви,—той любви, которая „сильнѣе смерти и страха смерти“,—легко и свободно поднялась она надъ „міромъ печали и слезъ“...

... Какъ сладко, умирая,  
Вдохнула ты. Какъ тихо умерла!..

---

## V.

### Всходы.

Равнодушно слушая проклятья  
Въ битвѣ съ жизнью гибнущихъ лю-  
дей,  
Изъ-за нихъ вы слышите ли, братья,  
Тихій плачь и жалобы дѣтей?

*Н. А. Некрасовъ.*

Тургеневъ не былъ „равнодушнымъ“. Въ его „золотое сердце“ съ силой втѣснялись людская боль, человѣческія страданія. Услышалъ онъ и „тихій плачь и жалобы дѣтей“ рабовъ.

Среди „милліоновъ живыхъ мертвецовъ“ проникновенный взглядъ писателя съ особенной любовью останавливался на тѣхъ, кто всего болѣе нуждался въ ласкѣ и участіи,—на крестьянскихъ дѣтяхъ. Тургеневъ на себѣ самомъ испыталъ всю горечь нераздѣленной дѣтской любви, всю тяжесть одинокаго безсилія нѣжнаго дѣтскаго сердца передъ злобой и суровымъ безсердечіемъ людей. Самъ не имѣвшій семьи, Иванъ Сергѣевичъ любилъ дѣтей, какъ не любятъ, быть можетъ, иные отцы. За годъ до смерти, уже больной, онъ писалъ маленькой дѣвочкѣ, дочери своего друга: „Какъ бы я былъ радъ ходить съ тобой, какъ въ прошломъ году, по рощѣ и отыскивать прелестные подберезники! Съ большимъ удовольствіемъ рассказалъ бы тебѣ сказку и послалъ бы тебѣ одну главу; но голова моя — настоящій пустой боченокъ, изъ котораго вылито все вино, и стоитъ онъ кверху дномъ, такъ что и новое вино въ него набратъся не можетъ... Если же поправлюсь, то напишу тебѣ сказку „о пустомъ боченкѣ“... Сердце этого „ребенка“, какъ назвалъ Ивана Сергѣевича одинъ изъ заграничныхъ его друзей („онъ былъ любезенъ съ людьми, какъ ребенокъ“), никогда не оставалось пустымъ: слишкомъ чутко и отзывчиво оно было и не знало тѣхъ условныхъ граней, которыя въ челоуѣкѣ заурядномъ низводятъ безпредѣльно-вели-

кую силу любви до степени болѣе или менѣе узкихъ и часто несвободныхъ отъ эгоизма сочувствій. Ему дороги были и крестьянскія дѣти, его сердцу была понятна суровая доля тѣхъ, кому „сгнбнуть ничто не мѣшало, кому были „знакомы рано труды“...

Образы дѣтей въ „Запискахъ Охотника“ немногочисленны; но они такъ выразительны, эти дѣтскія личики, такъ много говорили и говорятъ сердцу читателя.

Умираетъ крестьянинъ, обгорѣвшій въ оwinѣ; охотникъ заходитъ къ нему. „Темно въ избѣ, душно, дымно,—разсказываетъ онъ. — Спрашиваю, гдѣ больной?“ — „А вонъ, батюшка, на лежанкѣ“, отвѣчаетъ мнѣ нараспѣвъ пригорюнившаяся баба. Подхожу—лежитъ мужикъ, тулупомъ покрылся, дышитъ тяжко. „Что, какъ ты себя чувствуешь?“ Завозился больной на печи, подняться хочетъ, а весь въ ранахъ, при смерти. „Лежи, лежи, лежи... Ну, что? какъ?“ — „Вѣстимо плохо“, говоритъ. „Больно тебѣ?“ Молчитъ. „Не нужно ли чего?“ Молчитъ. „Не прислать ли тебѣ чаю, что ли?“—„Не надо“. Я отошелъ отъ него, присѣлъ на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса,—гробовое молчаніе въ избѣ. Въ углу, за столомъ подъ образами, прячется дѣвочка лѣтъ пяти, хлѣбъ ѣстъ. Мать изрѣдка грозитъ на нее“... <sup>1)</sup> Въ такой, или подобной, безпросвѣтно-мрачной обстановкѣ, въ безысходной нуждѣ начинала свою жизнь не одна крестьянская дѣвочка. Время шло, дѣвочка росла, и „суровая доля крестьянки“, точно непосильная ноша, давила ее, и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе и ниже пригибала ее эта тяжесть непрерывнаго труда, ужаснаго рабства.

Случилось охотнику быть у помѣщика Мардарія Аполлоновича Стегунова. „Пойдемте-ка на балконъ,—приглашаетъ помѣщикъ гостя,—вишь вечеръ какой славный“.—Мы вышли на балконъ, сѣли и начали разговаривать. Мардарій Аполлонычъ взглянулъ внизъ и вдругъ пришелъ въ ужасное волненіе.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричалъ онъ: — чьи это куры по саду ходятъ?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчасъ, чьи это куры по саду ходятъ?.. чьи это куры? Сколько разъ я запрашалъ, сколько разъ говорилъ!

Юшка побѣжалъ.

— Что за безпорядки! — твердилъ Мардарій Аполлонычъ: — это ужась!

---

<sup>1)</sup> Разсказъ „Смерть“

Несчастливыя куры, какъ теперь помню, двѣ крапчатая и одна бѣлая съ хохломъ, преспокойно продолжали ходить подъ яблонями, изрѣдка выражая свои чувства продолжительнымъ крехтаньемъ, какъ вдругъ Юшка, безъ шапки, съ палкой въ рукѣ, и трое другихъ совершеннолѣтнихъ дворовыхъ, всѣ вмѣстѣ дружно ринулись на нихъ. Пошла потѣха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бѣгали, спотыкались, падали; баринъ съ балкона кричалъ, какъ изстуженный: „лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры? чьи это куры?“ Наконецъ, одному дворовому человѣку удалось поймать хохлатую курицу, придавивъ её грудью къ землѣ, и въ то же время черезъ плетень сада, съ улицы, перескочила дѣвочка лѣтъ одиннадцати, вся растрепанная и съ хворостиной въ рукѣ.

— А вотъ, чьи куры! — съ торжествомъ воскликнулъ помѣщикъ: — Ермила кучера куры! вонъ онъ свою Наталку загнать ихъ выслалъ... Небось, Параши не выслалъ, — присовокупилъ помѣщикъ вполголоса и значительно ухмыльнулся.—Эй, Юшка! брось куриць-то: поймай-ка мнѣ Наталку.

Но прежде чѣмъ запыхавшійся Юшка успѣлъ добѣжать до перепуганной дѣвочки, — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и нѣсколько разъ шлепнула ее по спинѣ.

— Вотъ тѣкъ, э вотъ тѣкъ, — подхватилъ помѣщикъ: — те-те-те! те-те-те!.. А курь-то отбери, Авдотья, — прибавилъ онъ громкимъ голосомъ и съ свѣтлымъ лицомъ обратился ко мнѣ: — какова, батюшка, травля была, ась? Вспотѣлъ даже, посмотрите.

И Мардарій Аполлонычъ расхохотался<sup>1)</sup>.

Разъ, возвращаясь вечеромъ съ охоты, охотникъ былъ застигнутъ въ лѣсу страшною грозой, разразившейся ливнемъ. Случайно повстрѣчавшійся ему лѣсникъ, Бирюкъ, предложилъ „барину“ провести его въ свою избу. „Мы ѣхали довольно долго, — рассказываетъ Тургеневъ, наконецъ, мой проводникъ остановился. „Вотъ, мы и дома, баринъ“, промолвилъ онъ спокойнымъ голосомъ. Калитка заскрипѣла, нѣсколько щенковъ дружно залаяли. Я поднялъ голову и при свѣтѣ молніи увидалъ небольшую избушку посреди обширнаго двора, обнесеннаго плетнемъ. Изъ одного окошечка тускло свѣтилъ огонекъ. Лѣсникъ довелъ лошадь до крыльца и застучалъ въ дверь. „Сичасъ, сичасъ!“ раздался тоненькій голосокъ, послышался топотъ босыхъ

<sup>1)</sup> Рассказъ „Два помѣщика“.

ногъ, засовъ заскрипѣлъ, и дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ рубашонкѣ, подпоясанная покромкой, съ фонаремъ въ рукѣ, показала на порогѣ.

— Посвѣти барину,—сказалъ онъ ей,—а я ваши дрожки подъ навѣсъ поставлю.

Дѣвочка взглянула на меня и пошла въ избу. Я отправился вслѣдъ за ней.

Изба лѣсника состояла изъ одной комнаты, закоптѣлой, низкой и пустой, безъ палатей и перегородокъ. Изорванный тулупъ висѣлъ на стѣнѣ. На лавкѣ лежало одноствольное ружье, въ углу валялась груда тряпокъ; два большихъ горшка стояли возлѣ печки. Лучина горѣла на столѣ, печально вспыхивая и погасая. На самой серединѣ избы висѣла люлька, привязанная къ концу длиннаго шеста. Дѣвочка погасила фонарь, присѣла на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лѣвой поправлять лучину. Я посмотрѣлъ кругомъ,—сердце во мнѣ заныло: невесело войти ночью въ мужицкую избу. Ребенокъ въ люлкѣ дышалъ тяжело и скоро.

— Ты развѣ одна здѣсь?—спросилъ я дѣвочку.

— Одна,—произнесла она едва внятно.

— Ты лѣсникова дочь?

— Лѣсникова,—прошептала она.

... Ребенокъ проснулся и закричалъ; дѣвочка подошла къ люлкѣ.—На, дай ему,—проговорилъ Бирюкъ, сунувъ ей въ руку запачканный рожокъ.

... Онъ вышелъ и хлопнулъ дверью. Я въ другой разъ осмотрѣлся. Изба показалась мнѣ еще печальнѣе прежняго. Горькій запахъ остывшаго дыма неприятно стѣснялъ мое дыханіе. Дѣвочка не трогалась съ мѣста и не поднимала глазъ, изрѣдка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ея голыя ноги висѣли, не шевелясь.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ я.

— Улитой,—проговорила она, еще болѣе понутивъ свое печальное личико“.

И невольно, при видѣ этихъ скорбныхъ, „съ молчаливымъ испугомъ“, дѣтскихъ личекъ, вспоминается грустно-величественный гимнъ русской крестьянкѣ другого „печальника горя народа“, Н. А. Некрасова:

---

1) Разсказъ „Бирюкъ“.

Три тяжкія доли имѣла судьба;  
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться;  
Вторая—быть матерью сына раба,  
А третья—до гроба рабу покоряться,  
    И всѣ эти грозныя доли легли  
    На женщину русской земли.  
Вѣка протекали—все къ счастью стремилось,  
Все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось,  
Одну только Богъ измѣнить забывалъ  
    Суровую долю крестьянки.  
И всѣ мы согласны, что типъ измельчалъ  
    Красивой и мощной славянки.  
    Случайная жертва судьбы!  
    Ты глухо, незримо страдала,  
    Ты свѣту кровавой борьбы  
    И жалобъ своихъ не ввѣряла,—  
Но мнѣ ты ихъ скажешь, мой другъ!  
Ты съ дѣтства со мною знакома.  
    Ты вся—воплощенный испугъ,  
    Ты вся—вѣковая истома!  
Тотъ сердца въ груди не носилъ,  
Кто слезъ надъ тобою не лилъ.  
... Мало словъ, а горя—рѣченька,  
Горя—рѣченька бездонная...

Такъ, „въ золотую пору малолѣтства“, когда „все живое счастливо живетъ, не трудясь, съ ликующаго дѣтства дань забавъ и радости беретъ“, крестьянскія дѣти уже „дружились съ суровой долей, не знали игръ веселыхъ, не знали дней веселыхъ“; ихъ дѣтство — „глушь безпросвѣтная, даль безотрадная: все то зачахло да сгибло безъ времени“... Какъ же не пожалѣть о нихъ тѣмъ, кому „красное дѣтство дано играть и расти на волѣ!“ Нашъ великій писатель, который на смертномъ одрѣ завѣщалъ „жить и любить людей“, видѣлъ эти „дѣтскія слезы, безвинныя слезы“ и всею силою своей нѣжной и мощной души полюбилъ „печальныя личики“ несчастныхъ дѣтей рабовъ. И такова сила этой вдохновенной любви, такъ она—эта любовь—свѣтла и прекрасна, что, освѣщенные и согрѣтые ею, образы дѣтей невольно втѣсняются въ нашу душу, и становится въ ней свѣтлѣй и привѣтнѣй, и просится она къ тѣмъ, кто не зналъ и не знаетъ ласки и привѣта, у кого не было и нѣтъ „дѣтства веселаго“, и рвется любить ихъ любовью брата, чтобы „чужіе стоны, чужая скорбь“ были „близки, какъ свои“...

И какъ не любить ихъ, этихъ неповинныхъ въ своей суровой долѣ дѣтей! Послушайте, что рассказываетъ Тургеневу Лу-

керья о крестьянской дѣвочкѣ-сироткѣ. На его вопросъ: „кто за ней ходитъ?“ Лукерья говоритъ: „А добрые люди здѣсь есть тоже. Меня не оставляютъ. Да и ходьбы за мной немного. Ъсть-то, почитай, что не ѣмъ ничего, а вода — вонъ она, въ кружкѣ-то: всегда стоитъ припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще дѣйствовать можетъ. Ну, дѣвочка тутъ есть, сиротка; нѣтъ, нѣтъ—да и навѣдается, спасибо ей. Сейчасъ тутъ была... Вы ее не встрѣтили? Хорошенькая такая, бѣленькая. Она цвѣты мнѣ носитъ; большая я до нихъ охотница, до цвѣтовъ-то. Садовыхъ у насъ нѣтъ,— были да перевелись... Но вѣдь и полевые цвѣты хороши; пахнутъ еще лучше садовыхъ. Вотъ хоть бы ландышъ... на что пріятнѣе?“<sup>1)</sup> Развѣ не золотое сердце у этой „дѣвочки-сиротки“?..

А вотъ и еще одна дѣвочка, съ которой случилось встрѣтиться писателю. Разъ, въ сопровожденіи крестьянина Касьяна, онъ отправился на „сѣчки“ (срубленное мѣсто въ лѣсу): „тамъ часто водятся тетерева“. „Жара заставила насъ, наконецъ, войти въ рощу,—разсказываетъ Тургеневъ.—Я бросился подъ высокій кустъ орѣшника, надъ которымъ молодой стройный кленъ красиво раскинулъ свои легкія вѣтки. Касьянъ присѣлъ на толстый конецъ срубленной березы“. Они разговорились. Вдругъ Касьянъ „вздрогнулъ и умолкъ, пристально всматриваясь въ чашу лѣса. Я обернулся и увидѣлъ маленькую крестьянскую дѣвочку лѣтъ восьми, въ синемъ сарафанчикѣ, съ клѣтчатымъ платкомъ на головѣ и плетенымъ кузовкомъ на загорѣлой, голенькой рукѣ. Она, вѣроятно, никакъ не ожидала насъ встрѣтить; какъ говорится, наткнулась на насъ и стояла неподвижно въ зеленой чашѣ орѣшника, на тѣнистой лужайкѣ, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успѣлъ разглядѣть ее: она тотчасъ нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подъ сюда, не бойся,—кликнулъ старикъ ласково.

— Боюсь,—раздался тонкій голосокъ.

— Не бойся, поди ко мнѣ.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругомъ,—ея дѣтскія ножки едва шумѣли по густой травѣ,—и вышла изъ чащи подлѣ самаго старика. Это была дѣвочка не восьми лѣтъ, какъ мнѣ показалось сначала, по небольшому ея росту, но тринадцати или четырнадцати. Все ея тѣло было мало и худо,

<sup>1)</sup> Разсказъ „Живыя моши“.

но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно съ лицомъ самого Касьяна... Тѣ же острия черты, тотъ же странный взглядъ, лукавый и доверчивый, задумчивый и пронизательный, и движенья тѣ же... Касьянъ окинулъ ее глазами; она стояла къ нему бокомъ.

— Что, грибы собирала?—спросилъ онъ.

— Да, грибы,—отвѣчала она съ робкой улыбкой.

— Много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И бѣлые есть?

— Есть и бѣлые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузовъ съ руки и приподняла до половины широкій листь лопуха, которымъ грибы были покрыты.)—Э!—сказалъ Касьянъ, нагнувшись надъ кузовомъ,—да какіе славные! Ай да Аннушка!

— Ну, Аннушка ступай, ступай съ Богомъ. Да смотри...

— Да зачѣмъ же ей пѣшкомъ идти?—прервалъ я его.—Мы бы ее довели.

Аннушка загорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, ухватилась обѣими руками за веревочку кузова и тревожно поглядѣла на старика.

— Нѣтъ, дойдемъ,—возразилъ онъ тѣмъ же равнодушно-лѣнивымъ голосомъ.—Что ей?.. Дойдетъ и такъ... Ступай.

Аннушка проворно ушла въ лѣсъ. Касьянъ поглядѣлъ за нею вслѣдъ, потомъ потупился и усмѣхнулся. Въ этой долгой усмѣшкѣ, въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ, въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность<sup>1)</sup>.

И вѣрится, подъ обаяніемъ этихъ милыхъ дѣтскихъ личекъ, „поднимающихъ къ любви, къ беззавѣтной любви, очи, полныя скорбной мольбой“,—вѣрится, что „вернется на землю любовь

Не въ терновомъ вѣнцѣ, не подъ гнетомъ цѣпей,

Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ,—

Въ міръ прійдетъ она въ силѣ и славѣ своей,

Съ яркимъ свѣточемъ счастья въ рукахъ.

И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,

Ни безкрестныхъ могилъ, ни рабовъ,

Ни нужды, безпросвѣтной, мертвящей нужды...

Познакоимся теперъ съ крестьянскими мальчиками въ „Запискахъ Охотника“.

1) Разсказъ „Касьянъ съ Красивой Мечи“.



Разъ поздно вечеромъ, возвращаясь съ охоты, Тургеневъ сбился съ пути и, послѣ долгихъ блужданій по неизвѣстнымъ мѣстамъ „почти совсѣмъ потонувшимъ во мглѣ“, вышелъ на лугъ, извѣстный подъ названіемъ „Бѣжина луга“ <sup>1)</sup>. „Вернуться домой не было никакой возможности, ноги подкашивались отъ усталости“, и охотникъ рѣшилъ подойти къ показавшимся не-вдалекѣ огонькамъ, около которыхъ копошились какіе-то люди, принятые имъ за гуртовщиковъ. Оказалось, что онъ ошибся. „Это просто были крестьянскіе ребятишки изъ сосѣдней деревни, которые стерегли табунъ. Въ жаркую лѣтнюю пору лошадей выгоняютъ на ночь кормиться въ поле: днемъ мухи и оводы не дали бы имъ покоя. Выгонять передъ вечеромъ и пригонять на утренней зарѣ табунъ—большой праздникъ для крестьянскихъ мальчиковъ. Сидя безъ шапокъ и въ старыхъ полушубкахъ на самыхъ бойкихъ клячонкахъ, мчатся они съ веселымъ гиканьемъ и крикомъ, болтая руками и ногами, высоко подпрыгиваютъ, звонко хохочутъ. Легкая пыль желтымъ столбомъ поднимается и несется по дорогѣ; далеко разносится дружный топотъ, лошади бѣгутъ, наостривъ уши; впереди всѣхъ, задравши хвостъ и безпрестанно мѣняя ногу, скачетъ какой-нибудь рыжій космачъ, съ репейниками въ спутанной гривѣ“.

Охотникъ сказалъ мальчикамъ, что заблудился, и подсѣлъ къ нимъ. Они спросили его, откуда онъ, помолчали, посторонились. „Я прилегъ подъ обглоданный кустикъ, рассказываетъ Тургеневъ, и сталъ глядѣть кругомъ. Картина была чудесная: около огня дрожало и какъ будто замирало, упираясь въ темноту, круглое красноватое отраженіе; пламя, вспыхивая, изрѣдка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкій языкъ свѣта лизнетъ голые сучья лозника и разомъ исчезнетъ;—острия, длинныя тѣни, врываясь на мгновеніе, въ свою очередь добѣгали до самыхъ огоньковъ: мракъ боролся со свѣтомъ... Темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ. Сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ—запахъ русской лѣтней ночи. Кругомъ не слышалось почти никакого шума. Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапной звучностью плеснетъ большая рыба, и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленный набѣжавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали“. Охотникъ

---

<sup>1)</sup> Рассказъ „Бѣжинъ лугъ“.

„притворился спящимъ. Понемногу мальчики опять разговорились“.

Съ колыбели налегла на этотъ дѣтскій міръ „непроглядная тьма суевѣрій“, съ колыбели облегли его гнетъ, нужда и горе; но „выведенные—тоже почти съ колыбели на открытое поле жизни и предоставленные почти совершенно самимъ себѣ“, эти мальчики бодры, находчивы, умны и энергичны. Провозвѣстникъ любви, разума и свободы, Иванъ Сергѣевичъ съ такою любовью слушаетъ эти „звонкіе дѣтскіе голоса“, эту нехитрую бесѣду, и такъ правдиво и сердечно передаетъ ее, что настроеніе писателя невольно сообщается и читателямъ,—особенно тѣмъ, для кого еще не миновала „юности гордой и свѣтлой пора“, у кого „душа очерствѣтъ“ и „сердце остытъ“ не успѣли...

Всѣхъ мальчиковъ было пять: Одея, Ильюша, Павлуша, Костя и Ваня.

Одея—мальчикъ лѣтъ четырнадцати, стройный, „съ красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми бѣлокурыми волосами, свѣтлыми глазами и постоянной полувеселой, шолуразсѣянной улыбкой. Онъ принадлежалъ по всѣмъ примѣтамъ, къ богатой семьѣ и выѣхалъ-то въ поле не по нуждѣ, а такъ, для забавы. На немъ была пестрая ситцевая рубашка съ желтой каемкой; небольшой новый армячокъ, надѣтый въ накидку, чуть держался на его узенькихъ плечикахъ; на голубенькомъ поясѣ висѣлъ гребешокъ. Сапоги его съ низкими голенищами были точно его сапоги—не отцовскіе“. Одея—душа, центръ этого дѣтскаго кружка, очевидно, по своему привилегированному положенію: ему „приходилось быть запѣвалой, самъ же онъ говорилъ мало, какъ бы боясь уронить свое достоинство“; онъ возобновляетъ прерванный разговоръ, руководить имъ и, вообще, всѣмъ этимъ маленькимъ обществомъ. Къ другимъ мальчикамъ Одея относится покровительственно, но признаетъ нравственное и умственное превосходство Павлуши и говоритъ съ нимъ немного заискивающимъ тономъ; пытается иногда подражать безстрашію Павлуши (такъ, напр., насмѣшливо перебиваютъ Ильюшу вопросомъ: „а ты его видалъ, лѣшаго-то, что ли?“), но сбивается съ этого ему несвойственнаго тона, вѣрится въ „нечистъ“ и порой труситъ не менѣе другихъ. Добрый мальчикъ—вспомните его разговоръ съ Ваней; но это стремленіе быть первымъ, этотъ покровительственный тонъ,—кто знаетъ, въ чемъ выразится это расположеніе дѣтской души, основанное на вѣшнемъ, матеріальномъ превосходствѣ его родителей, къ чему

приведеть оно, когда Одея вырастетъ и самъ станетъ богатымъ человѣкомъ?..

Лицо *Илюши* „было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслѣповатое, оно выражало какую-то тупую, болѣзненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови его не расходились,—онъ словно все шурился отъ огня. Его желтые, почти бѣлые волосы торчали острыми косицами изъ - подъ низенькой войлочной шапочки, которую онъ обѣими руками то и дѣло надвигалъ себѣ на уши. На немъ были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокругъ стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку“. Умственно недалекій, нравственно неразвитый, Илюша и своею внѣшностью, и своими рѣчами производитъ впечатлѣніе большого человѣка изъ маленькихъ: онъ лучше всѣхъ мальчиговъ знаетъ деревенскія повѣрья, высказываетъ сужденія по тѣмъ или другимъ вопросамъ съ увѣренностью человѣка, уже постигшаго всю несложную мудрость темнаго и бѣднаго крестьянскаго обихода. Жизнь рано выучила его и развила въ немъ практическую сметку: на немъ были новые лапти и онучи, опрятная свитка; это—человѣкъ себѣ на умѣ и не прочь играть роль. Но, видно, наука жизни не даромъ тогда удавалась: не по-дѣтски сухой, практической характеръ рассказовъ Илюши обличаетъ въ немъ сухого, не способнаго глубоко и искренно чувствовать мальчика; уже дѣтскіе годы вытравили въ его душѣ, или изсушили, ея лучшіе порывы:

Такъ тощій плодъ до времени созрѣлый,  
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,  
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,  
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

У *Павлуши* „волосы были всклокоченные, черные, глаза сѣрые, скулы широкія, лицо блѣдное, рябое, ротъ большой, но правильный, вся голова огромная, какъ говорится съ пивной котель, тѣло приземистое, неуклюжее. Малый былъ неказистый,—что и говорить!—а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила. Одеждой своей онъ щеголять не могъ: вся она состояла изъ простой замашной рубахи да изъ заплатанныхъ портовъ“. Павлуша сильный характеръ и свѣтлый умъ. На видъ ему было не болѣе двѣнадцати лѣтъ, а онъ держится выше своихъ товарищей, „царить“, и это объясняется присущей ему внутренней мощью духа. Онъ—человѣкъ дѣла, энергичный, рѣшительный, увѣрен-

ный въ себѣ. „Я невольно полюбовался Павлушей“,—говорить Тургеневъ. Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновенье (когда вернулся съ развѣдки, произведенной вслѣдствіе поднятой собаками тревоги). Его некрасивое лицо, оживленное быстрой вѣздой, горѣло смѣлой удалью и твердой рѣшимостью, Безъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, нимало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный мальчикъ!“ думалъ я, глядя на него“.—Павлуша критически - насмѣшливо относится къ наивно-фантастическимъ рассказамъ ребятокъ и трезво цѣнить дѣйствительность. И товарищи относятся почтительно къ Павлушѣ, признавая его умственное превосходство и нравственную мощь.

Чувствуешь исключительность этой дѣтской, но не по-дѣтски глубокой и серьезной природы; чувствуетъ и Павелъ свое одиночество, постоянно какъ-то удаляясь отъ своихъ сверстниковъ; и вмѣстѣ какое-то темное, печальное предчувствіе тревожить, и заключительныя строки рассказа о ранней смерти Павлуши предвосхищаются читателемъ, какъ будто ждешь чего-то нехорошаго для этого „славнаго мальчика“. Въ *этомъ* обществѣ, въ *такой* средѣ, гдѣ „бредутъ по житейской дорогѣ въ безразсвѣтной, глубокой ночи, безъ понятія о правѣ, о Богѣ, какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“, гдѣ душно жить, гдѣ „сгинуть ничто не мѣшаетъ“,—здѣсь онъ не жилецъ: слишкомъ мала и узка эта среда для него, онъ переросъ ее... Но выхода къ другой жизни для него нѣтъ, и Павлуша гибнетъ въ тискахъ ужасной крѣпостной неволи съ ея рабствомъ и невѣжествомъ. „Бойкій и смысленный Павлуша не теряется ни при какихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, которыя кажутся ему естественными; но лишь только онъ чего не понимаетъ, онъ предается суевѣрному страху и теряетъ свою энергію. При такомъ (суевѣрно-боязливомъ) отношеніи къ природѣ, счастье человѣка крайне непрочное: оно легко разрушается какимъ-нибудь самымъ ничтожнымъ обстоятельствомъ“. Несмотря на подвижность характера и сильный, ясный умъ, Павлуша все же „не могъ избавиться отъ силы суевѣрія. Убѣжденный, что онъ слышалъ голосъ покойнаго Васи и что, слѣдовательно, ему самому придется умереть въ этомъ году, онъ по своему отважному характеру уже дѣлается безразсуднымъ въ своихъ поступкахъ, наталкиваясь на разныя опасности, съ одной мыслью, что все равно не избѣжишь смерти („своей судьбы не минуешь“), если уже было предвѣщаніе. Очень понятно, что при подобномъ направленіи

онъ долженъ былъ наткнуться на такой случай, который сломилъ ему голову“. И въ самомъ Павлушѣ есть эта грусть, это гнетущее настроеніе печали, возникающее изъ неяснаго, быть можетъ, сознанія, что при настоящихъ условіяхъ—рабство, невѣжество, сила суевѣрія—онъ не властенъ надъ своей судьбой. Вы помните эту, душу надрывающую сцену:

— А вотъ Павлуша идетъ,—молвилъ Ѳедя.

Павель подошелъ къ огню съ полнымъ котельчикомъ въ рукѣ.

— Что ребята,—началь онъ помолчалъ:—неладное дѣло.

— А что?—торопливо спросилъ Костя.

— Я Васинъ голосъ слышалъ.

Всѣ такъ и вздрогнули.

— Что ты, что ты?—пролепеталъ Костя.

— Ей-Богу. Только сталъ я къ водѣ нагибаться, слышу вдругъ, зовутъ меня этакъ Васинымъ голоскомъ и словно изъ-подъ воды: „Павлуша, Павлуша, подь сюда“. Я отошелъ. Однако, воды зачерпнулъ.

— Ахъ ты, Господи! ахъ ты, Господи!—проговорили мальчики, крестясь.

— Вѣдь это тебя водяной звалъ, Павель,—прибавилъ Ѳедя.— А мы только что о немъ, о Васѣ-то, говорили.

— Ахъ, это примѣта дурная,—съ разстановкой проговорилъ Ильюша.

— Ну, ничего, пушай!—произнесъ Павель рѣшительно и сѣлъ опять:—*Своей судьбы не минуешь.*

Мальчики пріутихли. Видно было, что слова Павла произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе. Они стали укладываться передъ огнемъ, какъ бы собираясь спать.

— Что это?—спросилъ вдругъ Костя, приподнявъ голову.

Павель прислушался.

— Это кулички летятъ посвистываютъ.

— Куда же они летятъ?

— А туда, гдѣ говорятъ, зимы не бываетъ.

— А развѣ есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнулъ и закрылъ глаза.

Да, тамъ, за теплыми морями, далеко, далеко за предѣлами крѣпостнаго рабства, Павлуша „миновалъ“ бы свою „судьбу“... А здѣсь... „Смотри, какой здѣсь видъ“, говоритъ Пушкинъ:

Избушекъ рядъ убогій,  
За ними черноземъ; равнины скать отлогій,  
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса...  
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?  
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,  
Два только деревца, и то изъ нихъ одно  
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,  
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,  
Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго Борей.  
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.  
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вельдѣ.  
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка...  
... Вездѣ невѣжества губительный позоръ.  
Не видя слезъ, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное судьбой,  
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,  
Присвоило себѣ насильственной лозой  
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.  
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,  
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ  
Неумолимаго владѣльца.  
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ...

Оттого-то здѣсь, какъ говорится въ пѣснѣ „Лихача-Кудря-  
вича“ Кольцова,

Зла бѣда  
Ходитъ невидимкой,  
Губитъ безъ разбору.  
Отъ ея напасти  
Не уйти на лыжахъ:  
Въ чистомъ полѣ найдетъ,  
Въ темномъ лѣсѣ сыщетъ.  
Чуешь только сердцемъ:  
Придетъ, сядетъ рядомъ,  
Объ руку съ тобою  
Пойдетъ и поѣдетъ...  
И щемитъ, и ноетъ,  
Болитъ ретивое:  
Все изъ рукъ вонъ плохо,  
Нѣтъ ни въ чемъ удачи.

Здѣсь и Павлуша не миновалъ своей судьбы: „Я къ сожа-  
лѣнью, долженъ прибавить, заканчиваетъ свой рассказъ Тургеневъ,  
что въ томъ же году Павла не стало. Онъ не утонулъ: онъ убилися,  
упавъ съ лошади. Жаль, славный былъ парень!...“

Костя—мальчикъ лѣтъ десяти. Онъ „возбуждалъ мое любопытство,  
говоритъ Тургеневъ, своимъ задумчивымъ и печальнымъ взоромъ.  
Все лицо его было невелико, худо, въ веснуш-

какъ, книзу заострено, какъ у бѣлки; губы едва было можно различить; но странное впечатлѣніе производили его большіе, черные, жидкимъ блескомъ блестящіе глаза: они, казалось, хотѣли что-то высказать, для чего на языкѣ,—на его языкѣ, по крайней мѣрѣ,—не было словъ. Онъ былъ маленькаго роста, сложенія тщедушнаго, и одѣтъ довольно бѣдно. Нѣжная, задушевная грусть проходитъ чрезъ всѣ рассказы Кости, такіе немудренныя и вмѣстѣ такіе милыя и по-своему серьезныя. Сказывается въ этихъ „большихъ, черныхъ, жидкимъ блескомъ блестящихъ глазахъ“, въ этихъ милыхъ, но грустью тяжелой и думою черной обвитыхъ рѣчахъ, сказывается какой-то нерѣшенный—не только не высказанный вопросъ; чувствуется въ этомъ „задумчивомъ и печальномъ взорѣ“ болѣзненно тонкая психическая организація, до которой грубой, заскоруждой отъ вѣковаго рабства, рукой коснулась неумолимо жестокая, безстрастная дѣйствительность въ видѣ „невеселаго, все молчащаго“ слободскаго плотника Гаврилы, утопленнаго въ „бучилѣ“ ворами лѣсника Акима, обманутой Акулины - „дурочки“ („съ тѣхъ поръ и рехнулась“), утонувшаго Васи и безутѣшной отъ горя матери его Ѳеклисты... „—А помнишь Васю?..—печально прибавилъ Костя.

— Какого Васю?—спросилъ Ѳедя.

— А вотъ того, что утонулъ,—отвѣчалъ Костя:—въ этой вотъ самой рѣкѣ. Ужъ какой же мальчикъ былъ! и-нихъ, какой мальчикъ былъ! Мать-то его, Ѳеклиста, ужъ какъ же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Ѳеклиста-то, что ему отъ воды погибель произойдетъ. Бывало, пойдетъ онъ, Вася, съ нами, съ ребятами, лѣтомъ въ рѣчку купаться,—она такъ вся и встрепещется. Другія бабы ничего, идутъ себѣ мимо съ корытами, переваливаются, а Ѳеклиста поставитъ корыто наземь и станетъ его кликать: „Вернись, молъ, вернись, мой свѣтикъ! охъ, вернись, мой соколикъ!“ И какъ утонулъ, Господь знаетъ. Игралъ на берегу, и мать тутъ же была, сѣно сгребала; вдругъ слышитъ, словно кто пузыри по водѣ пускаетъ,—глядь, а только ужъ одна Васина шапонька по водѣ плыветъ. Вѣдь вотъ съ тѣхъ поръ и Ѳеклиста не въ своемъ умѣ: придетъ да и ляжетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ утонулъ; ляжетъ, братцы мои, да и затянетъ пѣсенку,—помните, Вася-то все такую пѣсенку пѣвалъ,—вотъ ее-то она и затянетъ, а сама плачетъ, плачетъ, горько Богу жалится“...

Костя—это нѣжное растеньице, которому жить бы и расти тамъ, гдѣ никогда зимы не бываетъ; а здѣсь, едва показавшись

на свѣтъ, оно уже побито холодомъ суровой крестьянской жизни. „Съ умомъ, не по-дѣтски печалью развитымъ, и съ чуткой, болѣзненно-чуткой душой“, Костя въ десять лѣтъ уже знаетъ ее, эту жизнь, и знаетъ съ оборотной стороны: безвинныя страданья, безвинныя слезы (ему и русалочки жаль) больно поразили его нѣжное, любящее сердечко, и оно сжалось подъ дѣйствіемъ холодной необходимости фактовъ, даже какъ будто примирилось съ ней; но въ глубинахъ дѣтской души,—невѣдомыхъ другимъ и открытыхъ для пронизательнаго взора писателя,—кроется за-таенный, самому мальчику, быть можетъ, не совсѣмъ ясный, протестъ: откуда эта скорбь въ человѣкѣ? Зачѣмъ эти напрасно загубленныя жизни? эти слезы, эти безумныя, горькія жалобы Богу?.. И всѣ рѣчи Кости—точно одинъ нескончаемый, дѣтски чистый вопль-плачь, горькая жалоба Богу, безконечно-грустный зовъ о любви, ласкѣ, привѣтѣ, свѣтлой радости... Этотъ „зовъ безотвѣтный“, эти „дѣтскія слезы“ поистинѣ „жгутъ и терзаютъ грудь“ читателя, „людского сожалѣнья“ просить; и хочется сказать вмѣстѣ съ поэтомъ этому милому, несчастному ребенку:

Дитя мое... Мой мальчикъ дорогой,  
О, какъ бездушенъ онъ, вашъ жалкій, вашъ жестокій,  
Вашъ нищій чувствомъ мѣръ земной!  
И такъ довольно въ немъ печали и страданья.  
И такъ довольно въ немъ жертвъ, и палачей:  
Къ чему жъ ему еще безвинныя страданья  
Дѣтей измученныхъ, безпомощныхъ дѣтей?..

Наконецъ, *Ваня*. „Я сперва было и не замѣтилъ (его),—говорить Тургеневъ:—онъ лежалъ на землѣ, смиренхонько прикурнувъ подъ угловатую рогожу, и только изрѣдка выставлялъ изъ подъ нея свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лѣтъ семь“.

„Вы помните эту дивную сценку:

Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребята,—раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани:—гляньте на Божьи звѣздочки,—что пчелки ро-  
яется.

Онъ выставилъ свое свѣтлое личико изъ-подъ рогожи, оперся на кулачокъ и медленно поднялъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не скоро опустились.



— А что, Ваня,—ласково заговорилъ Одея:—что твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,—отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходить?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

— И тебѣ дамъ.

Ваня вздохнулъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою голову на землю“.

Ваня—это маленькое, чистое, нѣжное сердечко, милое и наивное дитя; онъ еще не задумывается надъ окружающей его грязной и темной дѣйствительностью, потому что для него еще „Божьи звѣздочки, что пчелки роятся“...

---

„Вы читаете „Бѣжинъ лугъ“,—говоритъ С. А. Венгеровъ,— и чѣмъ дальше вы въ него вникаете, тѣмъ чаще и чаще начинается подыматься ваша грудь и вы кончаете очеркъ въ какомъ-то упоеньи. Это чтеніе подняло въ душѣ вашей цѣлый рой сладкихъ ощущеній; подобно величественной сонатѣ Бетховена, оно пробудило разныя неопредѣленныя стремленья; долго, долго длится ваше очарованіе“... Но вотъ вы освободились отъ него, и „рой сладкихъ ощущеній“ смѣняется какой-то тоскливой, давящей грустью отъ печальнаго настоящаго этихъ дѣтей и гнетущей тревогой за ихъ темное будущее: вѣдь Вася утонулъ, Павлуша убится. Что ждетъ въ жизни остальныхъ дѣтей? И подъ тяжестью этого вопроса вы невольно обращаетесь къ писателю, прося у него отвѣта. Иванъ Сергѣевичъ даетъ этотъ отвѣтъ только не словами, а цѣлой картиной, изумительно яркой, захватывающей и поднимающей душу читателя,—картиной разсвѣта и пробужденія природы: „... Полились кругомъ меня,—говоритъ онъ,—по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленѣвшимъ холмамъ, отъ лѣсу до лѣсу, и сзади—по длинной пыльной дорогѣ, и по рѣкѣ, стыдливо синѣвшей изъ-подъ рѣдѣющаго тумана — полились сперва алые, потомъ красные, золотые потоки молодого, горячаго свѣта... Все зашевелилось, проснулось, запѣло, зашумѣло, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зардѣлись крупныя капли росы; мнѣ на-

встрѣчу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, пронеслись звуки колокола, и вдругъ мимо меня, прогоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувшій табунъ“...

Не сама ли это „заря просвѣщенной свободы“?..

День встаетъ багрянъ и пышенъ,—  
Долгой ночи скрылась тѣнь;  
Новой жизни трепеть слышенъ...

---

## VI.

### Горькое время—горькія пѣсни.

Душа народная!  
Возсмѣйся жъ, наконецъ!

*Н. А. Некрасовъ.*

„Пѣвцы“ — это одинъ изъ самыхъ характерныхъ аккордовъ „великой скорбной симфоніи“; только, чтобы понять его, необходимо дополнить поставленное авторомъ заглавіе: здѣсь не только поютъ, но и пьютъ. Пѣть и пить—излюбленное средство отъ горя горемыки-народа. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ помнить себя, онъ поетъ и пьетъ,—въ пѣснѣ выливаетъ свое горе, виномъ заливаешь жгучую тоску.

Не заказано вѣтру свободному  
Пѣть тоскливыя пѣсни въ поляхъ;  
Не заказаны волку голодному  
Заунывные стоны въ лѣсахъ:  
Споконъ вѣку дождемъ разливаются  
Надъ родной стороной небеса,  
Гнутя, стонуть, подъ бурей ломаются  
Споконъ вѣку родные лѣса;  
Споконъ вѣку работа народная  
Подъ унылую пѣсню кипить...

Да, „споконъ вѣку“: еще начальная лѣтопись знаетъ и о пѣсняхъ и о томъ, что „Руси есть веселіе пити“. Давно, давно побратались вино и пѣсня; жизнь закрѣпила этотъ союзъ. „Вѣка протекали—все къ счастью стремилось, все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось“, а Русь святая поетъ и пьетъ, какъ прежде: гдѣ пьютъ, тамъ поютъ, гдѣ поютъ, тамъ пьютъ. „Царевъ кабакъ“ до самыхъ послѣднихъ лѣтъ былъ театромъ русскаго народа; на убогой сценѣ, по всей „матушкѣ-Руси“ разселившихся „Притынныхъ“ умѣстились и народная опера, и мужицкая драма.

Въ одинъ изъ этихъ „Притынныхъ“ и вводитъ насъ Турге-

невъ, чтобъ мы увидѣли и поняли, откуда пошла русская пѣсня и за что полюбилъ русскій мужикъ „зелено вино“.

Предъ нами „убогая Русь“. „Небольшое сельцо Колотовка, принадлежащее нѣкогда помѣщицѣ, за лихой и бойкій нравъ прозванной въ околоткѣ Стрыганихой (настоящее имя ея осталось неизвѣстнымъ), а нынѣ состоящее за какимъ-то петербургскимъ нѣмцемъ, лежитъ на скатѣ голаго холма, сверху донизу разсѣченнаго страшнымъ оврагомъ, который, зіяя какъ бездна, вѣтся, разрытый и размытый, по самой серединѣ улицы, и пуше рѣки—черезъ рѣку можно по крайней мѣрѣ навести мостъ,—раздѣляетъ обѣ стороны бѣдной деревушки. Нѣсколько тощихъ ракивъ боязливо спускаются по песчанымъ его бокамъ; на самомъ днѣ, сухомъ и желтомъ, какъ мѣдъ, лежатъ огромныя плиты глинистаго камня. Невеселый видъ, нечего сказать, а между тѣмъ всѣмъ окрестнымъ жителямъ хорошо извѣстна дорога въ Колотовку: они ѣздятъ туда охотно и часто.

У самой головы оврага, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ той точки, гдѣ онъ начинается узкой трещиной, стоитъ небольшая четверугольная избушка, стоитъ одна, отдѣльно отъ другихъ. Она крыта соломой, съ трубой; одно окно, словно зоркій глазъ, обращено къ оврагу и въ зимніе вечера, освѣщенное изнутри, далеко виднѣется въ тускломъ туманѣ мороза и не одному проѣзжему мужичку мерцаетъ путеводною звѣздою. Надъ дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка—кабакъ, прозванный „Притыннымъ“.

Уже здѣсь достаточно ясно обозначилось то роковое, что порождало „Притынные“ около „Колотовокъ“. Черезъ страницу вниманіе вдумчиваго читателя останавливаетъ какъ будто случайно оброненное замѣчаніе писателя о женѣ цѣловальника, что она пьяницъ-крикуновъ не любитъ: „выгоды отъ нихъ мало, а шуму много; *молчаливые, урюмые* ей скорѣе по сердцу“. Еще ниже вы узнаете о томъ, что „въ Колотовкѣ, какъ и во многихъ другихъ степныхъ деревняхъ, мужики, за неимѣніемъ ключей и колодцевъ, *пьютъ какую-то жидкую грязь* изъ пруда... Но кто же назоветъ это отвратительное пойло водою?“ Еще черезъ нѣсколько строкъ Тургеневъ скажетъ вамъ о „бурыхъ, *полуразметанныхъ крышахъ* домовъ“, о „*выжженномъ, запыленномъ выгонѣ*, по которому *безнадежно скитаются худыя*, длинноногія курицы“, о „*черномъ*, словно раскаленномъ прудѣ, съ каймой изъ *полувысохшей грязи* и сбитой на бокъ плотиной, возлѣ которой, на мелко истоптанной, пепеловидной землѣ, овцы, едва дыша и

чихая отъ жара, печально тѣсняются другъ къ дружкѣ и съ унылымъ терпѣньемъ наклоняють головы какъ можно ниже“...

Если вспомнить, что это писалось тогда, когда „въ отвѣтъ стenanіямъ народа мысль русская стонала въ полутонъ“, если вспомнить, что сознательные читатели безъ труда выравнивали эти полутоны въ тонъ „гнусной расseyской дѣйствительности“, то станеть совершенно понятнымъ, что хотѣлъ сказать Тургеневъ этой прелюдіей къ пѣснѣ Якова-Турка, который „былъ по душѣ художникъ во всѣхъ смыслахъ этого слова, а по званію черпальщикъ на бумажной фабрикѣ у купца“. „Худой и стройный“, онъ „смотрѣлъ удалымъ фабричнымъ малымъ и, казалось, не могъ похвастаться отличнымъ здоровьемъ. Его впалыя щеки, большіе безпокойные сѣрые глаза, прямой носъ съ тонкими подвижными ноздрями, бѣлый покатый лобъ съ закинутыми назадъ свѣтло-русскими кудрями, крупныя, но красивыя выразительныя губы, все его лицо изобличало чelовѣка впечатлительнаго и страстнаго“.

„... Яковъ открылъ свое лицо, оно было блѣдно, какъ у мертваго, глаза едва мерцали сквозь опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ... Первый звукъ его голоса былъ слабъ и неровенъ и, казалось, не выходилъ изъ его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетѣлъ случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ трепещущій, звенящій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на друга, а жена Николая Ивановича такъ и выпрямилась. За этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащій, какъ струна, когда, внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она колеблеться послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ; за вторымъ—третій, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька пролегала“, пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, рѣдко слыхивалъ подобный голосъ: онъ былъ слегка разбитъ и звенѣлъ, какъ надтреснутый; онъ даже сначала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и неподдѣльная, глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-безпечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо овладѣвало упоеніе; онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе—онъ дрожалъ, но той, едва за-

мѣтной внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ, во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу моря, грозно и тяжело шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья навстрѣчу знакомому морю, навстрѣчу низкому, багровому солнцу; я вспомнилъ о ней, слушая Якова. Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участиемъ. Онъ пѣлъ, и отъ cadaго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо-широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ, закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія, сдержанныя рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще слаще прежняго; Николай Иванычъ потупился, Моргачъ отвернулся; Обалдуй, весь разнѣженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ; сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; и по желѣзному лицу Дикаго Барина, изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился... Не знаю, чѣмъ бы разрѣшилось всеобщее томленье, если бъ Яковъ вдругъ не кончилъ на высококомъ, необыкновенно тонкомъ звукѣ, словно голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не шевельнулся; всѣ какъ будто ждали, не будетъ ли онъ еще пѣть; но онъ раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ молчаньемъ, вопрошающимъ взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ и увидалъ, что побѣда была его...

— Яша,—проговорилъ Дикій Баринъ, положилъ ему руку на плечо и смолкъ. Мы всѣ стояли, какъ оцѣпенѣлые. Рядчикъ всталъ и тихо подошелъ къ Якову. „Ты... твоя... ты выигралъ“, произнесъ онъ наконецъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты“...

Почему же Яковъ-Турокъ выигралъ? Что дало его пѣснѣ такую остроту, что она врѣзалась въ самую глубь души, туда, куда не доходятъ обычныя, условныя отличія, гдѣ люди—просто люди, гдѣ человѣческое свѣтитъ и теплится въ каждомъ изъ людей,—богатъ ли онъ, бѣденъ ли, аристократъ или нищій, дворянинъ или мужикъ?

Я позволю себѣ по этому поводу сдѣлать маленькую экскурсію въ ту область народнаго творчества, которой коснулся Тургеневъ въ этомъ очеркѣ.

Извѣстенъ отзывъ Пушкина о русской народной пѣснѣ; она „грустный вой“:

Отъ ямщика до перваго поэта  
Мы все поемъ уныло. Грустный вой  
Пѣнь русская. Извѣстная примѣта—  
Начавъ за здравіе, за упокой  
Сведемъ какъ разъ. Печалію согрѣта  
Гармонія и нашихъ музъ и дѣвъ,  
Но нравится ихъ жалобный напѣвъ.

—  
Что-то слышится родное  
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:  
То разгулье удалое,  
То сердечная тоска.

Гоголь также называетъ русскую пѣсню „тоскливою“, „рыдающею“, „хватяущею за сердце“: „почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоихъ (поэтъ обращается къ Россіи) тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ, отъ моря до моря пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца?“

Выдь на Волгу: чей стонъ раздается  
Надъ великую русской рѣкой?  
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется—  
То бурлаки идутъ бичевой!..

*Некрасовъ.*

„Зачѣмъ, ямщикъ, ты пѣсни не поешь?“ спрашиваетъ путникъ, утомленный однообразіемъ русской степи, дальней дорогой, вѣтромъ-„перекати-поле“, туманомъ и удрученный какой-то тайной тоской (стихотвореніе Полонскаго: „Дорога“).

И мнѣ въ отвѣтъ ямщикъ мой бородатый:  
Про черный день мы пѣсню бережемъ!

„Повита эта русская пѣсня, по выраженію Л. А. Мея, непогодю-невзгодю, омыта-крещена въ крови, въ слезахъ“:

Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская,  
Благовѣстная, побѣдная, раздольная,  
Погородная, поселъная, попольная,  
Непогодю, невзгодю повитая,

Во крови, въ слезахъ крещеная-омытая!  
Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская!  
Не сама собой ты спѣлася-сложилася:  
Съ пустырей тебя намыло снѣгомъ-дождикомъ,  
Нанесло тебя съ пожарищъ дымомъ-копотью,  
Намело тебя съ сырыхъ могилъ метелицей.

Да, суровая русская природа одна не объясняетъ всего въ этой тоскливой, „хватаящей за душу“ русской пѣснѣ; кажется, наоборотъ, въ этой невеселой сѣверной природѣ русской чело-вѣкъ находить отзвукъ своему настроенію; онъ любитъ эту при-роду, какъ ни бѣдна она, любитъ сыновней любовью

песчаный косогоръ,  
Передъ избушкой двѣ рябины,  
Калитку, сломанный заборъ,  
На небѣ сѣренькія тучи,

любить ее веселую и разубранную, любить грустную и развѣн-чанную... Не ее винить русскому чело-вѣку за эту пѣсню-стонъ, отъ „чернаго дня“ пошла эта пѣсня, и только свѣтлые дни по-ложатъ конецъ ей, „во крови, въ слезахъ крещеной-омытой“.

Бросьте взглядъ на тысячелѣтнюю исторію русскаго народа. „Въ лѣто 6370 изгнаша варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами въ себѣ володѣти; и не бѣ въ нихъ правды, и вѣста родъ на родъ, быша въ нихъ усобицы, и воевати почаша сами на ся. Рѣша сами въ себѣ: „поищемъ себѣ князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву. Идоша за море къ варягамъ къ Руси и рѣша: „вся земля наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ; да поидѣте княжить и володѣти нами“... Вотъ на-чальный фактъ русской исторіи, какъ онъ записанъ въ лѣто-писи... Этотъ „нарядъ“ получила русская земля, но—какой до-рогой цѣной: невеселыя години утомляющей чредой смѣняли одна другую.

И тогда жъ въ тѣ злые дни Олега  
Свѣлось крамолой и растилось  
На Руси отъ внуковъ Гориславны;  
Погибала жизнь Дажьбожьихъ внуковъ,  
Сокращались вѣки чело-вѣковъ...  
Въ тѣ дни рѣдко ратаи за плугомъ  
На Руси покрикивали въ полѣ;  
Только враны каркали на трупахъ,  
Галки рѣчь вели между собою,  
Далеко почуя мертвечину...  
Отъ усобицъ княжихъ—гибель Руси!  
Братья спорять: то мое и это!



Золь раздоръ изъ малыхъ словъ заводятъ,  
На себя кують крамолу сами,  
А на Русь съ побѣдами приходятъ  
Отовсюду вороги лихїе!..  
Не снопы то стелють на Нѣмигѣ,  
Человѣчьи головы кидаютъ!  
Не цѣпами молотятъ, мечами,  
Жизнь на токъ кладуть и вѣють душу,  
Вѣють душу храбрую отъ тѣла!  
Охъ, не житомъ сѣяны, костями,  
Берега кровавые Нѣмиги,  
Все своими русскими костями...

„О стонати русской землѣ, помянувши первую годину и первыхъ князей“, и она возстонала этимъ стономъ, который у насъ пѣсней зовется... За первой годиной княжескихъ усобицъ не замедлила татарская неволя; о ней такъ просто и вмѣстѣ такъ выразительно говоритъ былина-пѣсня о Шелканѣ-Дуденьевичѣ, который

Съ князей бралъ по сту рублевъ,  
Съ бояръ по пятидесяти,  
Съ крестьянъ по пяти рублевъ;  
У котораго денегъ нѣтъ,  
У того дитя возьметъ;  
У котораго дитя нѣтъ,  
У того жену возьметъ;  
У котораго жены нѣтъ,  
Того самого съ головой возьметъ.

А за этой годиной третья—эпоха московскихъ князей „собираателей“, которые за своими мудрыми хозяйственными расчетами забывали права и потребности русскаго человѣка. А за ними—Грозный, Борисъ Годуновъ, смутное время, расколъ, эпоха Петра, придворныхъ смуть и временщиковъ и т. д., и т. д., и все это на безпросвѣтно-мрачномъ фонѣ народнаго рабства.

Эти бѣдныя селеня,

говорить Тютчевъ,

Эта скудная природа—  
Край родной долготерпѣнья,  
Край ты русскаго народа!  
...Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
Въ рабскомъ видѣ Царь небесный  
Исходилъ благословляя.

„Удрученный ношей крестной“, прошелъ русскій народъ свою тысячелѣтнюю исторію, и чѣмъ же другимъ, кромѣ стона, могъ отозваться онъ на вѣковѣчный гнетъ и страданія. Такимъ именно, удрученнымъ ношей крестной, но безконечно терпѣливымъ, видѣлъ Иванъ Сергѣевичъ съ самаго ранняго дѣтства свой край родной—свой родной народъ.

Вотъ та историческая подпочва, на которой выростала русская государственность, подъ постояннымъ воздѣйствіемъ которой конструировалось русское общество и сложился укладъ русской семьи.

Попятно теперь, что ударить по „русскимъ струнамъ“ пѣсня рядчика не могла. „Голосъ у него былъ довольно пріятный и сладкій, хотя нѣсколько сиплый; онъ игралъ и вилялъ этимъ голосомъ, какъ юлою, безпрестанно заливался и переливался сверху внизъ и безпрестанно возвращался къ верхнимъ нотамъ, которыя выдерживалъ и вытягивалъ съ особымъ стараньемъ, умолкалъ, и потомъ вдругъ подхватывалъ прежній напѣвъ съ какой-то залихватской, заносчивой удалью. Его переходы были иногда довольно смѣлы, иногда довольно забавны: знатоку бы они много доставили удовольствія; нѣмецъ пришелъ бы отъ нихъ въ негодованіе. Это былъ русскій *tenore di grazia*, *ténor léger*. Пѣлъ онъ веселую, плясовую пѣсню, слова которой сколько я могъ уловить сквозь безконечныя украшенія, прибавленныя согласныя и восклицанія, были слѣдующія:

Распашу я, молода-молоденька,  
Землицы маленько;  
Я посею, молода-молоденька,  
Цвѣтика аленька.

Онъ пѣлъ; всѣ слушала его съ большимъ вниманіемъ. Онъ видимо чувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ людьми свѣдущими, и потому, какъ говорится, просто лѣзъ изъ кожи. Дѣйствительно, въ нашихъ краяхъ знаютъ толкъ въ пѣнни, и не даромъ село Сергѣевское, на большой орловской дорогѣ, славится по всей Россіи своимъ особенно пріятнымъ и согласнымъ напѣвомъ. Долго рядчикъ пѣлъ, не возбуждая слишкомъ сильнаго сочувствія въ своихъ слушателяхъ; ему не доставало поддержки хора; наконецъ, при одномъ особенно удачномъ переходѣ, заставившемъ улыбнуться самого Дикаго Барина, Обалдуй не выдержалъ и вскрикнулъ отъ удовольствія. Всѣ встrepенулись. Обалдуй съ Моргачемъ начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покривать: „Лихо... Забирай, шельмецъ!.. Забирай, вытягивай, аспидъ!

Вытягивай еще! Накальвай еще, собака ты этакая, песь!.. Погуби Иродъ твою душу!“ и пр. Николай Ивановичъ изъ-за стойки одобрительно закачалъ головой направо и налево. Обалдуй, наконецъ, затопалъ, засѣменилъ ногами и задергалъ плечикомъ,— а у Якова глаза такъ и разгорѣлись, какъ уголья, и онъ весь дрожалъ, какъ листъ, и безпорядочно улыбался. Одинъ Дикій Баринъ не измѣнился въ лицѣ и попрежнему не двигался съ мѣста; но взглядъ его, устремленный на рядчика, нѣсколько смягчился, хотя выраженіе губъ оставалось презрительнымъ. Ободренный знаками всеобщаго удовольствія, рядчикъ совсѣмъ завихрился, и ужъ такія началъ отдѣлывать завитушки, такъ зашелкалъ и забарабанилъ языкомъ, такъ неистово заигралъ горломъ, что когда, наконецъ, утомленный, блѣдный и облитый горячимъ потомъ, онъ пустилъ, перекинувшись назадъ всѣмъ тѣломъ, послѣдній замирающій возгласъ, — общій слитный крикъ отвѣтилъ ему неистовымъ взрывомъ“...

Рядчикъ—это артистъ, „служитель чистаго искусства“, для котораго красота—все. Такимъ людямъ нельзя отказать въ болѣе или менѣе развитомъ эстетическомъ чувствѣ: они тонко чувствуютъ и красиво воспроизводятъ свои эмоціи; но они не любятъ и не умѣютъ слушать и воссоздавать диссонансы жизни: зло, страданія, боль—не ихъ сфера. И оттого ихъ пѣсни — „для немногихъ“ и только развѣ изрѣдка и ненадолго — для всѣхъ. Такъ во всѣхъ литературахъ, у всѣхъ народовъ, такъ особенно въ русской литературѣ, у русскаго народа. У насъ всегда считалось постыднымъ „въ години горя красу долинь, небесъ и моря и ласку милой воспѣвать“...

Будь гражданинъ! служба искусству,  
Для блага ближняго живи,  
Свой геній подчиняя чувству  
Всеобнимающей любви.

И эта точка зрѣнія, какъ показываетъ выше набросанный очеркъ народной пѣсни, сложилась въ народной поэзіи и ужъ оттуда усвоена нашими писателями, въ художественномъ образованіи которыхъ народное творчество занимаетъ, какъ извѣстно, такое видное мѣсто. А такъ какъ „година горя“ началась невѣдомо когда, и конца ей все не видно, то пѣсня веселая, не отражая мотивовъ скорбной жизни, попрежнему не пользуется успѣхомъ. Тѣпог léger долженъ былъ проиграть, ему не по плечу была тяжелая ноша крѣпостной Руси. Его „залихватская“ пѣсня выразила только отдѣльные, и то рѣдкіе, и не характерные мо-

менты народной жизни и, слѣдовательно, народной психики. Она и захватила слушателей только на моментъ, да и то не глубоко. „Общій слитный крикъ“, поднявшійся до степени „неистоваго взрыва“,—это только необходимый вздохъ, не снявшій тяжести съ души и, слѣдовательно, не облегчившій ея.

Иначе подѣйствовала „заунывная“ пѣсня Якова-Турка: она „стрѣлой вонзилась въ душу слушателя“. Его слушали люди разныхъ положеній, разныхъ темпераментовъ, но всѣ — русскіе, и этого было довольно, чтобы „русская, правдивая, горячая душа“, наполнившая пѣсню, захватила сердца всѣхъ посѣтителей „Притыннаго“ и въ унисонъ съ ней зазвучали „русскія струны“...

Яковъ побѣдилъ...

Это одинъ моментъ картины, въ художественномъ отношеніи самый цѣнный; но въ ней есть и другой: ему отводится меньше мѣста въ картинѣ, онъ менѣе яркъ, зато въ немъ несомнѣнно выразилась гражданская скорбь писателя, которая должна была отдаться энергичнымъ протестомъ въ чуткой къ народному горю душѣ читателя, потревожить его совѣсть, его силу „на правый поставить путь“. Это сцена „кабацкаго питья“.

„Изъ ...ярко освѣщеннаго кабака несея нестройный, смутный гамъ, среди котораго, мнѣ казалось, я узнавалъ голосъ Якова. Ярый смѣхъ по временамъ поднимался оттуда взрывомъ. Я подошелъ къ окошку и приложился лицомъ къ стеклу. Я увидѣлъ невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — все, начиная съ Якова. Съ обнаженной грудью сидѣлъ онъ на лавкѣ и, напѣвая осиплымъ голосомъ какую-то плясовую, уличную пѣсню, лѣниво перебиралъ и щипалъ струны гитары. Мокрые волосы клочьями висѣли надъ его страшно поблѣднѣвшимъ лицомъ. Посрединѣ кабака Обалдуй, совершенно „развинченный“ и безъ кафтана, выплясывалъ въ перепрыжку передъ мужикомъ въ сѣрватомъ армякѣ; мужичокъ, въ свою очередь, съ трудомъ топоталъ и шаркалъ ослабѣвшими ногами и, безсмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изрѣдка помахивалъ одной рукой, какъ бы желая сказать: „куда ни шло“. Ничего не могло быть смѣшнѣй его лица; какъ онъ ни вздергивалъ кверху свои брови, отяжелѣвшія вѣки не хотѣли подняться а такъ и лежали на едва замѣтныхъ, посоловѣлыхъ, но сладчайшихъ глазкахъ. Онъ находился въ томъ миломъ состояніи окончательно подгулявшаго человѣка, когда всякій прохожій, взглянувъ ему въ лицо, непремѣнно скажетъ: „хорошъ, братъ, хо-

рошъ!“ Моргачъ, весь красный, какъ ракъ, и широко раздувъ ноздри, язвительно посмѣивался изъ угла; одинъ Николай Ивановичъ, какъ и слѣдуетъ истинному цѣловальнику, сохранялъ свое неизмѣнное хладнокровіе. Въ комнату набралось много новыхъ лицъ; но Дикаго Барина я въ ней не видалъ“. Такъ пилъ тотъ, кто пѣлъ, пили тѣ, кто слушалъ.

Въ этомъ конкретномъ случаѣ связи „пѣтя“ и питья писатель демонстрируетъ то „роковое“, что дѣлаетъ русскихъ пѣвцовъ—и не изъ народа только—пьяницами. „Шопенгауэръ указываетъ на способность музыки выражать всѣ движенія нашего духа, „но совсѣмъ внѣ условій дѣйствительности и безъ ея мученій („aber ganz ohne Wirklichkeit und fern von ihrer Qual“), чѣмъ и объясняется невыразимое впечатлѣніе, производимое музыкой на нашу душу“. И конечно, если на всѣхъ дѣйствіе музыки таково, то избранными, кому доступна „гармонія жизни“, кто живетъ ею, ея созвучія особенно сильно и тонко чувствуются. А между тѣмъ, рѣдкіе изъ нихъ такъ же „стройно жили“, какъ „стройно пѣли“. Большинству пришлось извѣдать горечь рѣзкаго контраста между гармоніей внутри и страшными диссонансами вовнѣ, между „звуками небесъ“, которыхъ полна душа высокая и чистая, и „скучными пѣснями“ въ „мирѣ печали и слезъ“. Отдаваясь въ душѣ человѣка консонансами эмоцій, идей и движеній, музыка тѣмъ самымъ повышаетъ ея чувствительность и, слѣдовательно, все, что не звучитъ въ унисонъ съ гармоніей духа, воспринимается имъ, какъ диссонансъ. И чѣмъ тоньше психическая организація, музыкальнѣе человѣческая душа, тѣмъ болѣе рѣжущій характеръ получаютъ противорѣчія жизни. И больно становится отъ нихъ, и страстно хочется освободиться отъ этой боли; но

Жизнь смѣется,—въ глаза говоритъ:  
Не лелѣй никакихъ упованій,  
Передъ разумомъ сердце смири,  
Въ созерцаньи безмѣрныхъ страданій  
И въ сознаньи безсилья—умри!..

И Яковъ-Турокъ былъ „по душѣ художникомъ во всѣхъ смыслахъ этого слова; а по званію—черпальщикъ на бумажной фабрикѣ укупца“. Волею „жестокаго фатума“ онъ оказался придавленнымъ громадной тяжестью рабства и безправія. Вспомните нашъ „старый порядокъ“, начертите эту „живую пирамиду преступленій, злоупотребленій“, и вамъ станетъ понятенъ весь ужасъ такого существованія. Здѣсь нѣтъ иныхъ положеній, кромѣ двухъ:

или ты засѣлъ на другого, и благоденствуешь, или другіе на тебя засѣли, и благоденствуютъ. Само собой разумѣется, что это благоденствіе все же относительное, какъ относительны въ этой пирамидѣ понятія „вверху“ и „внизу“: второй рядъ на первомъ, но на второмъ—третій, на третьемъ—четвертый и т. д. Конечно, чѣмъ ниже, тѣмъ больнѣе, чѣмъ выше, тѣмъ легче; и поэтому здѣсь знаютъ только одну цѣль—сбросить съ себя грузъ повинностей и тогда всею тяжестью своею сытаго и привилегированнаго положенія давить на тѣхъ, кто остается внизу, кто родился для того, чтобы на своей спинѣ носить чужую тяжесть: эти только стонуть и умираютъ. О ней, объ этой ужасной пирамидѣ, говоритъ Огаревъ:

И сверху внизъ все давить, давить,  
И тѣсно, тяжело дышать,  
И хочется бѣжать, бѣжать,  
Куда нибудь уйти скорѣе  
Отъ этой жизни пытки злѣе,  
Изъ этой грязи вѣковой,  
Отъ этой родины святой!

И бѣжали: интеллигенты, люди обезпеченные, эмигрировали, а „голытьба“, если она не шла на Волгу, на большія дороги,—въ кабакъ; для нея была

Одна открыта торная  
Дорога къ кабаку.

Въ „избѣ кабацкой“ повстрѣчались и крѣпко обнялись пѣсня-кручина и „зелено вино“;

Да спасибо же тебѣ, синему кувшину,  
Ты размыкаль, разогналь злу тоску-кручину...

Ужасно это объятье: смертью дышитъ огненная пасть зеленого змія; но „куда ни шло“, лишь бы забыться... Такъ пилъ тотъ, кто пѣлъ; пили тѣ, кто слушалъ.

Такъ, конечно, слѣдуетъ, понимать замыселъ художника; такъ именно и поняла его цензура, которая вернула автору корректуру разсказа, „всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную“: сцена „питья кабацкаго“ была совершенно выброшена <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> „Пѣвцы,—говоритъ г. Грузинскій, испытали такія измѣненія, которыя вторгались уже иногда въ самый художественный замыселъ автора. Такъ, выброшена была тяжелая сцена разума въ кабакъ вечеромъ послѣ состязанія,

Удивительно стильной и выразительной концовкой заключает свой рассказ Тургеневъ.

„Я... быстрыми шагами сталъ спускаться съ холма, на которомъ лежитъ Колотовка. У подошвы этого холма разстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечерняго тумана, она казалась еще необъятнѣй и какъ будто сливалась съ потемнѣвшимъ небомъ. Я сходилъ большими шагами по дорогѣ вдоль оврага, какъ вдругъ гдѣ-то далеко въ равнинѣ раздался звонкій голосъ мальчика. „Антропка! Антропка-а-а!“ — кричалъ онъ съ упорнымъ и слезливымъ отчаяніемъ, долго, долго вытягивая послѣдній слогъ.

Онъ умолкалъ на нѣсколько мгновеній и снова принимался кричать. Голосъ его звонко разносился въ неподвижномъ, чутко-дремлющемъ воздухѣ. Тридцать разъ, по крайней мѣрѣ, прокричалъ онъ имя Антропки, какъ вдругъ съ противоположнаго конца поляны, словно съ другого свѣта, пронесся едва слышный отвѣтъ: — Чего-о-о-о-о?

Голосъ мальчика тотчасъ съ радостнымъ озлобленіемъ закричалъ:

— Иди сюда, чортъ, лѣши-і-і-ій!

— Зачѣ-ѣ-ѣ-ѣмъ?—отвѣтилъ тотъ спустя долгое время.

— А за тѣмъ, что тебя тятя высѣчь хочи-и-и-тъ,—поспѣшно прокричалъ первый голосъ.

Второй голосъ болѣе не откликнулся, и мальчикъ снова принялся звать къ Антропкѣ. Возгласы его болѣе и болѣе рѣдкіе и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсѣмъ темно, и я обгibalъ край лѣса, окружающаго мою деревеньку и лежащаго въ четырехъ верстахъ отъ Колотовки...

„Антропка-а-а! все еще чудилось въ воздухѣ, наполненномъ тѣнями ночи“.

Невольно вспоминаются слова Некрасова:

---

хотя она несомнѣнно входила въ намѣренія художника и углубляла мысль рассказа; кромѣ того путемъ мелкихъ сокращеній ослаблено было многое въ загадочной фигурѣ Дикаго Барина: смягчено его вліяніе на окружающихъ, совсѣмъ нѣтъ о громадныхъ силахъ, угрюмо покоившихся въ немъ, и о какомъ-то взрывѣ ихъ въ его прошломъ, уничтожены догадки о его происхожденіи, и самому ему пришлось назваться „Дикаремъ“ вмѣсто Дикаго Барина. Наконецъ, сильно смягчены или выброшены всѣ черты бѣдности и разоренія деревушки Колотовки... Нечего уже говорить о томъ, что устранены всѣ упоминанія о дворянахъ и станомъ“. (Научное Слово, VII, 1903. „Къ исторіи „Записокъ Охотника“ Тургенева“, стр. 101).

Не русскій—взглянеть безъ любви  
На эту блѣдную, въ крови,  
Кнutomъ изсѣченную музу...

и еще:

... Свою, вахлацкую,  
Родную хоромъ грянули,  
Протяжную, печальную—  
Иныхъ покамѣсть нѣтъ.  
Не диво ли? Широкая  
Сторонка Русь крещеная,  
Народу въ ней тьма темъ,  
А ни въ одной-то душенькѣ  
Споконъ вѣковъ до нашего  
Не загорѣлась пѣсенка  
Веселая и ясная,  
Какъ ведряный денекъ:  
Не дивно ли? не страшно ли?  
О время, время новое!  
Ты тоже въ пѣснѣ скажешься,  
Но какъ?.. Душа народная!  
Возсмѣйся жъ, наконецъ!..



## Заключеніе.

Анненковъ разсказываетъ, что гр. Растопчина, получивъ книгу „Записки Охотника“, замѣтила Чаадаеву: „Voilà un livre incendiaire“.—„Потрудитесь перевести фразу по-русски,—отвѣчалъ Чаадаевъ, такъ какъ мы говоримъ о русской книгѣ“. Оказалось, что въ русскомъ переводѣ фразы—„зажигаящая книга“—нестерпимое преувеличеніе. И точно—преувеличеніе: нѣтъ, не страшнымъ заревомъ пожара прошли въ сознаниі русскаго общества эти Калинычи, Касьяны, Бирюки, Лукеры; мягкимъ, но сильнымъ, насыщеннымъ свѣтомъ „прекрасной зари“ рѣяли эти дивные образы, такіе прекрасные и вмѣстѣ живые, въ очарованной душѣ, чуткой къ чужому горю, къ не-своей радости. Въ „Запискахъ Охотника“ И. С. Тургеневъ

Спустился въ темныя пучины  
Народной жизни, горькой и простой,  
Плѣняющей печальной красотой,  
И подсмотрѣлъ цвѣты  
Средь грязной тины,  
Средь грубости—любви порывъ святой.

И подъ дѣйствіемъ этой „печальной красоты“, этого „порыва любви святой“ что-то подымалось въ душѣ читателя такое, послѣ чего невозможно было оставаться въ прежней мерзости и неправдѣ, послѣ чего страстно желалось „скорѣй омыть себя водою покаянья“ и „страданьями купить благодать свободы“, чтобы „всякъ человѣкъ жилъ въ довольствѣ и справедливости“... „...А вотъ какъ пойдешь, пойдешь!“ все не переставалъ отдаваться въ глубинѣ души чарующей прелести обдуманно-торжественный и вдохновенно-странный призывъ Касьяна, „...и полегчить“... И хотѣлось идти, чтобы „полегчило“, идти туда, къ такому порядку жизни, гдѣ „удовольствіе человѣку, раздолье, благодать Божія“. „Высокія и свѣтлыя творенія“ писателя возсоздавали

русскихъ людей, и сердца ихъ трепетали слезами, „слезами восторга“ и „чувствъ молодыхъ“. Эти „слезы восторга“, эти „чувства молодыхъ“ толкали общество впередъ. И оно двинулось...

Въ мартъ 1854 года, незадолго передъ тѣмъ, какъ долгій мирный сонъ русской жизни, силою исторической необходимости, былъ нарушенъ севастопольской канонадой, Хомяковъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи „Россіи“, призывая „родную страну“ „на брань святую за братьевъ“, дерзновеннымъ словомъ пророка обличалъ „раны совѣсти растлѣнной“. Онъ говорилъ:

Вставай, страна моя родная!  
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ!..  
.....  
Но помни: быть орудьемъ Бога  
Земнымъ созданьямъ тяжело;  
Своихъ рабовъ Онъ судить строго,—  
А на тебя—увы!—какъ много  
Грѣховъ ужасныхъ налегло!  
Въ судахъ черна неправдой черной  
И игомъ рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи тлетворной  
И лѣни мертвой и позорной,  
И всякой мерзости полна!

Пророкъ-обличитель съ крѣпкой вѣрой въ духовную мощь болѣющей, но не изнемогшей отъ ранъ и язвъ Россіи призываетъ ее „избранную“, хотя и „недостойную избранья“, „скорѣй омыть

Себя слезою покаянья,  
Да громъ двойного наказанья  
Не грянетъ надъ твоей головой!“

И громъ грянулъ... Потоками крови пролилась грозная туча; но „въ силѣ... обновленной чистоты“, „страданьями купивши благодать свободы“, „раскаившаяся Россія“, „сурово совѣсть допросивъ“,

Съ душою свѣтлой многотумной  
Пошла на Божескій призывъ.

И одинъ за другимъ, внимая святому призыву, выходили на арену великіе „ратники добра“; „грудью своей защищая“ „подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ“, они все громче и громче звали на великое дѣло любви и борьбы за свободу „бѣлыхъ негровъ“. „Пора,—писалъ въ 1857 году одинъ изъ борцовъ за народную волю—Н. Тургеневъ.—Нѣсколько поколѣній жило безъ надежды и умерло безъ отрады подъ незаслуженнымъ игомъ крѣпостного

права. Наконецъ, настало время *искупленія!* Помѣщики, не торгуйтесь. Святымъ пожертвованіемъ искупите Россію“. И мощнымъ, призывнымъ гуломъ неслись по землѣ родной голоса народолюбцевъ: Казалось, звали они:

Теперь мы дружно всѣ поднимаемъ:  
Вотъ и колоколь готовъ...  
И будетъ звонъ его вѣщать намъ  
О жизни будущей безмятежной!..  
Поднимайте жъ, поднимайте сильнѣй!..

И въ отвѣтъ имъ отовсюду неслоь:

Дружно колоколь мы поднимаемъ! Дружнѣй!..  
Дружно, дружно! Дружнѣй!  
Дружно, дружно! Дружнѣй!..

То былъ дивный, великій моментъ въ жизни русскаго народа,— этотъ „торжественно-тревожный канунъ свободы“, это прекрасное утро „восходящаго дня“. Вспоминая это „благодатное время надеждъ“, Некрасовъ говоритъ о немъ:

... шумя и куда-то спѣша  
И какъ будто оковы сбивая,  
Русь! была ты тогда хороша!  
Какъ невольникъ, покинувъ тюрьму,  
Разгибается, вольно вздыхаетъ  
И, не вѣря себѣ самому,  
Богатырскую мощь ощущаетъ,  
Ты казалась сильна, молода,  
Къ Равенству, Братству, къ Свободѣ стремилась,  
Въ прегрѣшеніяхъ тяжкихъ тогда,  
Какъ блудница, ты громко винилась,  
И казалось намъ въ первые дни:  
Повториться не могутъ они..  
Приводя наше прошлое въ ясность,  
Проклиная безправье, безгласность,  
Произволь и господство бича,  
Далеко мы зашли сгоряча!  
Между тѣмъ какъ народъ неразвитый  
Ѣлъ кору и молчалъ какъ убитый,  
Мы сердечно болѣли о немъ,  
Мы вzywали: „даруйте свободу  
Угнетенному нами народу,  
Мы прошедшее сами клянемъ!  
Посмотрите на насъ: мы обжоры,  
Мы ходячіе трупы, гробы,  
Казнокрады, народные воры,  
Угнетатели, трупы, рабы!“

„Лучъ духовнаго свѣта озарилъ нашъ народъ,—писалъ о томъ же времени Герценъ:—въ массахъ началось движеніе,—смутное влеченіе къ реформѣ... Скоро я убѣдился, что вижу передъ собою не миражъ, а настоящую правду: корабль Россіи вышелъ изъ стоячей воды, гдѣ онъ такъ долго держался на якорѣ, и пустился въ море. Суждено ли ему, въ самомъ дѣлѣ, выйти на широкій просторъ океана? Признаюсь, я сомнѣвался; но, видя сіяющія лица моихъ друзей, полныхъ надежды, не могъ не повѣрить... Наконецъ, занялась заря,—заря того дня, о которомъ я мечталъ въ годы студенчества и въ годы ссылки... Начинали сбываться мои юношескія мечты, видѣлся восходъ московскаго солнца. Прочь, праздный сонъ! За работу, за работу! Съ удвоенными силами я принялся за дѣло; я зналъ, что сѣмя, брошенное въ такую пору, упадетъ не на бесплодную почву“... И вотъ,

Съ сонныхъ вѣждъ стряхнувъ дремоту,  
Бодрой свѣжести полна,  
Вышла съ Богомъ на работу  
Пробужденная страна!

„Это былъ,—говоритъ счастливый современникъ,—звукъ трубы архангела, возвѣстившій миллионамъ *мертвецовъ*, что приближается день воскресенія, что восходитъ звѣзда утренняя, предварающая солнце свободы; отъ этой вѣсти не только дрогнули сердца двадцати миллионовъ живыхъ мертвецовъ, но, казалось, разыграли кости поколѣній, давно уже уснувшихъ въ могилахъ; то были *незабвенныя, святыя минуты* въ русской исторіи, подобныя тѣмъ, когда въ ночь предъ пасхальной заутреней русскій народъ въ благоговѣйномъ безмолвіи ждетъ удара колокола и первыхъ звуковъ священной пѣсни воскресенія“.

И вдругъ... раздался этотъ долго жданный ударъ: „великое и святое дѣло совершилось“, и въ среду „труждающихся и обремененныхъ“ понеслась „про желанную свободу дорогая вѣсть“:

Разбита рабства цѣпь. Вставайте, мертвецы!  
Вставайте, Лазари, изъ гроба вѣковаго,  
Гдѣ вы родилися, гдѣ отжили отцы!  
Прощенье прошлому! Забвеніе былого!  
Оплоть косявнія и порчи сокрушень.  
На свѣтъ, на Божій свѣтъ скорѣе выходите!  
Граждане новыя, привѣтъ вамъ и поклонъ!

„Милліоны живыхъ мертвецовъ воскресли“. Онъ всталъ, этотъ русскій богатырь, въ которомъ вѣка „громадныя силы угрюмо покоились“, разогнулъ могучую спину и, осѣнивши себя крест-

нымъ знамениемъ, бодро вышелъ на „свободный трудъ, залогъ домашняго благополучія и блага общественнаго“.

„Да, это была удивительная весна,—говоритъ Джаншievъ, „первый историкъ“ „эпохи великихъ реформъ“,—истинно красная весна воистину незабвеннаго 1861 года!..“ „Благодатный геній свободы“, ...„мощнымъ взмахомъ своего волшебнаго жезла, приносилъ свѣтъ и радость въ эту холодную печальную страну рабства и кнута, возвращая ея многомилліонному обездоленному населенію первоосновныя права человѣка, права, безъ коихъ онъ перестаетъ быть человѣкомъ; въ страну,

Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ  
Завидовалъ житію послѣднихъ барскихъ псовъ

и гдѣ въ весну бѣ года общій поилецъ-кормилецъ русской земли, забитый, изстрадавшійся „Иванушка“ впервые вздохнулъ свободно и „дерзнулъ“ *громко засмѣяться*, согрѣтый лучами занимавшейся зари свободы<sup>1)</sup>... „Рѣдко или лучше никогда еще смертному не доводилось совершить дѣло столь важное и благородное, какъ то, которое совершилъ Александръ II, возвратившій однимъ почеркомъ пера 23-мъ милліонамъ ихъ права“. Такъ *Кельнская Газета* формулировала настроеніе европейскаго Запада по поводу раскрѣпощенія русскихъ крестьянъ. Самъ „царь-освободитель“ день объявленія „воли“ (5 марта) называлъ „лучшимъ днемъ“ своей жизни; и едва ли будетъ преувеличеніемъ сказать, что подъ такой оцѣнкой великаго дня свободы подписались бы всѣ дѣятели этой величайшей изъ великихъ реформъ. „Дожили до этого дня,—писалъ И. С. Тургеневъ, бывшій въ ту пору за границей,—а все не вѣрится, и лихорадка колотитъ, и досада душитъ, что не на мѣстѣ“.

„Кусокъ разбитой цѣпи на бѣлой мраморной плитѣ всего лучше шелъ бы къ вашей славы“, говорилъ Тургеневу одинъ изъ многочисленныхъ почитателей его таланта—иностранцевъ, выражая идею памятника великому русскому писателю. Мы знаемъ, Тургеневъ не одинъ разбилъ тѣ цѣпи, которыми „кручены“ были мужицкія руки, не одинъ снялъ желѣзо, которымъ были „кованы“ мужицкія ноги, не одинъ сбросилъ съ пьедестала „кумиръ неволи“, не одинъ „сломилъ ту силу, что умы сковала“... „Растоптали врага“ дружнымъ натискомъ многіе „ратники добра“... А онъ двинулся однимъ изъ первыхъ, красивый, сильный, зача-

<sup>1)</sup> Цит. соч., стр. 119—120.

ровывая всѣхъ, кто шелъ за нимъ нѣжными, но мощными звуками „великой скорбной симфоніи“. Въ ней, въ этой пѣснѣ любви, „была и неподдѣльная, глубокая страсть и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-безпечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ ней, и такъ и хватала за сердце, хватала прямо за его русскія струны“.

Такое дѣйствіе „поэмы изъ крѣпостного быта“ на умы и сердца хорошо понимали тѣ, кому „вѣдать сіе надлежитъ“. Изученіе текста рассказовъ, какъ они напечатаны въ „Современникѣ“, показываетъ, что „цензура очень многое и урѣзывала въ тургеневскихъ очеркахъ, такъ что читатели „Современника“ въ цѣломъ рядѣ рассказовъ мѣстами читали то, что не писалъ Тургеневъ, а мѣстами не читали того, что имъ написано. Когда же въ изданіи 1852 г. авторъ возстановилъ свой подлинный текстъ и книга была напечатана благодаря широкому и просвѣщенному взгляду московскаго цензора, кн. В. В. Львова, цензурное вѣдомство не оставило дѣла безъ вниманія: кн. Львовъ былъ уволенъ, судя по имѣющимся даннымъ, если не прямо за пропускъ „Записокъ Охотника“, то и не безъ связи съ этимъ поступкомъ. Мало того, о выпускѣ отдѣльнаго изданія 1852 г. было особое разсужденіе въ цензурномъ вѣдомствѣ, и одинъ изъ цензоровъ писалъ о нихъ въ своемъ докладѣ слѣдующее: „Вникнувъ внимательно въ содержаніе этихъ записокъ и обсудивъ ихъ со всѣхъ сторонъ, невольно придешь къ заключенію, что при изданіи оныхъ г. Тургеневъ, человекъ, какъ извѣстно, богатый, конечно, не имѣлъ въ виду прибыли отъ продажи своего сочиненія, но, вѣроятно, имѣлъ совершенно другую цѣль, для достиженія которой и напечаталъ помянутую книгу... Мнѣ кажется, что книга Тургенева сдѣлаетъ болѣе зла, чѣмъ добра... Полезно ли, напримѣръ, доказывать нашему грамотному народу, что крестьяне наши, которыхъ авторъ до того опоэтизировалъ, что видятъ въ нихъ администраторовъ, рационалистовъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ (Богъ знаетъ, гдѣ онъ нашелъ такихъ!), что крестьяне эти находятся въ угнетеніи, что помѣщики ведутъ себя неприлично и противозаконно, что исправники и другія власти берутъ взятки или, наконецъ, что крестьянину жить на свободѣ привольнѣе, лучше“ <sup>1)</sup>...

<sup>1)</sup> Эта интересная и цѣнная работа сличенія подцензурнаго текста „Записокъ“ въ „Современникѣ“ и подлиннаго текста въ отдѣльномъ изданіи 1852 г. сдѣлана г. Грузинскимъ („Научное Слово“, кн. VII, 1903, цит. ст. „Къ исто-

Да, въ общей освободительной работѣ онъ стоитъ на видномъ, высокомъ посту, — этотъ мощный „заступникъ“ рабовъ-людей, и потому едва ли можно преувеличить дѣйствительно огромное значеніе „Записокъ Охотника“, которыя были и остались „самымъ замѣчательнымъ произведеніемъ“ (А. Н. Пыпинъ) Тургенева. Скорѣе можно опасаться другого, — что мы не переживемъ этого обаянія „изящной правды“ съ тою силой, съ какою втѣснялась она въ сознаніе людей, „рожденныхъ въ двадцать пятомъ году и около того“, не ощутимъ въ ней того аромата жизни, тонкаго и сильнаго, который страстно вдыхали современники Тургенева, „прошедшіе черезъ цензуру незабываемыхъ годовъ“.

Хотѣлось бы думать, что тому, кто эти строки читаетъ послѣ обзора содержанія „Записокъ Охотника“, даннаго на предшествующихъ страницахъ, станетъ ближе, роднѣе это „самое замѣчательное изъ произведеній“ Ивана Сергѣевича Тургенева, и онъ душой переживетъ „изящную правду“ честныхъ словъ „заступника народнаго“: „Если бы я гордился подобными вещами, — говорилъ самъ И. С. Тургеневъ, — я попросилъ бы только объ одномъ: чтобы на моей могилѣ изобразили, что сдѣлала моя книга для освобожденія рабовъ. Да, я попросилъ бы только объ этомъ“...

---

ріи „Записокъ Охотника“ Тургенева“). Вотъ нѣкоторыя цензурныя исправленія:

было у Тургенева (рассказъ „Малиновая вода“):

„Племяннику моему лобъ забрили: на новое платье щеколатъ ей оброниль...“

Исправлено: „племянника моего шибко тормошили“...

У автора: „Жена Власа свиститъ съ голоду въ кулакъ“.

Исправлено: „Ждетъ не дождется мужа“.

Помѣщику Пѣночкину воспрещено было именоваться *гардейскимъ* офицеромъ.

Въ рассказѣ „Лебедянь“ бѣлокурый офицерикъ, ставшій прихлебателемъ князя, замѣненъ какимъ-то „бѣлокуримъ молодымъ человѣкомъ“. Въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда съ самаго начала заботливо вытравлены всѣ слова въ родѣ: „дворянинъ“, „помѣщикъ“, такъ что изображается съѣздъ просто какихъ-то „гостей“; затѣмъ улучшена наружность двухъ военныхъ (авторъ писалъ: „съ благородными, но нѣсколько изношенными лицами“, послѣ цензурнаго туалета осталось: „съ весьма благородными лицами“).

II.

Николай Алексѣевичъ  
Некрасовъ.





## ГЛАВА I.

# Раненое сердце.

---

30 лѣтъ тому назадъ (27 дек. 1877 г.) въ „тяжкихъ, невыносимыхъ мукахъ“, „послѣ тяжелой агоніи, продолжавшейся болѣе полусутокъ“, умеръ Н. А. Некрасовъ, умеръ „печальникъ горя народнаго“.

„Это было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, разъ на всю жизнь,—писаль о немъ Достоевскій,—и незакрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, такъ часто, долѣ его“. Некрасовъ говорилъ ему „со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери“, рассказываль о „дѣтскихъ слезахъ, дѣтскихъ рыданіяхъ вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ-нибудь украдкой, чтобы не видали, съ мученицей матерью“. Позднѣе Некрасовъ рассказалъ и всѣмъ о ней, о „матери-страдалицѣ“, воспѣль „любовь, святые муки, борьбу“ „подвижницы“.—Воспроизведемъ въ существенномъ эту поэтическую повѣсть; она—документъ чрезвычайной цѣнности: въ воспоминаніяхъ Некрасова о матери ярко обрисовывается начало его жизни и вмѣстѣ начало его „страстной до мученія любви ко всему, что страдаетъ“.

---

I.

„Тяжелый сонъ“.

Нѣтъ, мой восходъ не лучезаренъ...

Отецъ поэта, сынъ небогатаго ярославскаго помѣщика, служилъ въ арміи. По должности адъютанта ему часто приходилось бывать въ Кіевѣ, въ Одессѣ, въ Варшавѣ. Случайно познакомился онъ съ семействомъ богатаго польскаго магната, Андрея Закревскаго, и женился на старшей дочери его, Александрѣ Андреевнѣ, противъ воли ея родителей. Закревскихъ знала „вся Варшава“, и понятно, что ихъ любви и гордости былъ нанесенъ страшный ударъ; та, „чьей руки искали, какъ славы“, „увлеклась армейскимъ офицеромъ, увлеклась красивымъ дикаремъ“.

Мать писала дочери, „съ слезами заклинаній молила“ „бѣглянку“ вернуться въ семью:

О, дочь моя! Что сдѣлала ты съ нами?  
Кому, кому судьбу ты отдала?  
Какой странѣ родную предпочла?  
...Тамъ свой девизъ: „любить и бить“...  
Какая жизнь! Полотна, тальки, куры  
Съ несчастныхъ бабъ; сосѣди-дикари,  
А жены ихъ—безграмотныя дуры...  
Сегодня пиръ... Псари, псари, псари!..  
Пой, дочь моя! Средь самаго разгара  
Твоихъ руладъ, не выдержавъ удара,  
Валится рабъ... Засмѣйся, всѣмъ смѣшно...

Такъ молила мать. „Звала семья“. „Грозилъ отецъ“. На мольбы и угрозы дочь „молчаньемъ отвѣчала“, „своимъ путемъ пошла безстрашно“... и... „тяжелый крестъ достался ей на долю“:

Въ иномъ краю, не менѣе несчастномъ,  
Но менѣе суровомъ, рождена  
На сѣверѣ угрюмомъ и ненастномъ  
Въ осьмнадцать лѣтъ ужъ ты была одна.  
Тотъ разлюбилъ, кому судьбу вручила,  
Съ кѣмъ въ чуждый край довѣрчиво пошла,  
Ужъ онъ не твой...

Лучшія, нѣжныя и чистыя волненія любящаго сердца ударились о суровую, грубую и грязную русскую дѣйствительность „крѣпостной, помѣщичьей полосы“, — той самой, что въ душѣ Тургенева возбуждала „чувства смущенія, негодованія, отвращенія“:

А новый край? Ты, чистая, святая,  
Ты, кроткая, съ мечтательнымъ умомъ,  
О, что кругомъ ты видѣла, родная...  
Какъ ты была подавлена!..

И разбилось оно, это чистое сердце, о „наслѣдственные нравы“ „властелина“ — „угрюмаго невѣжды“, девизъ котораго „любить и бить“...

Но эта измѣна „красиваго дикаря“ была только „началомъ болѣзней“, ими кишѣла наша „старая“, „игомъ рабства клейменная“ Русь, въ которой, волею судьбы, оказалась гуманная и образованная польская панна: „тамъ душно, тамъ пустыня“. „Вся Варшава“, блестящая, аристократическая Варшава, и „въ невѣдомой глуши“ „полудикая деревня“,

Гдѣ жизнь, безплодна и пуста,  
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,  
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства,  
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ  
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ...  
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій  
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій!..

и гдѣ, „любя, прощая, чуть дыша, угасаетъ, какъ рабыня, святая женская душа“.

Какой ужасный переходъ! Нужна поистинѣ гигантская сила духа, чтобы остаться въ этой удушающей и „мерзостей полной“ обстановкѣ „гордой, угрюмой, прекрасной“, чтобы за превышающими мѣру человѣческихъ силъ своими страданіями не забыть обязанностей матери и помѣщицы, чтобы всю свою несчастную жизнь отдать на беззавѣтное служеніе еще болѣе несчастнымъ и — „все, что вынести достало силъ, въ предсмертномъ шопотѣ простить губителю“. Тяжелый, крестный путь, но — и величайшій подвигъ самоотверженной любви! „Мать Некрасова, — говоритъ Мельшинъ, — умѣла не только плакать и „легкой тѣнью“ бродить по липовымъ аллеямъ грешневскаго сада; не умѣя бороться активно, она въ высокой степени обладала способностью борьбы пассивной, она была „горда и упорна“ (качество, всецѣло унаслѣдованное и ея сыномъ-первенцемъ). Она могла терпѣть, нести

свой крестъ „въ молчаніи рабы“, но жила и дѣйствовала все-таки по-своему, такъ, какъ подсказывало ей любящее сердце... Осужденная сама на страданія, за страданія же полюбила она и свою новую родину“ <sup>1)</sup>).

Гремѣль рояль,

вспоминаетъ Некрасовъ,

И голосъ твой печальный  
Звучалъ, какъ вопль души многострадальной;  
Но ты была равна и весела:  
„Несчастлива я, терзаемая другомъ,  
Но передъ тобой, о женщина-раба!  
Передъ рабомъ, согнувшимся надъ плугомъ,  
Моя судьба—завидная судьба!  
Несчастлива ты, о родина! я знаю:  
Весь край въ крови, весь заревомъ объять...  
Но край, гдѣ я люблю и умираю,  
Несчастнѣе, несчастнѣе стократъ!“

Такъ, „подвижничества цѣпи“ не угасили духа, не сломили „гордой и упорной души“, не замкнули ее въ узкій кругъ разочарованія и бесплодныхъ думъ о потерянномъ счастьѣ; и оттого

Не вотще среди безводной степи  
Струился ключъ: онъ жаждущихъ поилъ...  
И не вотще любовь твоя сіяла...

Въ смутномъ воспоминаніи о матери Некрасова одного изъ старожиловъ родного села поэта барыня представляется существомъ „хрупкимъ, худенькимъ, нѣжнымъ“. „Добрая была барыня,— часто упрашивала мужа простить, если онъ кого хотѣлъ высѣчь“. Правда, „властелинъ“ нерѣдко отказывалъ „доброй барынѣ“ въ исполненіи ея просьбъ, отвѣчалъ на нихъ поучительными сентенціями, взятыми изъ крѣпостническаго домостроя, въ родѣ слѣдующихъ: „нѣтъ, сама себя раба бьетъ“, или: „если бы на крапиву не морозъ, она и зимой бы жглась“, правда, говоритъ поэтъ, обращаясь къ матери,

Обречена на скромную борьбу,  
Ты не могла голодному дать хлѣба,  
Ты не могла свободы дать рабу.  
Но лишній разъ не сжало чувство страха  
Его души—ты то дала рабамъ—  
Но лишній разъ изъ трепета и праха  
Онъ поднялъ взоръ бодрѣе къ небесамъ...

<sup>1)</sup> „Очерки русской поэзіи“, изд. 1904 г., стр. 110—111.

Быть может, даръ бѣднѣ капли въ морѣ,  
Но—двадцать лѣтъ! Но тысячамъ сердце,  
Чей идеаль—убавленное горе,  
Границы зла открыты наконецъ!

Но не только крестьянъ,—несчастной матери выпало на долю „грудью своей защищать любимыхъ дѣтей“. „Къ дѣтству нисходя, ту жизнь припоминая“, Некрасовъ съ восторгомъ и умилениемъ свидѣтельствуемъ о матери: „была ты нянею моей и ангеломъ-хранителемъ, родная!“ Некрасову видится „невѣдомая глушь“, „деревня полудикая“:

Я росъ средь буйныхъ дикарей,  
И мнѣ дала судьба по милости великой  
Въ руководители псарей.  
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,  
Боролись страсти нищеты...

Въ такихъ ужасныхъ условіяхъ проходила для Некрасова „счастливая невозвратимая пора дѣтства“. Вотъ одно изъ воспоминаій его о немъ:

Рога трубятъ ретиво,  
Пугая ранній сонъ дѣтей,  
И воютъ псы нетерпѣливо...  
До солнца съѣли на коней—  
Ушли... Орды вооруженной  
Не видятъ глазъ, не слышатъ слухъ,  
И бѣдный домъ, какъ осажденный,  
Свободно переводитъ духъ.  
Мѣняя быстро постъ невольный  
На празднословье и вино,  
Спѣшить забыться рабъ довольный  
Но есть одна: ей все равно!  
Въ ея душѣ свѣтлѣй не станеть,  
Все тотъ же мракъ, все тотъ же гнеть:  
И сонъ перерванный не манить,  
И утро къ жизни не зоветъ.  
Скорѣй, затворница нѣмая,  
Рыданьемъ душу отведи!  
Терпи любя, терпи прощая,  
И лучшей участи не жди!  
Осаду не надолго сняли...  
Вотъ вечеръ—снова рогъ трубить.  
Примолкнувъ, дѣти побѣжали,  
Но мать остаться имъ велить.  
Ихъ взоръ унылъ, невнятенъ лепеть...

Опять содомъ, тревога, трепеть!  
А ночью свѣчи зажжены,  
Обычный пиръ кипитъ мятежно,  
И блѣдный мальчикъ, у стѣны  
Прижавшись, слушаетъ прилежно  
И смотритъ жадно (узнаю  
Привычку дѣтскую мою...)  
Что слышитъ? Пѣсни удалыя  
Подъ топотъ пляски удалой;  
Глядитъ, какъ чаши круговыя  
Пустѣютъ быстрой чередой;  
Какъ на лету куски хватаютъ  
И ротъ захлопываютъ псы;  
Какъ на тѣни растутъ, киваютъ  
Большіе дядины усы...  
Смѣются гости надъ ребенкомъ  
И чей-то голосъ говорить:  
„Не правда ль, онъ всегда глядитъ  
Какимъ-то травленнымъ волчен-  
комъ?  
Поди сюда!“ Блѣднѣетъ мать;  
Волченокъ смотреть и ни шагу.  
„Упрямство надо наказать—  
Поди сюда!“ Волченокъ тягу...  
Ату его!..

Тяжелый сонъ!

Нѣтъ, мой восходъ не лучезаренъ...

Такова тяжелая обстановка, въ которой прошло дѣтство Некрасова. „Грубья черты“ этой „жизни безобразной“, по собственному признанію писателя, ложились на его душу. Но рядомъ съ этими „грубыми чертами“ прошли глубокія борозды идей и настроеній матери-страдальницы. Тамъ, гдѣ отецъ, „темное царство“ кулака и кнута, невѣжества и „жестокихъ нравовъ“, здѣсь—чистая и свѣтлая лазурь любви и разума; ядовитымъ порокомъ дышалъ тамъ ребенокъ, а здѣсь „спасалъ живую душу“.

Въ воспоминаніяхъ Некрасова образъ его матери встаетъ предъ нами такимъ умирительно кроткимъ и вмѣстѣ такимъ величаво-прекраснымъ и мощнымъ, что зритель въ чувствѣ какого-то благоговѣйнаго восторга преклоняется передъ нимъ и вѣрить въ силу и красоту человѣческой души. Смотрите—вотъ она:

Треволненья мірскаго далекая,  
Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ,  
Блѣднолицая, русокудрая, голубокая  
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ.  
Подъ грозой величаво безгласная,  
Прекрасная...

Этотъ образъ дѣйствительно дышитъ неземной красотой, отъ него вѣетъ чѣмъ-то высокимъ и возвышающимъ, и кажется, что если бы перевести на полотно этотъ, святой красой обвѣянный, „болѣзненно-печальный“ ликъ, онъ глядѣлъ бы на насъ съ холста точно прекрасная мадонна великаго итальянскаго маэстро.

Но эта величавая, святая красота не оставалась равнодушной къ земнымъ тревогамъ и страданіямъ, ей не были скучны скорбныя „пѣсни земли“. Къ мученицѣ-паннѣ такъ идутъ слова, исторгшіяся изъ любящаго сердца ея талантливой соотечественницы:

Нѣтъ, я не стану на той высотѣ,  
Гдѣ передъ взоромъ, на міръ устремленнымъ,  
Гибнетъ, блѣднѣя, земля въ ничетѣ  
Радуги яркой лучомъ отдаленнымъ.  
Раненой птицей я буду летать  
Низко надъ гибнущей въ мукахъ землю,  
Чтобъ милліоны гонимыхъ судьбою  
Къ сердцу могла я прижать.

„Стоны и вопли живыхъ мертвецовъ“, среди которыхъ оказалась дочь польскихъ магнатовъ, вдохновляли и животворили этотъ „болѣзненно-печальный“ ликъ, онъ исполнялся нравственной энергіи, духовной мощи, и „легкая тѣнь“ мадонны порой отдѣлялась отъ холста и „гордо и упорно“, женщиной-героиней

шла въ жизнь для непреклонной борьбы со зломъ и неправдой за любовь и правду-царицу.

Ты жребій свой несла въ молчаніи рабы,

говоришь Некрасовъ, обращаясь къ матери,

Но знаю: не была душа твоя безстрастна;

Она была горда, упорна и прекрасна.

...Всю ты жизнь прожила нелюбимая,

Всю ты жизнь прожила для другихъ.

Съ головой, бурямъ жизни открытою,

Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою

Простояла ты...

Такъ, духовная красота и нравственная мощь соединились въ этой „подвижницѣ“, точно для того, чтобы показать на живомъ человѣкѣ то необходимое, то единое на потребу, безъ чего идеаль женщины-человѣка немислимъ. Въ ней, въ этой душѣ, „горящей алмазомъ, раздробленнымъ на тысячу крупичъ въ величѣ дѣль, неуловимыхъ глазомъ“,—въ ней поражаетъ эта неистощимая, безгранично-могучая сила самоотверженной любви, той любви, которая „сильнѣе смерти и страха смерти“, той любви, которая умѣетъ не только терпѣть и страдать, но и дѣлательно сострадать, или, какъ говоритъ Некрасовъ, „погибать за великое дѣло любви“. Ея страдальческая жизнь дѣйствительно даетъ „урокъ желѣзной воли“.

Но этими стихійными, если можно такъ выразиться, силами не исчерпывается полнота человѣческаго духа, который есть жизнь и, слѣдовательно, движеніе. Эти природой данныя силы, чтобы найти достойное человѣка примѣненіе, должны получить надлежащее развитіе, и тутъ рядомъ съ природой выступаетъ новый факторъ жизни—образование. Только оно одно обезпечиваетъ человѣку свѣтлую и прекрасную, но и трудно достижимую возможность быть человѣкомъ; только съ нимъ, истинно-гуманнымъ образованіемъ, человѣческое существо души нашей не ветшаетъ, не покрывается „плѣсенью и тиной“ житейскихъ мелочей, только на этомъ фундаментѣ стоятъ „недвижными“ тѣ вѣчныя истины, безъ которыхъ жизнь человѣческая—„безмысленный водоворотъ“.

Мать Некрасова получила прекрасное образованіе; съ свѣточемъ мысли и знанія она твердой поступью шла въ потемкахъ русской жизни. Некрасовъ вспоминаетъ:



...Я книги перебралъ, которыя съ собой  
Родная привезла когда-то издалека,  
Замѣтки на поляхъ случайныя читаль.  
Въ нихъ жилъ пытливый умъ, вникающій глубоко...

...О, мать - страдальца!..

Та блѣдная рука, ласкавшая меня,  
Когда у догоравшаго огня  
Въ младенчествѣ я сиживалъ съ тобою,  
Мнѣ въ сумерки мерещилась порою,  
И голосъ твой мнѣ слышался впотѣмахъ,  
Исполненный мелодіи и ласки,  
Которымъ ты мнѣ сказывала сказки  
О рыцаряхъ, монахахъ, короляхъ...  
Потомъ, когда читалъ я Данта и Шекспира,  
Казалось, я встрѣчалъ знакомыя черты:  
То образы изъ ихъ живого міра  
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.  
И сталъ я понимать, гдѣ мысль твоя блуждала,  
Гдѣ ты душой, страдальца, жила,  
Когда кругомъ насилье ликовало  
И стая псовъ на псарнѣ завывала,  
И вьюга въ окна била и мела...

Такъ, „свѣтъ души высокой сіялъ“ для ребенка „среди пол-  
ночи глубокой“. „То, какъ говорилъ онъ о своей матери,—писалъ  
вскорѣ послѣ смерти Некрасова Достоевскій, вспоминая начало  
своего знакомства съ поэтомъ,—та сила умиленія, съ которою  
онъ вспоминалъ о ней, рождала уже и тогда предчувствіе, что  
если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло  
бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже  
въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, ко-  
нечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣт-  
скихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ-нибудь  
украдкой, чтобъ не видали, съ мученицей-матерью, съ существомъ  
столь любившимъ его“. И дѣйствительно плѣнительная, много-  
страдальная тѣнь мученицы-матери, воплотившей идеаль любви  
и правды, эта священная для памяти сына тѣнь ангеломъ-храните-  
лемъ рѣяла всю жизнь надъ Некрасовымъ и, по его собственному  
свидѣтельству, спасала въ немъ его живую душу:

И если я легко стряхнулъ съ годами  
Съ души моей тлетворные слѣды  
Поправшей все разумное ногами,  
Гордившейся невѣжествомъ среды,  
И если я наполнилъ жизнь борьбою  
За идеаль добра и красоты

И носить пѣснь, слагаемая мною,  
Живой любви глубокия черты,—  
О, мать моя, подвигнуть я тобою!  
Во мнѣ спасла живую душу ты!  
И счастливъ я...

Такъ, здѣсь, гдѣ „что-то всѣхъ давило“ „и только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ, свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ“, здѣсь, въ „краю родимомъ“, начало того „рокового“, что позднѣе выросло въ цѣлую драму и „опутало“ душу писателя, „довременно убитую“, „довременно-растлѣнную“, „мертвящими оковами“. Но здѣсь же родилась и выросла его „сильная и любвеобильная“ душа, рвавшаяся къ „обиженнымъ, униженнымъ“...

Уже тогда „въ сердцѣ мальчика съ любовью къ бѣдной матери любовь ко всей вахлачинѣ слилась“, уже тогда онъ „твердо зналъ“, что „будетъ жить для счастья убогаго и темнаго родного уголка“.

## II.

### Пробужденіе.

Нѣтъ, въ юности моей, мятежной и  
суровой,

Отраднaго душѣ воспоминанья нѣтъ!

Дѣтство тревожное и скорбное смѣнила юность „мятежная и суровая“. Не стало свѣтлѣе на душѣ у Некрасова въ эти дни, „извѣстные подъ громкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ“, и воспоминанья о нихъ наполняютъ грудь его „и злобой и хандрой“. Не радостенъ былъ этотъ разсвѣтъ мысли для Некрасова, острой болью въ чуткой душѣ отзывались первыя думы о жизни. Онъ узналъ, отчего плакала мать, скрывая „межъ вѣтвей въ аллеѣ дальней“ свой ликъ „болѣзненно-печальный“; узналъ, что жизнь ея сгубилъ отецъ—„угрюмый невѣжда“; узналъ, что съ матерью, „страдалицей безгласной“, „и горе и позоръ судьбы ея ужасной“ дѣлила сестра; что „изъ дома крѣпостныхъ любовницъ и псарей“, „гонимая стыдомъ“, она „жребій свой вручила тому, котораго не знала, не любила“... Это узнать не легко, не легко видѣть, какъ гибнуть въ „глухомъ и вѣчномъ гулѣ подавленныхъ страданій“ дорогіе люди, еще тягостнѣе знать, что губить ихъ родной отецъ, и мучительно тяжело только видѣть и знать и не имѣть возможности что-либо слѣлать.

Не стало легче жить и потомъ, когда изъ „деревни полудикой“ Некрасовъ оказался въ столицѣ среди „громадъ красивыхъ“, съ паспортомъ „недоросля изъ дворянъ“. Ему не было еще 17 лѣтъ. Юность „всегда мила, всегда ясна.. не бѣдняку“. А Некрасову пришлось знакомиться съ столичной жизнью „въ пріютахъ нищеты печальныхъ“. Отецъ хотѣлъ видѣть сына военнымъ, сынъ предпочелъ „фронтальной шагистикѣ интеллектуальную карьеру“. Разгнѣванный отецъ объявилъ послушнику сыну, чтобы онъ не рассчитывалъ ни на одну копейку родительской помощи, и Некрасовъ сталъ въ ряды интеллигентнаго пролетариата. „Ровно

три года,—разсказывалъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отпраивался въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ дозволяли читать газету, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“. Долгое и постоянное голоданіе разрѣшилось, наконецъ, болѣзнию, настолько серьезной, что Некрасовъ былъ приговоренъ къ смерти. Молодой и крѣпкій организмъ однако справился съ болѣзнию, только жить стало еще труднѣе: хозяинъ, какой-то отставной унтеръ-офицеръ, которому задолжалъ Некрасовъ за время болѣзни, взялъ за долгъ его „чемо-данъ, книги и остальные вещицки“ и отказалъ ему въ квартирѣ. „Мнѣ стало лучше,—разсказываетъ Некрасовъ,—и я вскорѣ настолько уже оправился, что рѣшился пойти къ одному знакомому студенту медуку. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до поздняго вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью—въ октябрѣ или ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ: говорятъ, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ... Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не со-знавая куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ, уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, сжалился надо мною и пригласилъ меня съ собой куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный, полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищіе, которые собрались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 копеекъ“.

Юноша мечталъ увидѣть въ столицѣ „друзей народа и свободы“, „городъ шумный“ рисовался ему „ареной дѣятельной силы, пытливой мысли и труда“; но „безпріютнаго“ не порадовалъ онъ: „опоясанный гробами“, онъ показался ему „глубокимъ омутомъ“, гдѣ гибло все, что „зелено и блѣдно, несчастно, голодно и бѣдно, что ходитъ, голову склоня“. Некрасову пришлось отказаться на

время отъ исполненія еще въ дѣтствѣ данной клятвы—служить несчастному народу, чья жизнь текла „рѣкою рабства и тоски“; изо дня въ день онъ велъ срочную, плохо оплачиваемую журнальную работу, лишь бы не умереть съ голода. „Восемь лѣтъ боролся онъ съ нищетой, видѣлъ лицомъ къ лицу голодную смерть, въ 24 года уже былъ надломленъ работой изъ-за куска хлѣба“, и эта „грязная положительность“, по свидѣтельству Бѣлинскаго, сдѣлала то, что Некрасовъ „никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ“. „Истый сынъ своей родины, Ярославскаго Поволжья“ (Скабичевскій), онъ „прикинулъ“ эти „дворцы, и храмы и мосты“; и постигнулъ „родство роковое межъ этимъ блескомъ и собой“; онъ понялъ, что это величїе „фасада“ достигается насчетъ „заботы трудной и недовольной нищеты“ такихъ же безпрїютныхъ, какъ и онъ, и еще яснѣе стала ему его жизненная задача, наполнявшая его сердце „тревогой смутной“— „отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, обогряющихъ руки въ крови“ итти „въ станъ погибающихъ за великое дѣло любви“. „Разница межъ добромъ и зломъ“ дѣлалась ему все понятнѣе; гордый и упорный, онъ шелъ, пусть и спотыкаясь, туда, гдѣ, вдохновенные и сильные, сомкнулись въ небольшой дружинѣ „ратники добра“.

Во главѣ ея „воиномъ-застрѣльщикомъ“ шелъ „неистовый Виссаріонъ“, Некрасовъ сталъ его восторженнымъ ученикомъ и послѣдователемъ. „Жаль, что вы сами не знали этого человѣка,— говорилъ Некрасовъ Добролюбову, вспоминая свои отношенія къ великому критику.— Я съ каждымъ годомъ все сильнѣе чувствую, какъ важна для меня его потеря. Я чаще сталъ видѣть его во снѣ, и онъ живо рисуется передъ моими глазами. Ясно припоминаю, какъ мы съ нимъ вдвоемъ часовъ до двухъ ночи бесѣдовали о литературѣ и о разныхъ другихъ предметахъ. Послѣ этого я всегда долго бродилъ по опустѣлымъ улицамъ въ какомъ-то возбужденномъ настроеніи, столько было для меня новаго въ высказанныхъ имъ мысляхъ... Вы вотъ вступили въ литературу подготовленнымъ, съ твердыми принципами и ясными цѣлями. А я?.. Заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду! Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было оупѣть, чѣмъ развиться. Моя встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Что бы ему пожить подольше! Я бы былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ теперъ!“ Въ какомъ направленіи шло вліяніе Бѣлинскаго, объ этомъ Некрасовъ го-

ворить въ извѣстныхъ стихахъ, обращенныхъ къ „многостра-  
дальной тѣни“ „учителя“:

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,  
Дремля и раболѣпствуя позорно,  
Твой умъ кипѣлъ—и новыя стези  
Прокладывалъ, работая упорно.

Ты не гнушался никакимъ трудомъ:  
„Чернорабочій я—не бѣлоручка!“  
Говаривалъ ты намъ и напроломъ  
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!

Ты насъ гуманно мыслить научилъ,  
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ,  
Едва ль не первый ты заговорилъ  
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...

Не даромъ ты, мужая по часамъ,  
На взглядъ глупцовъ казался переменчивъ;  
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,  
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчивъ.

Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,  
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,  
Самимъ собой и жизнью до конца  
Святое недовольство сохраняя...

„Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала,—говорить Достоев-  
скій,—и, можетъ быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи“. Оно—это настроеніе—энергично толкнуло молодого писателя и понесло его прочь отъ „дороги стяжанья“, отъ „тропки торной“ къ „работѣ упорной“ для блага тѣхъ,

Кто все терпитъ во имя Христа,  
Чьи не плачутъ суровыя очи,  
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,  
Чьи работаютъ грубыя руки,  
Предоставивъ почтительно намъ  
Погружаться въ искусства, науки,  
Предаваться мечтамъ и страстямъ;  
Кто бредеть по житейской дорогѣ  
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи  
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ  
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи!..

И сталъ думать поэтъ:

Есть времена, есть цѣлыя вѣка,  
Въ которые нѣтъ ничего желаннѣе,  
Прекраснѣе терноваго вѣнка...

Нѣтъ въ жизни праздника тому,  
Кто не трудится въ будень.

Годы юности и молодости Некрасова—именно такое время— „будень“ русской исторіи. Его Некрасовъ такъ ярко изобразилъ въ бесѣдѣ между Мишей и Пальцовымъ, участниками „Медвѣжьей охоты“:

Миша.

Еще не скоро выйдетъ звѣрь...  
Покамѣсть приведемъ-ка въ ясность  
То время, какъ слова „свобода“, „гласность“,  
Которыми набили мы теперь  
Оскому, какъ неарѣлыми плодами,  
Не слышались и въ шутку между нами, •  
Когда считался звѣремъ либераль,  
Когда слова „общественное благо“  
И произнести нужна была отвага,  
Которою никто не обладалъ!  
Когда одни житейскія условия  
Сближали насъ, а попросту расчетъ,  
И лишь въ одномъ сливались всѣ сословья,  
Что дружно налегали на народъ...

Пальцовъ.

Великій вѣкъ, когда блисталь  
Среди безгласныхъ поколѣній  
Администраторъ - генераль  
И откупщикъ—кабачный геній!

Миша.

Ты, думаю, охоту на двуногихъ  
Засталь еще въ ребячествѣ своемъ.  
Слыхаль ты вопли стариковъ убогихъ  
И женщинъ, засѣкаемыхъ кнутомъ?  
Я думаю, ты былъ не полугода  
И не забылъ порядки тѣхъ временъ,  
Когда въ отвѣтъ стenanіямъ народа  
Мысль русская стонала въ полутонъ?

Пальцовъ.

Великій вѣкъ—великихъ мѣръ!  
„Не разсуждать—повиноваться!“  
Девизъ былъ общій; самъ Гомеръ  
Не могъ Омиромъ называться.

Миша.

Припомни, какъ въ то время золотое  
Учили насъ? Раздолье-то какое!  
Сынъ барина, чиновника, князька  
Настолько норовиль образоваться,  
Чтобъ на чужія плечи забираться  
Умѣть—а тамъ дорога широка!  
Три фазиса дворянское развитье  
Прекрасные являло намъ тогда:  
Въ дни юности—кутежь и стеклобитье,  
*Наука жизни*—въ зрѣлые года  
(Которую не въ школахъ европейскихъ—  
Мы черпали въ гостиныхъ и лакейскихъ)  
И, наконецъ, завѣтная мечта—  
Почетныя, доходныя мѣста...

Припомнилъ ты то время золотое,  
Котораго исчадье мы прямое,  
Припомнилъ?—Ну, такъ полюбуйся имъ!

Какъ яблоню качаетъ проходящій,  
Весь занятый минутой настоящей,  
Желаніемъ однимъ руководимъ —  
Набрать плодовъ и далѣ въ путь пуститься,  
Не думая, что много ихъ свалится,  
Которыхъ онъ не сможетъ захватить,  
Которые напрасно будутъ гнить:  
Такъ русское общественное древо,  
Кто только могъ, направо и налѣво  
Раскачивалъ, спѣша набить карманъ,  
Не думая о томъ, что будетъ далѣ...  
Мы всѣ тогда жирѣли, наживали,  
Всѣ... кромѣ, разумѣется, крестьянъ...

Въ это-то „время лихое“, въ эту темную „ночь, когда свободно рыскалъ звѣрь, а человѣкъ бродилъ пугливо“, съ свѣточемъ идеала въ сознаниіи вышелъ молодой писатель на арену жизни. Не сразу онъ разобрался въ потемкахъ „гнусной расейской дѣйствительности“; и не мудрено, въ ней и болѣе опытные теряли не разъ направленіе. И онъ „долго бродилъ, какъ слѣпой: кипѣлъ, желалъ, тратилъ силы“; но зрѣла гордая душа, острѣе становился взглядъ, и понялъ юноша свой жизненный долгъ и сказалъ самому себѣ:

...ты не Пушкинъ. Но покуда  
Не видно солнца ниоткуда,  
Съ твоимъ талантомъ стыдно спать.



Еще стыднѣй въ годину горя  
Красу долинь, небесъ и моря  
И ласку милой воспѣвать...  
...ты, поэтъ, избранникъ неба,  
Глашатай истинъ вѣковыхъ!  
Не вѣрь, что неимущій хлѣба  
Не стоитъ вѣщихъ струнь твоихъ!  
Не вѣрь, что вовсе пали люди:  
Не умеръ Богъ въ душѣ людей  
И вопль изъ вѣрующей груди  
Всегда доступенъ будетъ ей!  
Будь гражданинъ! Служа искусству,  
Для блага ближняго живи,  
Свой геній подчиняя чувству  
Всеобнимающей любви...  
Поэтомъ можешь ты не быть.  
Но гражданиномъ быть обязанъ.

И въ сознаниі своего „гражданскаго“ долга молодой писатель „безъ отвращенья, безъ боязни пошелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни, въ суды, въ больницы“...

И сталъ онъ „печальникомъ горя народнаго“, „вѣщимъ пѣвцомъ страданій и труда“ (Плещеевъ).

## ГЛАВА II.

### Заступникъ народный.

Народъ! народъ! Мнѣ не дано геройства  
Служить тебѣ, плохой я гражданинъ:  
Но жгучее святое безпокойство  
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!  
Люблю тебя, пою твои страданья...

Еще въ началѣ своего поэтического поприща Некрасовъ опредѣлилъ основные мотивы своей музыки,

неласковой и нелюбимой Музы,  
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,  
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ,  
Той Музы плачущей, болящей и скорбящей,  
Всечасно жаждущей, униженно просящей...  
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,  
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,  
Она пѣвала мнѣ—и полонъ былъ тоской  
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой.  
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго горя,  
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,  
Или тревожила младенческой мой сонъ  
Разгульной пѣснею... Но тотъ же скорбный тонъ  
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулѣ шумномъ.

Съ дѣтства начался этотъ „прочный и кровный союзъ“ съ „Музой мести и печали“:

Черезъ бездны темныя Насилія и Зла,  
Труда и Голода она меня вела,—  
Почувствовать свои страданья научила  
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила.

И у „дверей гроба“ Некрасовъ ее же видѣлъ—„эту блѣдную, въ крови, кнутомъ изсѣченную Музу“.

Это былъ человекъ „больной совѣсти“, по опредѣленію одного изъ „совѣстливыхъ“: „Некрасовъ никогда, въ сущности, не переставалъ чувствовать себя бариномъ-интеллигентомъ, находящимся въ неоплатномъ долгу передъ народомъ“ (Мельшинъ). Муза породнила этихъ „героевъ-рабовъ“ и стала „сестрой народа и его“.

Его чуткую душу изборозило съ раннихъ лѣтъ страданье „матери-страдалицы“; она стала для него и на всю жизнь осталась символомъ страданій „матери-родины“, и, переполнившись скорбью народной, разлилась по этимъ бороздамъ глубокимъ „рѣка тоски и рабства“. Онъ видѣлъ ее несчастной, какъ только началъ видѣть,—эту „убогую Русь“. Тамъ, на берегахъ родимой Волги, онъ „въ первый разъ“ услышалъ „вой“ народа-раба, тотъ „стонъ, что у насъ пѣсней зовется“.

Я былъ испуганъ, оглушенъ,  
разсказываетъ Некрасовъ,

Я знать хотѣлъ, что значить онъ—  
И долго берегомъ рѣки  
Бѣжалъ. Устали бурлаки,  
Котель съ расшивы принесли,  
Усѣлись—развели костеръ,  
И межъ собою повели  
Неторопливый разговоръ.  
—Когда-то въ Нижній попадемъ?—  
Одинъ сказалъ:—когда бь попасть  
Хоть на Илью... „Авось придемъ“,—  
Другой съ болѣзненнымъ лицомъ  
Ему отвѣтилъ.—Эхъ, напасть!  
Когда бы зажило плечо,  
Тянулъ бы лямку, какъ медвѣдь,  
А кабы къ утру умереть,  
Такъ лучше было бы еще...  
Онъ замолчалъ и наваничь легъ...

И съ тѣхъ поръ не покидалъ Некрасова этотъ „выражающій укоръ, спокойно безнадежный взоръ“. И горько-горько онъ рыдалъ, и называлъ онъ родную рѣку „рѣкою рабства и тоски“, и клялся онъ, и не было забвенья „обѣтамъ юношескихъ лѣтъ“. И съ тѣхъ поръ, „гдѣ народъ, тамъ и стонъ“ слышался чуткому уху народолобца.

„Родная земля!  
Назови мнѣ такую обитель,  
Я такого угла не видалъ,

Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель,  
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ?  
Стонеть онъ по полямъ, по дорогамъ,  
Стонеть онъ по тюрьмамъ, по острогамъ,  
Въ рудникахъ на желѣзной цѣпи;  
Стонеть онъ подѣ виномъ, подѣ стогомъ,  
Подѣ телѣгой ночуя въ степи;  
Стонеть въ собственномъ бѣдномъ домишкѣ,  
Свѣту Божьяго солнца не радъ;  
Стонеть въ каждомъ глухомъ городишкѣ  
У подѣзда судовъ и палатъ“.

И „въ отвѣтъ стenaniямъ народа“ застонала мысль его искренняго вдохновеннаго печальника; онъ сказалъ себѣ:

...пока народы

Влачатся въ нищету, покорствуя бичамъ,  
Какъ тощія стада по выжженнымъ лугамъ,  
Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза,  
И въ мирѣ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза!..  
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ,  
Въ то время какъ она ликуетъ и поетъ,—

стало его призваньемъ, и онъ лиру „посвятилъ народу своему“:

Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ,  
Но каждый въ бой иди! А бой рѣшитъ судьба...

И сталъ онъ въ пѣснѣ говорить о „суровой средѣ, гдѣ полкънныя люди живутъ и гибнутъ безъ слѣда и безъ урока для дѣтей“, гдѣ „кровавый трудъ, кровавая борьба“; сталъ пѣть страданья „терпѣньемъ изумляющаго“ народа, чья „судьба“—„за крошку хлѣба капля пота“, чей „удѣлъ,—безграмотство, безпутство, убожество и чувствомъ и умомъ“, чья „узда—налоги, трудъ, рекрутство“, чья „утѣха—водка съ дурманомъ“...

Правда, пѣсни о горѣ народномъ, о нуждѣ безысходной—не единственный мотивъ скорбной и гнѣвной музыки Некрасова; но онѣ, несомнѣнно, самый мощный, самый характерный и потому самый цѣнный мотивъ его лиры. „До сѣдинъ“ донесъ онъ „жгучее, святое безпокойство за жребій“ народа, его любилъ, его страданья пѣлъ; и, умирая, желалъ „въ такую могилу сойти, чтобы широкіе лапти народные къ ней проторили пути“...

Кто же этотъ народъ—„конекъ обычный“ некрасовской музыки? „Народъ, сосредоточивающій на себѣ все вниманье, всѣ тревоги и чаянья поэта,—говоритъ Мельшинъ,—есть совокупность всѣхъ трудящихся массъ населенія безъ различія классовъ и орудій

труда; на Некрасова нельзя смотрѣть поэтому какъ на пѣвца и адвоката исключительно крестьянскаго горя. Если послѣднее онъ воспѣвалъ, дѣйствительно, всего чаще и охотнѣе, то объясняется это вполне естественно и просто: крестьянство составляло во времена Некрасова (какъ, впрочемъ, и до сихъ поръ составляетъ) подавляющую по своей численности массу русскаго населенія и притомъ являлось главной жертвой царившаго зла. Страданья мужика были, такимъ образомъ, въ глазахъ Некрасова какъ бы символомъ страданій всего русскаго народа... Но всѣ забытые, всѣ обездоленные одинаково имѣли въ немъ своего пѣвца и друга"... <sup>1)</sup>—Постараемся намѣтить существенныя черты народной жизни, какъ ее изображаетъ Некрасовъ.

---

<sup>1)</sup> Цит. „Очерки“, стр. 172.

I.

**Жребій народа.**

Въ деревнѣ Босовѣ  
Живеть Якимъ Нагой,  
Онъ до смерти работаетъ,  
До полусмерти пьетъ.

Не дотерпѣть—пропасть,  
Перетерпѣть—пропасть!

„Сторона наша убогая“... „Болото, мохъ, песокъ—куда ни взглянешь“... „Безконечно унылы и жалки эти пастбища, нивы, луга“... „Холмы пологіе съ полями, съ сѣнокосами, а чаще съ неудобною заброшенной землей. Стоять деревни старыя, стоятъ деревни новыя, у рѣчекъ, у прудовъ“...—таковъ общій фонъ картины. Здѣсь природа скупа и сурова, рѣдко ласкою теплой и свѣтомъ веселымъ дарить. Зимой это—„унылая равнина“:

Въ бѣломъ саванѣ смерти земля,  
Небо хмурое, полное мглою...  
Отъ утра до вечерней поры  
Все однѣ предъ глазами картины:  
Видишь, какъ, обнажая бугры,  
Вѣтеръ снѣгомъ заноситъ лощины;  
Видишь, какъ эта снѣжная пыль,  
Непрерывной волной набѣгая,  
Подъ собой погребаетъ ковыль,  
Все губящей зимѣ помогая;  
Видишь, какъ подъ кустомъ иногда  
Припорхнеть эта малая пташка,  
Что отъ насъ не летитъ никуда—  
Любить скудный нашъ сѣверъ, бѣдняжка;  
Или, щелкая, стая дровцовъ  
Пролетитъ и насядетъ на ели;  
Слышишь дикіе стоны волковъ  
И визгливое пѣнье метели...  
Снѣжно—холодно—мгла и туманъ...

Долго, долго борется солнце съ этой „зимой все губящей“, и бываетъ нерѣдко, что зиму смѣняетъ „мокрая, холодная весна“:

...хоть волкомъ вой!  
Не грѣетъ землю солнышко,  
И облака дождливыя,  
Какъ дойныя коровушки,  
Идутъ по небесамъ.  
Согнало снѣгъ, а зелени  
Ни травки, ни листа!  
Вода не убирается,  
Земля не одѣвается  
Зеленымъ яркимъ бархатомъ,  
И, какъ мертвецъ безъ савана,  
Лежить подъ небомъ пасмурнымъ  
Печальна и нага!

И даже лѣтомъ суровъ „скудный“ нашъ сѣверъ. Смотрите:

Въ полномъ разгарѣ страда деревенская...  
Зной нестерпимый: равнина безлѣсная,  
Нивы, покосы да ширь поднебесная—  
Солнце нещадно палить.  
Бѣдная баба изъ силъ выбивается,  
Столбъ насѣкомыхъ надъ ней колыхается,  
Жалить, щекочетъ, жужжить!..

Или вотъ:

изъ болота волокомъ  
Крестьяне сѣно мокрое,  
Скосивши, волокутъ:  
Гдѣ не пробраться лошади,  
Гдѣ и безъ ноши пѣшему  
Опасно перейти,  
Тамъ рать-орда крестьянская  
По кочкамъ, по зажоринамъ  
Ползкомъ ползетъ съ плетюхами,  
Трещить крестьянскій пупъ!  
Подъ солнышкомъ, безъ шапочекъ,  
Въ поту, въ грязи по макушку,  
Осокою изрѣзаны,  
Болотнымъ гадомъ-мошкой  
Назѣденные въ кровь...

Такова природа нашей убогой стороны: здѣсь „трудно дышится“, и оттого здѣсь всюду „горе слышится“.

Въ учебникахъ географіи за рубрикой „страна“ обыкновенно слѣдуетъ рѣчь о населеніи. Послушаемъ Некрасова. Въ Россіи есть губерніи: Подтянутая, Испуганная, Безграмотная, Подстрѣ-

,ленная; уѣзды: Терпигоревъ, Недыханьевъ; деревни: Заплатово Дырявино, Разутово, Босово, Знобишино, Горѣлово, Неѣлово— Неуражайка тожъ. Село „кончается“ обыкновенно ригами, амбарами, мельницами, кое-гдѣ кабакомъ, а иногда

низенькимъ  
Бревенчатымъ строеніемъ  
Съ желѣзными рѣшетками  
Въ окошкахъ небольшихъ.

Въ нихъ, въ этихъ Заплатовѣ, Разутовѣ, Знобишинѣ, Неѣловѣ, живутъ „крестьяне-лапотники“; у нихъ „одинъ суровый черныи хлѣбъ, да изъ него же гибельный напитокъ“.

Здѣсь мужику, что вышелъ за ворота,  
Кровавый трудъ, кровавая борьба:  
За крошку хлѣба—капля пота—  
Вотъ въ двухъ словахъ его судьба!  
Его сама природа осудила  
На грубый трудъ, неблагодарный бой..

Здѣсь самодержавно царить „царь-голодъ“.

Водить онъ арміи; въ морѣ судами  
Править; въ артели сгоняетъ людей;  
Ходитъ за плугомъ, стоитъ за плечами  
Каменотесовъ, ткачей.

„Этотъ царь беспощаденъ“, и всѣ покорствуютъ ему: гордую голову клонятъ, спину могучую гнуть, „надрываются подъ зноемъ, подъ холодомъ, мерзнуть и мокнуть“...

„Какъ липочка ободранный“, крестьянинъ-лапотникъ „всю жизнь на полосѣ подъ солнцемъ жарится, подъ бороной спасается отъ частаго дождя, живетъ—съ сохой возится, а смерть придетъ..., какъ комъ земли отвалится, что на сохѣ присохъ“... „Горь ты, горь! Нужда окаянная!..“ Сушить она мужика-богатыря, и нѣтъ въ немъ ни вида, ни доброты:

Грудь впалая; какъ вдавленный  
Животъ; у глазъ, у рта  
Изалучины, какъ трещины  
На выдохшей землѣ;  
И самъ на землю-матушку  
Похожъ онъ: шея бурая,  
Какъ пласть, сохой отрѣзанный,  
Кирпичное лицо,  
Рука—кора древесная,  
А волосы—песокъ.



„Холодно, голодно въ нашихъ селеніяхъ“, а съ голодомъ и холодомъ идутъ ихъ неразлучные спутники болѣзни: „всевозможные тифы, горячки, воспаленья“... „холера, холера, холера“... „цынга“...

Бѣдность гибельнѣй всякой заразы..  
Въ нашей улицѣ люди такъ мрутъ,  
Что по ней, то и знай, на кладбища,  
Какъ въ холеру, тащатъ мертвецовъ:  
Холодъ, голодъ, сырыя жилища—  
Не робѣй Варсонофія Петровы!.. (гробовщикъ).

Мрутъ, „какъ мухи“... люди, мретъ и скотина...  
Страшны „деревенскія новости“:

Въ Ботовѣ валится скотъ,  
А у солдатки Аксиньи  
Дѣвочку—было ей съ годъ—  
Съѣли проклятыя свиньи;  
Въ Шаховѣ свекру сноха  
Вилами бокъ просадила—  
Было за что... Пастуха  
Громомъ въ стадѣ убило.  
Ну, ужъ и буря была!  
Какъ еще мы уцѣлѣли!

А вотъ Красныя Горки и Починки село—тѣ не уцѣлѣли:  
„этой же бурей сожгло“.

Въ Горкахъ пожаръ ужъ притихъ,  
Ждали: Починокъ не тронетъ!  
Смотрятъ, а вѣтеръ на нихъ  
Пламя и гонить и гонить!  
Ветрѣчу-то попъ со крестомъ,  
Дьяконъ съ кадилами вышелъ,—  
Не совладали съ огнемъ—  
Видно, Господь не услышалъ!..

Пожары деревенскіе—это страшный бичъ, которымъ „царь-голодъ“ немилосердно хлещетъ бѣдноту. Ужасенъ видъ „пожарища“:

Что-то на бѣлой полянѣ чернѣется,  
Что-то дымится—сгорѣло селеніе!..  
Съ лаемъ собаки на насъ не бросаются,  
Думаютъ видно: украсть вамъ тутъ нечего!..  
Лошадь дрожить у плетня почернѣлаго,  
Куры бездомныя съ холоду ежатся,  
И на остаткахъ жилья погорѣлаго  
Люди, какъ черви на трущѣ, копошатся...

Или вотъ еще душу надрывающая повѣсть о „погорѣломъ мѣстѣ“.

...Бугоръ.

Тамъ угрюмыя соены стояли  
И подъ ними дымился костеръ.  
Мы съ Трофимомъ туда побѣжали...

Черезъ пни погорѣлаго бора  
Къ неширокой рѣкѣ мы пришли...

Погорѣльцы разбили тутъ станъ.  
Къ намъ навстрѣчу ребята бѣжали:  
„Не видали вы нашихъ крестьянъ?  
Побираться пошли да пропали!“

— Не видали... Весь таборъ притихъ...  
Звучно шиплетъ траву лошаденка,  
Бабы нянчатъ младенцевъ грудныхъ,  
Утѣшаетъ ребятъ старушонка:

— Воля Божья: усните скорѣй!  
Эту ночь потерпите вы только!  
Завтра вамъ накуплю калачей,  
Вотъ и деньги... Смотрите-ка, сколько!

— „Гдѣ ты, бабушка, денегъ взяла?“  
— У оконца, на мѣсячномъ свѣтѣ,  
Въ ночи зимнія пряжу прядла.  
Побренчали казной ея дѣти...

Старый дѣдъ, словно царь Соломонъ,  
Раздалъ имъ кой-какую одежду...  
Патріархомъ библейскихъ временъ  
Онъ глядѣлъ, завернувшись въ рогожу:

Величавая строгость въ чертахъ,  
Черепъ голый, нависшія брови,  
На груди и на голыхъ ногахъ  
Слѣдъ недавнихъ обжоговъ и крови.

Мой вожатый къ нему подлетѣлъ:  
— Здравствуй, дѣдко! „Живите здоровы!“  
— Погорѣли? А хлѣбъ уцѣлѣлъ?  
Уцѣлѣли лошадки? коровы?

„Хлѣбу было сгорѣть мудрено,—  
Отвѣчалъ патріархъ неохотно:—  
Мы его не имѣли давно.  
Спите, дѣтки, окутавшись плотно!“

А къ костру не ложитесь, огонь  
Подползаетъ—опалить волосенки.  
Уцѣлѣлъ изъ двѣнадцати конь,  
Изъ семнадцати три коровенки“.

—Нѣтъ и вашихъ дремучихъ лѣсовъ?  
Вѣкъ росли, а въ недѣлю пропали!  
„Соблазняли они мужиковъ.  
Шутка! сколько у барина крали“!

Молча взялъ онъ ружье у меня,  
Осмотрѣлъ, осторожно поставилъ.  
Я сказалъ: безпощаднѣй огня  
Нѣтъ врага—ничего не оставилъ!

„Не скажи. Разсудила судьба,  
Что нельзя же безъ древа-то въ мирѣ,  
И оставила намъ на гроба  
Эти сосны“... (Ихъ было четыре)...

Жить надо, и на мѣстѣ „старыхъ деревень появляются новыя“; но если не любы крестьянамъ старыя, больнѣй того на новыя деревни имъ глядѣтъ:

Ой, избы, избы новыя!  
Нарядны вы, да строите васъ  
Не лишняя копеечка,  
А кровная бѣда!

Да, тяжело ты крестьянское горе!

Какъ отъ выстрѣла дымъ расплзается  
На зарѣ по росыстымъ травамъ,  
Это горе идетъ—подвигается  
Къ тихимъ селамъ, глухимъ деревнямъ!

„Здѣсь одни только камни не плачутъ“... Этотъ плачь безконечный, этотъ стонъ непрерывный, поневолѣ вполголоса, только въ пѣснѣ находитъ себѣ полный просторъ. Въ ней „мало словъ, а горя—горя рѣченька бездонная“. Ее „сложила“ жизнь постылая.

Вся-то пѣсня—два словца,  
А запой ее, дѣтинушка,  
Не дотянешь до конца;  
Эту пѣсенку мудреную  
Тотъ до слова допоеть,  
Кто всю землю, Русь крещеную,  
Изъ конца въ конецъ пройдетъ.

Эти „два слова“: *холодно, холодно*, точно снѣжный комъ, перекатываются они по „убогимъ и темнымъ роднымъ уголкамъ“ и

обрастають безысходной нуждой, беспросвѣтнымъ горемъ. Безпріютнымъ „убогимъ странникомъ“, затерявшимся среди луговъ, лѣсовъ и полей унылой равнины, представляется Некрасову русскій народъ, и, куда бы онъ ни кинулся, всюду за нимъ и около него холодъ и голодъ, а съ ними „счастіе мужицкое, дырявое съ заплатами, горбатое съ мозолями“. „Вѣка протекли“, „все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось“, а „странникъ убогій“ тянетъ все ту же стонущую пѣсню:

Я лугами иду—вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:  
Холодно, странничекъ, холодно,  
Холодно, родименькій, холодно!

Я лѣсами иду—звѣри воютъ въ лѣсахъ:  
Голодно, странничекъ, голодно,  
Голодно, родименькій, голодно!

Я хлѣбами иду—что вы тощи хлѣба?  
Съ холоду, странничекъ, съ холоду,  
Съ холоду, родименькій, съ холоду.

Я стадами иду—что скотинка слаба?  
Съ голоду, странничекъ, съ голоду  
Съ голоду, родименькій, съ голоду.

Я въ деревню: мужикъ! ты тепло ли живешь?  
Холодно, странничекъ, холодно,  
Холодно, родименькій, холодно.

Я въ другую: мужикъ! хорошо ли ѣшь-пьешь?  
Голодно, странничекъ, голодно,  
Голодно, родименькій, голодно!

Ужъ я въ третью: мужикъ! что ты бабу-то бьешь?  
Съ холоду, странничекъ, съ холоду,  
Съ холоду, родименькій, съ холоду!

Я въ четверту: мужикъ! что въ кабакъ ты идешь?  
Съ холоду, странничекъ, съ голоду,  
Съ холоду, родименькій, съ голоду!

Вотъ жизнь. Конечно, въ такихъ условіяхъ существованія забота о завтрашнемъ днѣ настолько тяжело и безослабно давить, что не оставляетъ мѣста и времени заботамъ иного, высшаго порядка. Насущныя потребности—потребности живого человѣка, который нуждается въ хлѣбѣ, чтобы не умереть съ голода, и въ кровлѣ и одеждѣ, чтобы имѣть возможность утолить свой голодъ,—эти потребности съ такой настойчивостью заявляютъ о себѣ въ

нашей убогой сторонѣ, что вопросы ума и сердца поневолѣ отходятъ въ туманную даль будущаго,—желаній, надеждъ, а нерѣдко они и просто отсутствовали или не успѣвали вытѣснить проклятую злобу дня и подняться на поверхность сознания. Работа вѣчная, забота вѣчная; гдѣ ужъ тутъ о книжкахъ думать!.. Смотрите, вотъ нищій. У него отнимають послѣдній кусокъ хлѣба; онъ борется за свою корку и, отстоявши ее, спѣшитъ ее съѣсть. Голодь утоленъ, и, обезсиленный тяжелой борьбой, нищій засыпаетъ... До ученья ли тутъ.

Впрочемъ, это бы еще съ полгоря. Вотъ горе: тѣ, „кому въ удѣлъ судьбою данъ высокій санъ“, не хотятъ брать примѣръ съ солнца, которое, „куда лишь лучъ его достанетъ, былинкѣ ль, кедру ли благотворить равно“,—и считаютъ просвѣщеніе привилегіей, отнюдь не распространяющейся на мужика: „читать и рассуждать“, говорятъ они, „пристрастье“, „не приличное званію“ крестьянина. Въ этомъ мнѣніи на счетъ людей „низшей породы“ не разошлись, а трогательно объединились нѣмецкій баронъ („нѣчто въ родѣ посланника“), фонъ-деръ-Гребенъ, и русскій сановникъ, кн. Воехотскій. Вотъ очень характерная бесѣда по вопросу о правѣ мужика на просвѣщеніе этихъ „мужей совѣта“:

Кн. Воехотскій.

Теперь, баронъ, вы видѣли природу,  
Вы видѣли народъ нашъ?

Баронъ.

И не могъ  
Не заключить, что этому народу  
Пути къ развитію заградилъ самъ Богъ.

Кн. Воехотскій.

Да! да! непобѣдимыя условья!  
Но, къ счастью, народъ не выше ихъ:  
Невѣжество, безчувственность воловья  
Полезны при условіяхъ такихъ.

Баронъ.

Когда природа отвѣчать не можетъ  
Потребностямъ, которыя родить  
Развитіе—оно бѣды умножить  
И только даромъ страсти распалить.

Кн. Воехотскій.

Вы угадали, мысль мою: нелѣпо  
Въ такихъ условіяхъ просвѣщать народъ.

Въ болѣе современномъ переводѣ это выходитъ: „безусловно вредно народное образованіе, ибо оно развиваетъ привычку логически мыслить“. Дружными усилиями „непобѣдимыхъ условий“, бароновъ нѣмецкихъ и князей Воехотскихъ задача—отучить народъ мыслить,—какъ извѣстно, блестяще разрѣшена, и тьма невѣжества, суевѣрій и предрасудковъ всякаго рода и до сихъ поръ плотно облегаетъ русскую землю, часто безпросвѣтная, слѣпящая, страшная тьма. Здѣсь „люди темные“ живутъ и „дураками“ помираютъ. Вслушайтесь въ то, что здѣсь говорятъ.

Вотъ „Кузьминское богатое, а пуще того грязное торговое село“. Ярмарка. На площади „товару много всякаго и видимо-невидимо народу“. „Хмельно, горласто, празднично, красно, пестро кругомъ“. „На бабахъ платья красныя, у дѣвокъ косы съ лентами“. Среди нихъ одиноко бродитъ „старообрядка злющая“; „на бабъ нарядныхъ гляючи“, она говоритъ своей товаркѣ:

„Быть голоду! быть голоду!  
Дивись, что всходы вымокли,  
Что половодье вешнее стоитъ до Петрова.  
Съ тѣхъ поръ какъ бабы начали  
Рядиться въ ситцы красные,  
Лѣса не поднимаются,  
А хлѣба хоть не сѣй!“

—Да чѣмъ же ситцы красные  
Тутъ провинились, матушка?  
Ума не приложу!

„А ситцы тѣ французскіе—  
Собачьей кровью крашены!  
Ну... поняла теперь?“

Или вотъ другая картина съ природы; въ ней Некрасовъ трактуетъ ту же тему о темнотѣ народной, только беретъ это печальное и позорное явленіе нашей жизни въ болѣе широкомъ масштабѣ, и оно получаетъ значеніе всенароднаго бѣдствія. То же село Кузьминское, та же ярмарка. Лавочка съ картинами и книгами; офени запасаются въ ней своимъ товаромъ.

—А генераловъ надобно?  
Спросилъ ихъ купчикъ-выжига.  
„И генераловъ дай!  
Да только ты по совѣсти,  
Чтобъ были настоящіе—  
Потолще, погрознѣй“.  
—Чудные, какъ вы смотрите!—

Сказалъ купецъ съ усмѣшкою:—  
Тутъ дѣло не въ комплекціи...  
„А въ чемъ же? шутишь, другъ!  
Дрянъ, что ли, сбыть желательно?  
А мы куда съ ней дѣнемся?  
Шалишь! Передъ крестьяниномъ  
Всѣ генералы равны,

Какъ шипки на ели:  
Чтобы продать неварачнаго,  
Попастъ на доку надобно,  
А толстаго да грознаго  
Я всякому всучу...

А статскихъ не желаете?  
„Ну вотъ еще со статскими!“  
(Однако взяли—дешево!—  
Какого-то сановника—  
За брюхо съ бочку винную  
И за семнадцать звѣдъ.)  
Купецъ со всѣмъ почтеніемъ,

Чортъ знаетъ для чего!

Что любо, тѣмъ и потчуетъ.  
(Съ Лубянки—первый воръ!)  
Спустилъ по сотнѣ Блюхера,  
Архимандрита Фотія,  
Разбойника Сипко,  
Сбылъ книги: „Шутъ Балакиревъ“,  
И „Англійскій милордъ“...  
Легли въ коробку книжечки,  
Пошли гулять потретики  
По царству всероссійскому,  
Покамѣсть не пристроится  
Въ крестьянской лѣтней горенкѣ,  
На невысокой стѣночкѣ...

Смѣшно и грустно: этой лубочной мѣшаниной питается русскій мужикъ и до сихъ поръ. Такъ и та убогая грамотность, которая есть, тратится совершенно непроизводительно. „Въ наши великіе, трудные дни книги не шутка: укажутъ онѣ все недостойное, дикое, злое“; но эти книги все еще рѣдко попадаютъ въ деревню.

На что вамъ книги умныя?  
Вамъ вывѣски питейныя  
Да слово: воспрещается,  
Что на столбахъ встрѣчается,  
Достаточно читать!

Такъ говорили, такъ еще и теперь говорятъ, и оттого у насъ темно попрежнему, и только кое-гдѣ прорѣзали эту тьму яркія зарницы пробудившейся мысли.

„Эхъ! эхъ! придетъ ли времячко,  
Когда (приди, желанное!..)  
Дадутъ понять крестьянину,  
Что роза портретъ портретику,  
Что книга книгъ розъ?  
Когда мужикъ не Блюхера  
И не милорда глупаго,  
Бѣлинскаго и Гоголя  
Съ базара понесетъ?  
Ой, люди, люди рускіе!

Крестьяне православные!  
Слыхали ли когда-нибудь  
Вы эти имена?  
То имена великія:  
Носили ихъ—прославили  
Заступники народныя.  
Вотъ вамъ бы ихъ потретики  
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,  
Ихъ книги почитать...  
И радъ бы въ рай, да дверь-то гдѣ?..

И все еще идутъ темные люди вмѣсто рая свѣтлой и вольной мысли, прекрасныхъ созданий искусства, — въ балаганъ лубочныхъ книжекъ и картинъ. И оттого все еще „тьма вверху бездны“, и родитъ она нравы жестокіе, и ужасы совершаются въ этой безднѣ, кошмарно дикіе, душу леденящіе ужасы. А здѣсь къ нимъ привыкли, говорятъ о нихъ спокойно и даже готовы ви-

дѣтъ въ нихъ „законъ праведный“, пусть этотъ „законъ“ и превращаетъ человѣка въ звѣря и дѣлаетъ его палачомъ для брата который становится его жертвой. Объ одной такой „случайной жертвѣ судьбы“ рассказываетъ „Матрена Тимоѣевна“.

Въ тотъ годъ необычная  
Звѣзда играла на небѣ;  
Одни судили такъ:  
Господь по небу шествуетъ  
И ангелы Его  
Метуть метлою огненной  
Передъ стопами Божьими  
Въ небесномъ полѣ путь;  
Другіе то же думали,  
Да только на антихриста,  
И чуяли бѣду.  
Сбылось: пришла безхлѣбница!  
Братъ брату не уламываль  
Куска! Былъ страшный годъ.  
Волчицу ту Ѳедотову

Я вспомнила—голодную:  
Похожа съ ребятишками  
Я на нее была.  
Да тутъ еще свекровушка  
Примѣтой прислужилася:  
Сосѣдкамъ наплела,  
Что я бѣду накликкала.  
А чѣмъ? *Рубагу чистую*  
*Надѣла въ Рождество.*  
За мужемъ, за заступникомъ,  
Я дешево отдѣлалась:  
А женщину одну  
Никакъ за то же самое  
Убили на смерть кольями:  
Съ голоднымъ не шути!..

Вамъ страшно до дрожи въ этой „подземной тюрьмѣ“, а „бѣдные, забытые“ видятъ особый героизмъ въ ихъ „штукахъ“, такъ какъ они давали имъ почувствовать свою силу: „мы не сидѣли сложа руки“... Некрасовъ рассказываетъ случай, относящійся ко времени, когда „затесался къ намъ французъ, да увидалъ, что проку мало, пришелъ въ конфузъ и на попятный тотчасъ драго“.

Поймали мы одну семью,  
Отца да мать съ тремя щенками:  
Тотчасъ ухлопали мусью,  
Не изъ фузеи—кулаками!  
Жена давай вопить, стонать,  
Рветъ волоса,—глядитъ да тужить!  
Жаль стало: топорищемъ хватъ—  
И протянулась съ мужемъ!  
Глядь: дѣти! Нѣтъ на нихъ лица:  
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ,  
Лепечуть—не поймешь словца—  
И въ голосъ бѣдненькія плачутъ.  
Слеза прошибла насъ, ей-ей!  
Какъ быть? Мы долго толковали,  
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй,  
Да вмѣстѣ всѣхъ и закопали...

Какой ужасъ, но вмѣстѣ и какое громадное несчастье, какое страшное народное бѣдствіе: человѣчность эти люди полагаютъ въ звѣрствѣ...



Голодно, холодно, темно живется русскому народу. Съ голоду бока и животы подводить, съ холоду руки и ноги коченѣють, „черные вороны“ очи выклевывають... Крушить Русь крещеную „съ ницетой горемычной злая борьба“: „домишки ветхіе и животишки хворые“...

Въ такихъ убійственныхъ условіяхъ сила жизни и сопротивляемость въ борьбѣ неизбѣжно должны были уменьшиться, и дѣйствительно уменьшились: „типъ измельчалъ красивой и мощной славянки“... Богатырь-народъ сталъ рабомъ и продолжаетъ имъ быть даже послѣ того, когда „распалась цѣпь великая“...

Есть у Некрасова картина-символь: въ ней символизирована „вѣковая истома“ народа-раба; вотъ эта картина:

Подъ жестокой рукой челоуѣка,  
Чуть жива, безобразно тоща,  
Надрывается лошадь-калѣка,  
Непосильную ношу влача.  
Вотъ она зашаталась и стала.  
„Ну!“ погонщикъ полѣно схватилъ,  
(Показалось кнута ему мало)—  
И ужъ билъ ее, билъ ее, билъ!  
Ноги какъ-то разставивъ широко,  
Вся дымаясь, осѣдая назадъ,  
Лошадь только вздыхала глубоко  
И глядѣла... (Такъ люди глядятъ,  
Покоряясь неправымъ нападкамъ)  
Онъ опять: по спинѣ, по бокамъ,  
И впередъ забѣжалъ, по лопаткамъ  
И по плачущимъ кроткимъ глазамъ!  
Все напрасно. Кляченка стояла,  
Полосатая вся отъ кнута,  
Лишь на каждый ударъ отвѣчала  
Равномѣрнымъ движеніемъ хвоста.  
Это праздныхъ прохожихъ смѣшило...  
А погонщикъ не даромъ трудился—  
Наконецъ-таки толку добился!  
Но послѣдняя сцена была  
Возмутительнѣй первой для взора:  
Лошадь вдругъ напряглась—и пошла  
Какъ-то бокомъ, нервически скоро  
И погонщикъ при каждомъ прыжкѣ,  
Въ благодарность за эти усилья  
Поддавалъ ей ударами крылья,  
И самъ рядомъ бѣжалъ налегкѣ.

Раскрыть этотъ символъ не трудно; стоитъ прочесть въ пьесѣ „На Волгѣ“ гимнъ-реквиемъ „унылому, сумрачному, бурлаку“.

Унылый, сумрачный бурлак!  
Какимъ тебя я въ дѣтствѣ зналъ  
Такимъ и нынѣ увидалъ:  
Все ту же пѣсню ты поешь,  
Все ту же лямку ты несешь,  
Въ чертахъ усталого лица  
Все та жъ покорность безъ конца...  
Прочна суровая среда,  
Гдѣ поколѣнія людей  
Живутъ и гибнутъ безъ слѣда  
И безъ урока для дѣтей!  
Отецъ твой сорокъ лѣтъ стоналъ,  
Бродя по этимъ берегамъ,  
И передъ смертію не зналъ,

Что заповѣдать сыновьямъ.  
И, какъ ему,—не довелось  
Тебѣ наткнуться на вопросъ:  
Чѣмъ хуже былъ бы твой удѣлъ,  
Когда бъ ты менѣ терпѣлъ?  
Какъ онъ, безгласно ты умрешь.  
Какъ онъ, безвѣстно пропадешь.  
Такъ замечается пескомъ  
Твой слѣдъ на этихъ берегахъ,  
Гдѣ ты шагаешь подъ ярмомъ  
Не краше узника въ цѣпяхъ,  
Твердя постылыя слова,  
Отъ вѣка тѣ же: „разъ да два!“  
Съ болваненнымъ привѣтомъ „ой!“

И въ тактъ мотая головой...

Или въ тѣхъ же размысленіяхъ „О погодѣ“ слѣдующее мѣсто:

На спинѣ ли дрова ты несешь на чердакъ,  
Черезъ лобъ протянувши веревку,  
Грошь ли просишь, идешь ли въ кабакъ,  
Задаютъ ли тебѣ потасовку,—  
Ты знакомъ уже намъ петербургскій бѣднякъ,  
. . . . . угрюмый худой,  
Обезсмысленный дикой корыстью,  
Страхомъ, голодомъ, мелкой борьбой.

Такъ, съ нищетой и горемъ идетъ „терпѣнье безмѣрное“, и „богатырь святорусскій“ становится „Аникой—воиномъ“, а то и хуже—„холопомъ примѣрнымъ—Яковомъ вѣрнымъ“: „всему виною крѣпъ“.

Въ ней же, въ этой „крѣпи“, начало и другого, не менѣ печальнаго конца. Одни подъ ней сгибаются и въ кабалу попадаютъ; другіе, приспособившись къ ней, гнутъ слабыхъ и дѣлаютъ ихъ холопами,—это „кулаки“. Они „народились“ въ той же нездоровой атмосферѣ кулачнаго права, животныхъ инстинктовъ и рабскаго страха. Какъ плѣсень въ подвалѣ, они расползлись по „домишкамъ ветхимъ“, по „животишкамъ хворымъ“... Жить здѣсь значитъ быть „сытыми и одѣтыми“, а на копейку мѣдную сытъ и одѣтъ не будешь,—сила въ рублѣ. И вотъ копить, собирать, сколотить изъ копейки рубль—становится правиломъ жизни „неглупыхъ малыхъ“. Добрый совѣтъ „старога Владимира“ „не хоронить въ землю“, потому что это „не наше“, давно забытъ и уступилъ мѣсто лихорадочному стяжанію; и то, что обезпечивало возможность быть „сытыми и одѣтыми“—капиталь, выдвигается на первый планъ и въ мысли и въ жизни: мысль принизилась до

жизни, а жизнь превратилась въ борьбу имущихъ съ неимущими. А „на войнѣ, какъ на войнѣ“, въ средствахъ не разбираются... И вотъ различіе между „собирать“ и „обирать“ постепенно стирается, хищническіе инстинкты пріобрѣтателя берутъ верхъ надъ мотивами нравственнаго характера, и гложуть среди этихъ плевеловъ эгоизма, выросшихъ на каменистой почвѣ ожесточившагося сердца, гложуть человѣческіе порывы къ любви и братству. И стальъ брать брату волкомъ.

Такъ „народился кулакъ“; онъ „по селеньямъ звѣремъ рыщеть“, „крестьянину съ охотой въ нуждѣ ссужаетъ онъ рубль, а тотъ плати работой“... И снова сгибается едва разогнувшаяся отъ „помѣщицъей крѣпи“, могучая спина... И надъ склонившимися покорно кабальными холопами стоитъ, „подбоченясь картинно“, „толстый, присадистый, красный какъ мѣдь,“ купчина-кулакъ...

„Округа вся въ горсти моей,  
Казна надежѣй цѣпи“,  
хвастается „старый Наумъ“.  
„Ужъ нѣтъ помѣщицкихъ крѣпей,  
Мои остались крѣпи.  
..Начальство—други—кумовья,  
Стрясись бѣда—поправятъ...  
Судью за денежки куплю,  
Умилостивлю Бога“...

Встрѣчаясь съ ними, Некрасовъ „вспоминалъ невольно дубъ красивый въ своемъ саду“:

тамъ сѣти ткаль  
Паукъ трудолюбивый,  
Съ утра спускался онъ не разъ  
По тонкой паутинкѣ,  
Какъ по канату водолазъ,  
Къ какой-нибудь личинкѣ;  
То комара подстерегаль  
И жадно влекъ въ объятъя,  
А, пообѣдавъ, продолжалъ  
Обычныя занятъя.  
И вывелъ, точно напоказъ,  
Паукъ мой паутину.  
Какая ткань! Какой запасъ  
На черную годину!

Тамъ мошекъ цѣлыя стада  
Нашли себѣ могилы,  
Попали бабочки туда—  
Летуньи пестрокрылы;  
Его сосѣдъ, другой паукъ,  
Качался тамъ замученъ,  
А мой—отъѣлся вонъ изъ рукъ!  
Довольнъ, гладокъ, тученъ,  
То мирно дремлетъ въ уголку,  
То мухою закуситъ...  
Живется славно пауку:  
Не тужить и не трусить...

Или вотъ кулакъ - подрядчикъ работъ на желѣзной дорогѣ.

Труды роковые

Кончены—вѣмецъ ужъ рельсы кла-  
детъ,  
Мертвые въ землю зарыты; больные  
Скрыты въ землянкахъ; рабочій на-  
родъ

Праздный народъ разступается чин.  
но...

Поть отираетъ купчина съ лица  
И говоритъ, подбоченясь картинно:  
„Ладно... нешто... Молодца!.. Молод-  
ца!..

Тѣсной гурьбой у конторы собрался...  
Крѣпко затылки чесали они:  
Каждый подрядчику должеъ остался,  
Стали въ копейку прогульные дни!

Съ Богомъ, теперь по домамъ,  
поздравляю!  
(„Шапки долой—коли я говорю!“)  
Бочку рабочимъ вина выставляю  
И—недомжку дарю!..“

Все заносили десятники въ книжку—  
Бралъ ли на баню, лежалъ ли больной:  
„Можетъ, и есть тутъ теперича лишку,  
Да вотъ, поди ты!“ Махнули рукой...

Кто-то „ура“ закричалъ. Подхватили  
Громче, дружиѣ, протяжиѣ. Глядь,  
Съ пѣсней десятники бочку катили...  
Тутъ и лѣнивый не могъ устоятъ!

Въ синемъ кафтанѣ—почтенный ло-  
базникъ,  
Толстый, присадистый, красный какъ  
мѣдь,  
Ѣдетъ подрядчикъ по линіи въ  
праздникъ,  
Ѣдетъ работы свои посмотрѣтъ.

Выпрягъ народъ лошадей и куп-  
чину  
Съ крикомъ „ура“ по дорогѣ по-  
мчалъ...  
Кажется, трудно отраднѣй картину  
Нарисовать...

Такъ вмѣсто „сѣтей крѣпостныхъ“ явились инья, и, какъ прежде, трудно, а иногда и еще труднѣе народу жить, и, какъ прежде, онъ бѣденъ, а кое-гдѣ и еще бѣднѣе сталъ. Взгляните на это „селенье незавидное“, такихъ еще очень, очень много на „святой Руси“:

Что ни изба—съ подпоркою,  
Какъ нищій съ костылемъ;  
А съ крышъ солома скормлена  
Скоту. Стоять, какъ остовы,  
Убогіе дома.  
Ненастной поздней осенью  
Такъ смотрять гнѣзда галочки,  
Когда галчата вылетать  
И вѣтеръ придорожныя  
Березы обнажить...  
Народъ въ поляхъ работаетъ...

Та же, копейка мѣдная, то же горе-горькое, та же нужда окаянная... И попрежнему онъ стонетъ-поетъ, и попрежнему горькую пьетъ, въ тоскѣ безысходной, въ горѣ безпросвѣтномъ „водкой съ дурманомъ“ „утѣшается“. И здѣсь новая бѣда—въ „гибельномъ напитокѣ“ нерѣдко исчезаетъ безслѣдно мужицкая сила, и безъ того надорванная, разорется дотла бѣдное хозяй-

ство, и безъ того разоренное. И что особенно важно, въ винѣ горе не избывается, но забывается или притупляется, а вмѣстѣ съ нимъ слабѣетъ или совсѣмъ уходитъ протестъ.

Не водись ка на свѣтѣ вина,  
Тошень былъ бы мнѣ свѣтъ  
И пожалуй—силенъ сатана!  
Натворилъ бы я бѣдъ.

„Осушается“ штофъ и съ нимъ вмѣстѣ сохнутъ „неразумныя и буйныя рѣчи“...

„Въ куражѣ невзначай отъ души отлегнуть“, позабудется горе, а „на утро раздумье придетъ“... Или и того хуже.

„На послѣдній хватилъ четвертакъ,  
Подрался—и проснулся въ части“...

Забурлитъ, зашумитъ, поднимется „горя рѣченька бездонная“ и разольется „моремъ разливаннымъ“..., гдѣ-нибудь на ярмаркѣ: въ будни не до того, а въ праздникъ остается время подумать о своей долѣ; а такъ какъ, думай не думай, горя не избудешь, то „надо выпить“, а выпилъ разъ, захочется въ другой, глядь и напился; да и много ли рабочему, голодному человѣку надо?—и вотъ:

Шумить, поеть, ругается.  
Качается, валяется,  
Дерется и цѣлуется  
У праздника народъ.

И, кажется,

Что все село шатается,  
Что даже церковь старую  
Съ высокой колокольнею  
Шатнуло разъ другой,—  
Тутъ трезвому, что голому,  
Неловко...

И напивается, и тѣшится честной народъ:

Ей! малый! сладкой водочки!  
Наливки! Чаю! Полпива!  
Цимлянскаго—живѣй!..

„И море разливанное поидетъ“... Прислушайтесь къ нему, глухо и невнятно оно шумитъ; но въ рокотъ пьяныхъ голосовъ звучитъ все та же, тяжелымъ гнетомъ жизни сдавленная, мужицкая душа.

Мѣсто дѣйствія яръ-хмеля—„широкая дороженька, березками обставлена,... по буднямъ малолюдная, печальная и тихая, не та она теперь“:

По всей по той дороженькѣ  
И по окольнымъ тропочкамъ,  
Докуда глазъ хваталъ,  
Полали, лежали вѣхали,  
Варахталися пьяные,  
И стономъ стовъ стоялъ!

Скрипятъ телѣги грузныя,  
И, какъ телячьи головы,  
Качаются, мотаются  
Побѣдныя головушки  
Уснувшихъ мужиковъ!

Народъ идетъ—и падаетъ,  
Какъ будто изъ-за валиковъ  
Картечью неприятеля  
Палаятъ по мужикамъ!  
Ночь тихая спускается,  
Ужъ вышла въ небо темное  
Луна; ужъ пишетъ грамоту  
Господь червоннымъ золотомъ  
По синему по бархату,  
Ту грамоту мудреную.  
Которой ни разуникамъ,  
Ни глупымъ не прочесть.

Дорога стоголосая  
Гудить! Что море синее,  
Смолкаетъ, подымается  
Народная молва.

„А мы полтинникъ писарю:  
Прошенье изготовили  
Къ начальнику губерніи“...

— Эй! Съ возу куль упалъ!

„Куда же ты, Оленушка!  
Постой еще дамъ пряничка;  
Ты, какъ блоха проворная,  
Наѣлась—и упрыгнула,  
Погладить не далась!“  
— Добра ты, царска грамота,  
Да не при насъ ты писана...

„Посторонись, народъ!“  
(Акціонные чиновники  
Съ бубенчиками, съ бляхами  
Съ базара пронеслись.)

— А я къ тому теперича:  
И вѣникъ дрянъ, Иванъ Ильичъ,  
А погуляетъ по полу,  
Куда какъ напылить!

„Иабави Богъ, Парашенька,  
Ты въ Питерь не ходи!  
Такіе есть чиновники;  
Ты день у нихъ кухаркою,  
А ночь у нихъ сударкою,  
Такъ это наплевать!“

„Куда ты скачешь, Савушка?“  
(Кричитъ священникъ сотскому  
Верхомъ съ казенной бляхою).  
— Въ Кузьминское скачу,  
За становымъ. Оказія:  
Тамъ впереди крестьянина  
Убили... „Эхъ!.. грѣхи!..“

— Худа ты стала, Дарюшка!

„Не веретенце, другъ!  
Вотъ то, чѣмъ больше вертится,  
Пузатѣе становится,  
А я, какъ день денской!..“

„Эй! парень, парень глупенькій,  
Оборванный, паршивенькій,  
Эй, полюби меня!  
Меня, простоволосую,  
Хмельную бабу, старую,  
Зааа-паааа-чканую!“

Средь самой средь дороженьки  
Какой-то парень тихонькій  
Большую яму выкопалъ:  
— Что дѣлаешь ты тутъ?  
„А хороню я матушку!“

— Дуракъ! Какая матушка!  
Гляди, поддевку новую  
Ты въ землю закопалъ!  
Иди скорѣй да хрюкаломъ  
Въ канаву лягъ, воды испей!  
Авось, соскочить дурь!

„А ну, давай потянемся!“

Садятся два крестьянина,  
Ногами упираются,  
И жиятся, и тужатся,  
Кряхтятъ—на скалкѣ тянутся,  
Суставчики трещать!

На скалкѣ не понравилось:  
„Давай теперь попробуемъ  
Тянуться бородой!“  
Когда порядкомъ бороды  
Другъ дружкѣ поубавили,  
Вцѣпились за скулы!  
Пыхтятъ, краснѣютъ, корчатся,  
Мычатъ, визжатъ, а тянутся!  
„Да будетъ вамъ, проклятые!“  
Не разольешь водой!

Въ канавѣ бабы ссорятся:  
Одна кричитъ: домой идти  
Тошнѣе, чѣмъ на каторгу!  
Другая: врешь, въ моемъ дому  
Похуже твоего!  
Мнѣ старшій зять ребро сломалъ,  
Середній зять клубокъ укралъ,  
Клубокъ—плевокъ, да дѣло въ томъ—

Полтинникъ былъ заматанъ въ немъ;  
А младшій зять все ножъ беретъ,  
Того гляди убьетъ, убьетъ!..

„Ну, полно, полно, миленькій!  
Ну, не сердись!“ За валикомъ  
Неподалеку слышится:  
„Я ничего... пойдемъ!“  
Такая ночь бѣдовая!  
Направо ли, налево ли  
Съ дороги поглядишь:  
Идутъ друженько парочки...  
Не къ той ли рощѣ правятся?  
Та роща манитъ всякаго:  
Въ той рощѣ голосистые  
Соловухи поютъ..

Дорога многолюдная  
Что позже—безобразнѣе:  
Все чаще попадаются  
Иабитые, полаушіе,  
Лежачіе пластомъ.  
Безъ ругани, какъ водится,  
Словечка не промолвится,  
Шальная, непотребная  
Слышнѣй всего она!  
У кабаковъ смятеніе,  
Подводы перепутались,  
Испуганныя лошади  
Безъ сѣдоковъ бѣгутъ;  
Тутъ плачутъ дѣти малыя,  
Тоскуютъ жены, матери:  
Легко ли изъ питейнаго  
Доваться мужиковъ?..

Эта „Ночь пьяная“ идетъ за днемъ труда и терпѣнья, и не станетъ она трезвѣе до тѣхъ поръ, пока не посвѣтлѣетъ будень русскаго мужика. Однако еще и до сихъ поръ не мало такихъ, которые, какъ Веретенниковъ, ставятъ и рѣшаютъ „пьяный вопросъ“ слишкомъ односторонне и поверхностно и потому безрезультатно, хотя бы и руководились они побужденіями филантропическаго свойства:

Умны крестьяне русскіе,  
Одно не хорошо,  
Что пьютъ до одурѣнія:  
Во рвы, въ канавы валятся—  
Обидно поглядѣть!

Такъ печаловался мужичкамъ Веретенниковъ, и что-то „въ книжечку хотѣлъ уже писать“, чтобы затѣмъ подѣлиться съ любителями такихъ разсужденій мыслями „о вредѣ народнаго пьянства“. Да „выискался“ пьяненькій мужикъ и разъяснилъ барину пьяный вопросъ: „жалѣть жалѣй, умѣючи: на мѣрочку господскую крестьянина не мѣръ!“

...онъ противъ барина  
На животѣ лежалъ,  
Въ глаза ему поглядывалъ,  
Помалчивалъ—да вдругъ  
Какъ вскочить! Прямо къ барину—  
Хвать карандашъ изъ рукъ!  
„Постой башка порожня!  
Шальныхъ вѣстей, безсовѣстныхъ  
Про насъ не разноси!  
Чему ты позавидовалъ!  
Что веселится бѣдная  
Крестьянская душа?  
Пьемъ много мы по времени,  
А больше мы работаемъ,  
Насъ пьяныхъ много видится,  
А больше трезвыхъ насъ.  
По деревнямъ ты хаживалъ?  
Возьмемъ ведро съ водкою,  
Пойдемъ-ка по избамъ;  
Въ одной, въ другой навалятся,  
А въ третьей не притронутся—  
У насъ на семью пьющую  
Непьющая семья!  
Не пьютъ, а такъ же маются;  
Ужъ лучше бь пили глупые,  
Да совѣтъ такова...  
Чудно смотрѣть, какъ ввалится  
Въ такую избу трезвую  
Мужицкая бѣда,—  
И не глядѣлъ бы!.. Видывалъ  
Въ страду деревни рускія?  
Въ питейномъ, что ль, народъ?  
У насъ поля обширныя,  
А не гораздо щедрыя;  
Скажи-ка: чьей, рукѣй  
Съ весны они одѣнуты,  
А осенью раздѣнуты?  
Встрѣчалъ ты мужика  
Послѣ работы вечеромъ?  
На пожнѣ гору добрую  
Поставилъ, сѣялъ съ горошину:

— Эй! богатырь! Соломинкой  
Сшибу, посторонись.

„Сладка ѣда крестьянская!  
Весь вѣкъ пила желѣзная  
Жуеъ, а ѣсть не ѣсть!  
Да брюхо-то не зеркало,  
Мы на ѣду не плачемся...  
А чуть работа кончена,  
Гляди, стоятъ три дольщика...  
А есть еще губитель-татъ  
Четвертый, алѣй татарина,  
Такъ тотъ и не подѣлится,  
Все слопаеъ одинъ!  
...А вотъ не сосчитали же,  
Поскольку въ лѣто каждое  
Пожаръ пускаеъ на вѣтеръ  
Крестьянскаго труда?..

„Нѣтъ мѣры хмелю русскому!“  
А грѣя наше мѣряли?  
Работѣ мѣра есть?  
„Вино валить крестьянина“—  
А горе не валить его?  
Работа не валить?  
Мужикъ бѣды не мѣряеъ,  
Со всякою справляеъся,  
Какая ни приди.  
Мужикъ, трудяеъся, не думаеътъ,  
Что силы надорвеътъ;  
Такъ неужли надѣ чаркою  
Задумаеъся, что съ лишняго  
Въ канаву угодишь?  
А что глядѣтъ зазорно вамъ,  
Какъ пьяные валеютъся,—  
Такъ погляди поди,  
Какъ изъ болота волокомъ  
Крестьяне сѣно мокрое,  
Скосивши, волокутъ:  
Гдѣ не пробраеътся лошади,  
Гдѣ и безъ ноши пѣшему



Опасно перейти,  
Тамъ рать—орда крестьянская  
По кочкамъ, по зажинамъ  
Ползкомъ ползаетъ съ плетухами—  
Трещить крестьянскій пупъ!

Подъ солнышкомъ, безъ шапочекъ,  
Въ поту, въ грязи по макушку,  
Осокою изрѣзаны,  
Болотнымъ гадомъ-мошкою  
Изъѣденные въ кровь,—  
Небось, мы тутъ красивѣе?  
Жалѣть—жалѣй умѣючи:  
На мѣрочку господскую  
Крестьянина не мѣрь.  
Не бѣлоручки нѣжные,  
А люди мы великіе  
Въ работѣ и гульбѣ.

У каждаго крестьянина  
Душа, что туча черная—  
Гнѣвна, грозна—и надо бы  
Громамъ гремѣть оттудова,  
Кровавымъ лить дождямъ,  
А все виномъ кончается.  
Пошла по жилкамъ чарочка,

И размѣялась добрая  
Крестьянская душа!  
Не горевать тутъ надобно,  
Гляди кругомъ,—возрадуйся!  
Ай парни, ай молодушки,  
Умѣютъ погулять!  
Повымахали косточки,  
Повымотали душеньку,  
А удалъ молодецкую  
Про случай сберегли!..“  
Мужикъ стоялъ на валикѣ,  
Притопывалъ лаптишками,  
И, помолчавъ минуточку,  
Прибавилъ громкимъ голосомъ,  
Любуясь на веселую  
Ревущую толпу:  
„Эй! царство ты мужицкое,  
Безшапочное, пьяное,  
Шумы, вольнѣй шуми!“

— Какъ звать тебя, старинушка?  
„А что? Запишешь въ книжечку?  
Пожалуй, нужды нѣтъ!  
Пиши: *„Въ деревнѣ Босовѣ  
Якимъ Нагой живетъ,  
Онъ до смерти работаетъ,  
До полусмерти пьетъ!“*

Крестьяне согласились съ Якимомъ:

„Слово вѣрное:

Намъ подобаешь пить!..  
Пьемъ—значить силу чувствуемъ!  
Придетъ печаль великая,  
Какъ перестанемъ пить!..  
Работа не свалила бы,  
Печаль не одолѣла бы.  
Насъ хмель не одолить!  
Не такъ ли?..“

---

Такова, въ существенныхъ чертахъ, драма народной жизни, какъ ее изображаетъ Некрасовъ. Въ сторонѣ нашей убогой холодь, голодь, болѣзни, невѣжество, рабство, кулачное право, пьянство... Основные моменты этой драмы рѣзко намѣчаются въ „любимыхъ словахъ“, которыя выпускалъ дѣдушка Савелій, богатырь святорусскій, „по слову черезъ часъ“:

„Погибшіе... пропащіе“...

.....  
„Эхъ, вы, Аники-воины!  
Со стариками, съ бабами  
Вамъ только воевать!“

.....  
„Не дотерпѣть—пропасть,  
Перетерпѣть—пропасть!..“

.....  
„Эхъ, доля святорусскаго  
Богатыря сѣрмяжнаго!  
Всю жизнь его дерутъ;  
Раздумается временемъ  
О смерти—муки адскія  
Въ ту-свѣтной жизни ждуть“.

Скоро ужъ 50 лѣтъ, какъ „нѣтъ помѣщичьихъ крѣпей“, — „въ Россіи нѣтъ раба“, „народъ освобожденъ... но счастливъ ли народъ“?

... Въ послѣдніе года  
Сносиѣ ли стала ты, крестьянская „страда“?  
И рабству долгому пришедшая на смѣну  
Свобода, наконецъ, внесла ли перемѣну  
Въ народныя судьбы? въ напѣвы сельскихъ дѣвъ?  
Иль такъ же горестенъ нестройный ихъ напѣвъ?..

Суровая русская дѣйствительность отвѣтила уже, отвѣтила еще при жизни Некрасова на эти „тайные вопросы“, которые „кипѣли въ умѣ“ печальника горя народнаго: нѣтъ, народъ не счастливъ, потому что „вмѣсто сѣтей крѣпостныхъ люди придумали много иныхъ“ (среди нихъ Некрасовъ, какъ мы видѣли, отмѣчаетъ особенно власть капитала надъ неимущими). А силъ не прибываетъ: та же „бѣдность“, тотъ же „невѣжества мракъ“; и потому все еще не двинулось „мужицкое счастье“ впередъ, и все еще „пташка малая сильнѣе мужика: окрѣпнутъ крылышки—тю-тю! Куда ни вздумаетъ, туда и полетитъ“... Все еще для большинства идеалъ жизни тотъ же, что указали семь мужиковъ Подтянутой губерніи, уѣзда Терпигорева, Пустопорожней волости, изъ смежныхъ деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горѣлова, Неѣлова, Неурожайки тожъ:

„Не надо бы и крылышекъ,  
Кабы намъ только хлѣбушка  
По полупуду въ день“...  
„Да по ведру бы водочки“..  
„Да утромъ бы огурчиковъ  
Соленыхъ по десяточку“...

„А въ полдень бы по жбанчику  
Холоднаго кваску“...  
„А вечеромъ по чайничку  
Горячаго чайку“...

Все еще не цѣнять должнымъ образомъ они, „крестьяне-лапотники“, права первородства и готовы уступить ихъ за чечевичную похлебку. Все еще отдаютъ крылышки за „блага брѣнные“ и потому идутъ тропой рабовъ, а не летятъ свободные, сильные, гордые...

Отсюда безотрадныя, горькія думы поэта-„заступника народнаго“ о „новомъ времени“:

Новое время—свободы движенья,  
Земства, желѣзныхъ путей.  
Что жъ я не вижу слѣдовъ обновленья  
Въ бѣдной отчизнѣ моей?  
Тѣ же напѣвы, тоску наводящіе,  
Съ дѣтства знакомые намъ,  
И о терпѣніи новомъ молящіе  
Тѣ же попы по церквамъ.  
Въ жизни крестьянина, нынѣ свободнаго,  
Бѣдность, невѣжества мракъ...  
Гдѣ же ты, тайна довольства народнаго?

## II.

### Народъ-богатырь.

Повымахали косточки,  
Повымотали душеньку,  
А удаль молодецкую  
Про случай сберегли...

„Мечты! Я вѣрую въ народъ“... За этимъ восклицаніемъ, въ которомъ выразилась могучая, несокрушимая и несокрушенная „вѣра въ народъ“, какъ извѣстно, слѣдуютъ точки. Ихъ надо прочитатъ, и тогда „мечта“ обрстетъ плотью дѣйствительности и если не раскроется „тайна довольства народнаго“, то обозначатся тѣ линіи жизни, въ направленіи которыхъ она должна раскрыться.

Данныя для опредѣленія этого неизвѣстнаго у Некрасова есть. Народъ въ пониманіи и изображеніи Некрасова не „всероссійскій сфинксъ“, понятъ „безмолвную рѣчь“ котораго еще не удалось никому и который поэтому все еще ждетъ своего Эдипа,—отношенія Некрасова къ народу проще и жизненнѣе. Извѣстно, какъ создавалъ Некрасовъ свои посвященныя народу произведенія. „Вблизи песчаныхъ береговъ“ „рѣчки любимой“ „на лѣто укрывался“ онъ, и, „отдохнувъ, въ столицу возвращался съ запасомъ силъ и ворохомъ стиховъ“. Онъ страстно любилъ охоту: „вольный вѣтеръ нивъ сметалъ соръ, навѣянный столицей, съ души“ его, и хотъ „на полчаса“ „забывая“ о „молоткѣ надъ мыслью“, онъ „самъ себя находилъ“, „а это все, что нужно для поэта“. Комментарій къ этому поэтическому признанію Некрасова даетъ его сестра въ своихъ воспоминаніяхъ о лѣтнихъ поѣздкахъ брата на охоту. „Охота была для него не одною забавою,—говорила сестра Некрасова,—но и средствомъ знакомиться съ народомъ. Каждое лѣто періодически повторялось одно и то же. Поработавъ нѣсколько дней, братъ начиналъ собираться...

„... По рассказамъ происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него были уже знакомцы—мужики-охотники. Онъ до каждаго доѣзжалъ и охотился въ его мѣстности. Поѣздъ, сперва изъ двухъ троекъ, доходилъ до пяти, брались почтовые лошади, ибо братъ собиралъ своихъ провожатыхъ и уже не отпускалъ ихъ до извѣстнаго пункта.

„По окончаніи утренней охоты выбиралось удобное мѣсто; братъ со всей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки, была разговорчива—братъ слушалъ или нѣтъ, это его дѣло.

„Онъ говаривалъ, что самый талантливый процентъ народа отдѣляется въ охотники; рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствованія какого-либо запаса для своихъ произведеній. Такъ, однажды при мнѣ онъ вернулся и засѣлъ за „Коробейниковъ“, которыхъ потомъ при мнѣ читалъ крестьянину Кузмѣ. Въ другой разъ засѣлъ на два дня—и явились „Крестьянскія дѣти“. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно выдумать форму этой идилліи, этотъ сарай съ цвѣтными глазами:

Чу! шопоть какой-то... а вотъ вереница  
Вдоль щели внимательныхъ глазъ!  
Все сѣрые, каріе, синіе глазки—  
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты!

„Орина мать солдатская“ сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею, а то боялся сфальшивить... Кругъ его лѣтней охоты—луга смежныхъ губерній: Ярославской, Костромской, Владимирской. Онъ ихъ хорошо зналъ, и большая часть его типовъ принадлежитъ средней Россіи“.

„Боялся сфальшивить“—это чрезвычайно цѣнное признаніе, открывающее „родную страну“ Некрасова и вмѣстѣ его главный и величайшій взносъ въ уплату долга народу,—долга, который онъ считалъ незаплаченнымъ и неоплатнымъ. Его „поэмы безтолковыя“, его „элегіи не новыя“, его „сатиры, чуждыя красоты, неблагородныя и обидныя“, его „тягучій стихъ“—это безтолковая русская жизнь съ ея вѣчно старыми и вѣчно юными скорбями и страданіями, съ ея безобразіемъ и произволомъ,—тягучая и нудная жизнь, „какъ пѣснь рабовъ, однообразная“... Не розами росла она, политая потомъ и кровью народа,—крапивой; „крапиву“ и „вплеталъ“ Некрасовъ въ „размашистую гриву“ своего Пегаса. „Неблагородное и обидное“ занятіе, что и говорить:—

крапива грязна и некрасива, да и жжется сильно. Некрасовъ не побоялся, не „побрезговаль“ и „гордо покинулъ Парнасъ“; „любя и волнуясь“, онъ началъ свою нелегкую работу изображенія „сермяжныхъ героевъ“, не разъ прерывалъ ее „угрюмый и полный озлобленья“,—впрочемъ никогда на крапиву, а или на тѣхъ „друзей народа“, которые сочли его звуки „черной клеветой“, или на тѣхъ враговъ народа, которые не давали ему быть самимъ собой, дѣржали надъ его мыслью, не опуская, молотокъ, а надъ его стихами „ножницы“<sup>1)</sup>.

И однако Некрасовъ устоялъ и отстоялъ своего Пегаса съ крапивой, и розъ не вплелъ въ его „размашистую гриву“. Но это не помѣшало его поэтическому коню<sup>2)</sup> сохранить ту своеобразную красоту, за которую полюбилъ Некрасовъ мужика. Не вѣрно говорить о „романѣ Некрасова съ народомъ“; какой ужъ тутъ романъ—въ деревнѣ Босовѣ съ Якимомъ Нагимъ, который до смерти работаетъ, до полусмерти пьетъ? Время ли, мѣсто ли барскими любовями заниматься тамъ, „гдѣ до солнца идетъ за порогъ съ топоромъ на работу кручина“? Нѣтъ, здѣсь „живой, кровный союзъ“ между „страной безотвѣтной“, „несчастливымъ народомъ“ и „блѣдной, въ крови, кнutomъ изсѣченной Му-

---

<sup>1)</sup> „Вотъ оно, наше ремесло, литература!—говорилъ Некрасовъ доктору Бѣлоголовому.—Когда я началъ свою дѣятельность и написалъ свою первую вещь, то тотчасъ же встрѣтился съ ножницами: прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведение и опять-таки сталкиваюсь съ тѣми же ножницами.

Даже вполголоса мы не пѣвали,  
Мы—горемыки-пѣвцы!

Чернышевскій (А. Н. Пыпинъ. „Н. А. Некрасовъ“, стр. 247—248) такъ комментируетъ это признаніе Некрасова: „Когда (съ 1856 г.) дошло до крайняго своего предѣла расширеніе цензурныхъ рамокъ, Некрасовъ постоянно говорилъ, что пишетъ меньше, нежели хочется ему; слагается въ мысляхъ пьеса, но является соображеніе, что напечатать ее будетъ нельзя, и онъ подавляетъ мысли о ней: это тяжело, это требуетъ времени, а пока онѣ не подавлены, не возникаютъ мысли о другихъ пьесахъ; и когда онѣ подавлены, чувствуешь усталость, отвращеніе отъ дѣятельности, слишкомъ узкой“. Чернышевскій пытался уговаривать Некрасова писать „и безъ возможности напечатать теперь“; Некрасовъ отвѣчалъ, что „его характеръ не таковъ, и потому онъ не можетъ дѣлать такъ; о чемъ онъ думалъ, что этого невозможно напечатать скоро, надъ тѣмъ онъ не можетъ работать“.

<sup>2)</sup> „Валеть“:

Что жъ ты думаешь, Муза моя?  
На конекъ ты попалъ обычный—  
На умѣ у тебя мужики...

зой" <sup>1)</sup>),—союзъ, который заключила „больная совѣсть“ большого человѣка, „умѣвшаго любить“ малыхъ сихъ, а скрѣпило, кровью запечатлѣло „сердце не робкое“, „надрывавшееся отъ муки, внемля въ мѣръ царящіе звуки барабановъ, цѣпей, топора“,—сердце, кипѣвшее и исходившее „музыкой злобы“ и страстно рвавшееся къ „гармоніи жизни“, къ наслажденію ея красотой. Сравните эти двѣ пьесы Некрасова—„Утро“ и „Надрывается сердце отъ муки“, и предъ вами страшная драма писателя, который пѣлъ то, что страстно ненавидѣлъ, и страстно любилъ то, что еще не сложилось въ „гармонію жизни“, чтобы мощно и стройно отдаться въ пѣснѣ поэта. Вотъ первое стихотвореніе, которое звучитъ „музыкой злобы“:

### У т р о .

Ты грустна, ты страдаешь душою:  
Вѣрю—здѣсь не страдать мудрено.  
Съ окружающей насъ ничетою  
Здѣсь природа сама заодно;

Безконечно унылы и жалки  
Эти пастбища, нивы, луга,  
Эти мокрая, сонныя галки,  
Что сидятъ на вершинѣ стога;

Эта кляча съ крестьянникомъ пьянымъ,  
Черезъ силу бѣгущая вскачь  
Въ даль, сокрытую синимъ туманомъ,  
Это мутное небо... Хоть плачь!

Но не краше и городъ богатый:  
Тѣ же тучи по небу бѣгутъ;  
Жутко нервамъ—желѣзной лопатой  
Тамъ теперь мостовую скребутъ.

Начинается всюду работа,  
Возвѣстили пожаръ съ каланчи;

---

<sup>1)</sup> Поэтический комментарий къ этому символу—стихотвореніе, записанное со словъ поэта артистомъ М. И. Писаревымъ.

Вчерашній день, часу въ шестомъ,  
Зашелъ я на сѣнную:  
Тамъ били дѣвушку кнутомъ,  
Крестьянку молодую.  
Ни звука изъ ея груди,  
Лишь бичъ свисталъ, играя...  
И Музѣ я сказалъ: „Гляди—  
Сестра твоя родная!“

На позорную площадь кого-то  
Провели—тамъ ужъ ждутъ палачи.

Проститутка домой на разсвѣтъ  
Поспѣшаетъ, покинувъ постель;  
Офицеры въ наемной каретѣ  
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль.

Торгаши просыпаются дружно  
И спѣшать за прилавки засѣтъ;  
Цѣлый день имъ обмѣривать нужно,  
Чтобы вечеромъ сытно поѣсть.

Чу! изъ крѣпости грянули пушки!  
Наводненье столицѣ грозитъ...  
Кто-то умеръ: на красной подушкѣ  
Первой степени Анна лежитъ.

Дворникъ вора колотить—попался!  
Гонять стадо гусей на убой;  
Гдѣ-то въ верхнемъ этажѣ раздался  
Выстрѣлъ—кто-то покончилъ съ собой...

Такъ глубоко и полно чувствовать и переживать диссонансы жизни могутъ лишь „души сильныя, любвеобильныя“, въ глубинѣ которыхъ, не переставая, звучитъ гармонія жизни, хотя и вырывается оттуда только въ исключительные моменты, такъ какъ ее заглушаетъ „шумъ иной“,—„барабановъ, цѣпей, топора“... Вотъ этотъ, весь искрящийся свѣтомъ золотымъ, весь исполненный „простора свободы“, весь переливающийся „чувствомъ жизни“, изумительно хорошо выраженный,—моментъ „гармоніи жизни“.

... люблю я, весна золотая,  
Твой сплошной, чудно-смѣшанный шумъ;  
Ты ликуешь, на мигъ не смолкая,  
Какъ дитя, безъ заботы и думъ.  
Въ обаяніи счастья и славы  
Чувству жизни ты вся предана,  
Что-то шепчутъ зеленныя травы,  
Говорливо струится волна;  
Въ стадѣ весело ржетъ жеребенокъ,  
Быкъ съ землей вырываетъ траву,  
А въ лѣсу бѣлокурый ребенокъ  
Чу! кричитъ: „Парасковья, ау!“  
По холмамъ, по лѣсамъ, надъ долиной,  
Птицы съвера вьются, кричатъ,  
Разомъ слышны нагѣвъ соловьиный  
И нестройные писки галчатъ,



Грохоть тройки, скрипѣнье подводы,  
Крикъ лягушекъ, жужжаніе ось,  
Трескъ кобылокъ,—въ просторѣ свободы  
Все въ гармонію жизни слилось...

Это не южныя розы, это—сѣверные цвѣты; но ихъ своеобразная, мощная красота не уступить нѣжной прелести южнаго цвѣтка, а природа, ихъ возраставшая, по праву можетъ стать рядомъ съ тѣмъ „краемъ, гдѣ лимонныя роши цвѣтутъ“...

И, конечно, наиболѣе дорогимъ и милымъ цвѣткомъ въ этомъ прекрасномъ весеннемъ вѣнкѣ—для поэта, который его завилъ,—былъ этотъ „бѣлокурый ребенокъ“, эта вѣчно-юная „мечта“ поэта, къ которой такъ страстно „прильнулъ“ онъ, которая въ весенне-золотой уборъ облекла его мать-страдалицу, родину-мать, тамъ въ дали голубой и прозрачной „свободную, гордую и счастливую“... Вспомните и другого будущаго богатыря,—Власа, которому „шестой миноваль“, а онъ ужъ „мужикъ“. Ихъ „два человекъ всего мужиковъ-то, отецъ его да онъ“, а „семья-то большая“; вотъ онъ и „отвозить“ „дровишки“—„изъ лѣсу, вѣстимо: отецъ, слышишь, рубить“... Не забудьте, въ „сильный морозъ“, „въ большихъ сапогахъ, въ полущубкѣ овчинномъ, въ большихъ рукавицахъ... а самъ съ ноготокъ“... Переживите, какъ только можете, полнѣе и глубже это „настоящее русское“, и предъ вами откроются завѣтныя глубины души народолюбца, въ которыхъ билъ „кастальскій ключъ“, поившій этого изгнанника „въ степи мірской, печальной и безбрежной“; вы увидите тамъ „честныя мысли“, и не только увидите, онѣ сообщатся и вамъ...

На эту картину такъ солнце свѣтило,  
Ребенокъ былъ такъ уморительно малъ,  
Какъ будто все это картонное было,  
Какъ будто бы въ дѣтскій театръ я попалъ!  
Но мальчикъ былъ мальчикъ живой, настоящей,  
И дровни, и хворость, и пѣгонькій конь,  
И снѣгъ, до окошекъ деревни лежащій,  
И зимняго солнца холодный огонь—  
Все, все настоящее русское было,  
Съ клеймомъ нелюдимой, мертвящей зимы,  
Что русской душѣ такъ мучительно-мило,  
Что русскія мысли вселяетъ въ умы,  
Тѣ честныя мысли, которымъ нѣтъ воли,  
Которымъ нѣтъ смерти—дави не дави,  
Въ которыхъ такъ много и злобы, и боли,  
Въ которыхъ такъ много любви!

Да, кто такъ любить, такъ научился „мужика уважать“, тотъ не будетъ „робѣть за отчизну любезную“ и ощутитъ въ своемъ сердцѣ могучую вѣру въ свѣтлое будущее „святорусскаго богатыря“:

Вынесъ достаточно русскій народъ..  
Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъ!  
Вынесетъ все—и широкую, ясную  
Грудью дорогу проложить себѣ.

Некрасовъ удивительно глубоко переживаетъ эту вѣру, и она сообщается каждому, кто не чуждъ „мечты“. И, конечно, это не „романическая“ вѣра,—нѣтъ она идетъ изъ той „глубины душевной“, которой „много нужно“, „дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія“. Оттого повѣсть Некрасова о „романѣ съ народомъ“ не потеряла ни своей силы, ни своего значенія. Попробуемъ же разобраться въ элементахъ этой настоящей, не романической любви.

Мы видѣли, эта любовь пошла отъ того „выражающаго укоръ, спокойно безнадежнаго взора“, который еще въ дѣтствѣ врѣзался въ „больную совѣсть“ Некрасова, и „горькія рыданья“ „музы мести и печали“—только исполненіе „обѣтовъ юношескихъ лѣтъ“. Но Некрасовъ не только „не погнушался“ народа, не только „не побрезговалъ“ „лохмотьями жалкой нищеты, изнеможенными чертами“ его—„угрюмага, тихаго и больнаго“, а иногда и грязнаго и пьянаго, но и полюбилъ Якима Нагого, который до смерти работаетъ, до полусмерти пьетъ, и, полюбивши, понялъ своеобразную красоту народной души, и, понявши ее самъ, сумѣлъ дать понять ее и другимъ.

Да, Некрасовъ хорошо понималъ, что одного состраданія къ народу-страдальцу совершенно недостаточно, чтобы герой-рабъ сталъ героемъ-человѣкомъ.

Мы довольно похвалъ расточали  
И довольно сплели мы вѣнковъ  
Тѣмъ, которые намъ рисовали  
Любопытную жизнь бѣдняковъ.  
Гдѣ жъ плоды той работы полезной?  
Увидавъ, какъ читатель иной  
Льетъ надъ книгою слезы рѣкой,  
Такъ и хочешь сказать: „другъ любезный,  
Не сочувствуй ты горю людей,  
Не читай ты гуманныхъ книжонокъ,  
Но не ставь за каретой гвоздей,  
Чтобъ, вскочивъ, накололся ребенокъ!“

И ему удалось найти въ „мужикѣ“ то „вѣчно-человѣческое“, которому нѣтъ смерти, дави не дави; оно не только къ состраданію звало (и зоветъ), но и втѣснялось (и втѣсняется) въ общественное сознаніе „проникающими словами“: я—братъ твой!

И, какъ брата, Некрасовъ любитъ и уважаетъ мужика; мужикъ и онъ—несчастныя дѣти одной матери-страдалицы, матери-родины; страданія побратали ихъ. Упорный и гордый пѣвецъ увидѣлъ въ томъ, чьи страданія воспѣтъ онъ считалъ себя призваннымъ, чьи кости повымахались, чья душа повымоталась,—великое богатство духа, и увѣровалъ въ него...

Въ минуты унынья, о, родина-мать,  
Я мыслью впередъ улетаю,  
Еще суждено тебѣ много страдать,  
Но ты не погибнешь, я знаю.

Быль гуще невѣжества мракъ надъ тобой,  
Удушливѣй сонъ непробудный,  
Была ты глубоко несчастной страной,  
Подавленной, рабски безсудной.

Давно ли народъ твой игрушкой служилъ  
Позорнымъ страстямъ господина?  
Потомокъ татаръ, какъ коня, выводилъ  
На рынокъ раба-славянина,

И русскую дѣву влекли на позоръ,  
Свирѣпствовалъ бичъ безъ боязни,  
И ужасъ народа при словѣ „наборъ“  
Подобенъ былъ ужасу казни?

Довольно! Оконченъ съ прошедшимъ расчетъ,  
Оконченъ расчетъ съ господиномъ!  
Сбирается съ силами русскій народъ  
И учится быть гражданиномъ.

И ношу твою облегчила судьба,  
Сопутница дней славянина!  
Еще ты въ семействѣ покуда раба,  
Но мать уже вольнаго сына!

Такъ обозначились и пути къ „счастію народному“. Вотъ они:

Господь! твори добро народу!..  
Благослови *народный трудъ*,  
Упрочь *народную свободу*,  
Упрочь народу *правый судъ!*

Чтобы благія начинанья  
Могли свободно возрасти,  
Разлей въ народѣ жажду знанья  
И знанью укажи пути!

И отъ ярма порабощенья  
Твоихъ избранниковъ спаси,  
Которымъ знамя просвѣщенья,  
Господь, Ты ввѣрилъ на Руси!

Коротко:

Доля народа,  
Счастье его—  
Свѣтъ и свобода  
Прежде всего.

Значить, путь къ „счастію народному“—свободная и сознательная дѣятельность, направленная къ развитію матеріальныхъ и духовныхъ силъ „святोरусскаго богатыря“. Отдѣльные этапы этого пути Некрасову представляются такъ: 1) бѣднякъ станетъ богатымъ; 2) невѣжда—образованнымъ человѣкомъ; 3) рабъ—свободнымъ. И Якимъ Нагой найдетъ этотъ путь, и пойдетъ по нему, и дойдетъ, и отдохнетъ, пусть и не близкій путь!..

Вѣрить въ это Некрасовъ, потому что „вѣруеть въ народъ“, въ его матеріальныя и духовныя силы, которыя и уничтожатъ въ концѣ-концовъ „поставленные предѣлы“:

„Клейменный, да не рабъ“.

Прослѣдимъ, какъ Некрасовъ мыслить каждый изъ этихъ моментовъ борьбы раба за свободу.

Мужикъ работы не боится: его могучею рукой, „цѣпями крученой“, „поля обширныя“ „съ весны одѣнутся, а осенью раздѣнутся“; „желѣзомъ кованыя ноги“ не знаютъ устали, все ходятъ по чернымъ бороздамъ или по снѣжнымъ сугробамъ. Есть еще сила у „богатыря могучаго“, пусть онъ и ушелъ въ землю по грудь съ натуги, поднимая „тягу страшную“. Есть силы, не погибли онъ въ „вѣчной заботѣ“, въ многовѣковой „крестьянской страдѣ“. Нѣтъ, „работа не свалила“ мужика.

Эй! возьми меня въ работники,  
Поработать руки чешутся!

Повели ты въ лѣто жаркое  
Мнѣ пахать пески сыпучіе,  
Повели ты въ зиму лютую  
Вырубать лѣса дремучіе,—

Только трескъ стоялъ бы до неба,  
Какъ деревья бы валилися:  
Вмѣсто шапки бѣлымъ инеемъ  
Волоса бы серебрилися!

А тому, кто „трудится въ будень“, „въ жизни праздникъ обезпеченъ“. Трудъ, даже въ условіяхъ крайне неблагоприятныхъ для его производительности, „несетъ воздаянье“: „семейство не бьется въ нуждѣ“, „всегда теплая хата“, „хлѣбъ выпеченъ, вкусенъ квасокъ, здоровы и сыты ребята, на праздникъ есть лишній кусокъ“.

И уже видится поэту время, когда „перестанетъ ѣсть солому... народъ“. Для Некрасова—это „подведенный итогъ дѣлу“, мудрый и смѣлый, жизненный выводъ изъ наблюденій надъ трудовой крестьянской Русью, которая хоть и ушла въ землю, поднявши тягу земную, но силъ не потеряла. Вѣдь фактически крестьянскій трудъ всегда былъ свободенъ: обдумывалъ и налаживалъ его всегда самъ мужикъ; секвестру подвергались лишь результаты труда. Оттого-то въ „тягѣ земной“ крестьянинъ всегда находилъ источникъ великихъ думъ, высокихъ чувствъ; оттого-то отъ нея пошла его скорбно-могучая, дико-прекрасная пѣсня. Посмотрите, полюбуитесь на эту неподражаемо-дивную картину мужицкаго трудового счастья.

...жаркое лѣто,  
Не вся еще рожь свежена,  
Но сжата,—полегче имъ стало!  
Возили снопы мужики,  
А Дарья картофель копала  
Съ сосѣднихъ полосъ у рѣки.  
Свекровь ея тутъ же, старушка,  
Трудилась; на полномъ мѣшкѣ  
Красивая Маша, рѣзвуха,  
Сидѣла съ морковью въ рукѣ.  
Телѣга, скрипя, подѣзжаетъ—  
Савраска глядитъ на своихъ,  
И Проклушка крупно шагаетъ  
За возомъ сноповъ золотыхъ.  
— Богъ помочи! А гдѣ же Гришуха?—  
Отецъ мимоходомъ сказалъ.  
„Въ горохахъ“, сказала старуха.  
— Гришуха! отецъ закричалъ.  
На небо взглянулъ:—Чай, не рано?  
Испить бы... Хозяйка встаетъ  
И Проклу изъ бѣлаго жбана  
Напиться кваску подаетъ.

Гришуха межъ тѣмъ отозвался:  
Горохомъ опутанъ кругомъ,  
Проворный мальчуга казался  
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ.  
Бѣжить!.. у!.. бѣжить пострѣленокъ,  
Горитъ подъ ногами трава!  
Гришуха черѣнь, какъ галченкокъ,  
Бѣла лишь одна голова.  
Крича подбѣгаетъ въ присядку  
(На шеѣ горохъ хомутомъ),  
Попотчевалъ бабушку, матку,  
Сестренку,—вертится въюномъ!  
Отъ матери молодцу ласка,  
Отецъ мальчугана щипнулъ;  
Межъ тѣмъ не дремалъ и Савраска:  
Онъ шею тянулъ да тянулъ,  
Добрался, оскаливши зубы,  
Горохъ аппетитно жуетъ  
И въ мягкія, добрыя губы  
Гришухино ухо беретъ.  
Машутка отцу закричала:  
— Возьми меня, тятка, съ собой!

Спрыгнула съ мѣшка и упала.  
Отецъ ее поднялъ. „Не вой!  
Убилась—не важное дѣло!..  
Дѣвчонокъ не надобно мнѣ.  
Еще вотъ такого пострѣла  
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ!  
Смотри же!“ Жена застыдилась:  
— Довольно съ тебя одного!  
(А знала, подѣ сердцемъ ужъ билось  
Дитя)... „Ну, Машукъ, ничего!“  
И Проклушка сталь на телѣгу,

Машутку съ собою посадиль.  
Вскочиль и Грипуха съ разбѣгу,  
И съ грохотомъ возъ покатиль  
Воробушковъ стая слетѣла  
Съ сноповъ, надѣ телѣгой завилась...  
И Дарьюшка долго смотрѣла,  
Отъ солнца рукой заслонясь,  
Какъ дѣти съ отцомъ приближались  
Къ дымящейся ригѣ своей  
И ей изъ сноповъ улыбались  
Румяныя лица дѣтей...

Люди они, и ничто человѣческое имъ не чуждо,—эти Прокль и Дарья, а не рабы; и трудъ этотъ не рабій. „Удалъ молодецкая“ сбережена и, значитъ, не мечта—этотъ „свободный трудъ“ крестьянина, „залогъ (его) домашняго благополучія и блага общественнаго“.

Густъ еще, страшно густъ мракъ невѣжества надѣ глубоко-несчастной страной; мы еще до сихъ поръ—„пятно невѣжества“ на свѣтломъ фонѣ общечеловѣческой цивилизаціи; насъ еще не перестали называть варварами и все еще плохо отличаютъ (въ цѣломъ) отъ татаръ; мы все еще въ сосѣдствѣ съ Турціей. А вмѣстѣ и до сихъ поръ не перестали подавлять такъ или иначе „необузданное стремленіе молодыхъ людей изъ низшихъ сословій къ высшему образованію, изъемлющему ихъ изъ первобытнаго состоянія безъ пользы для государства“. Но этотъ мракъ „былъ гуще“, „собирается съ силами русскій народъ и учится быть гражданиномъ“.

Некрасовъ вѣруеть въ народъ:

Кто видываль, какъ слушаетъ  
Своихъ захожихъ странниковъ  
Крестьянская семья,  
Пойметъ, что ни работаю,  
Ни вѣчною заботою  
Еще народу русскому  
Предѣлы не поставлены:  
Предъ нимъ широкій путь!  
Когда измѣнять пахарю  
Поля старозапашныя,  
Клочки въ лѣсныхъ окраинахъ  
Онъ пробуетъ пахать.  
Работы тутъ достаточно,  
Зато полоски новыя  
Даютъ безъ удобренія  
Обильный урожай.

Такъ почва добрая—  
Душа народа русскаго...  
О, сѣятель! приди!..

„Почва добрая“... Но, къ великому горю сироты - народа, все еще „старозапашныя поля“ засѣваются, а для „новыхъ полосокъ“ все еще немного пахарей, да и тѣ—гдѣ они? „Смогли честные, доблестно павшіе, смогли ихъ голоса, за несчастный народъ вопіавшіе“... Зато какъ много еще такихъ, которые выросли на „старозапашныхъ поляхъ“; они не вѣрятъ въ „полоски новыя“: „варвары, дикое скопище пьяницъ“, — „черства душа крестьянина“, говорятъ они; должно быть, ихъ душа очень мягка... Ихъ, разумѣется, не убѣдить, ибо давно еще сказано ими: „доводъ порядокъ въ словахъ—подлыхъ то есть дѣло, а знатнымъ полно утверждать или отрицать смѣло“. Не къ этимъ старымъ обращены и рѣчи „заступника народнаго“, а къ тѣмъ „юнымъ“, которые свободны отъ предрасудковъ и пережитковъ прошлаго и потому вѣрятъ, что „тема старая—страданія народа“—„не старѣетъ“. Ихъ, „умѣлыхъ, съ бодрыми лицами“, Некрасовъ зоветъ „сѣять разумное, доброе, вѣчное“:

Трудъ засѣвающихъ робко, крупницами  
Двиньте впередъ!

Имъ общаетъ онъ „спасибо сердечное“ русскаго народа. Имъ, этимъ „сѣятелямъ знанья на ниву народную“, Некрасовъ скажетъ и они ему повѣрятъ, что въ губерніи Безграмотной старъ и малъ не отводятъ глазъ отъ той свѣтлой полосы знанія, что прорѣзала вѣками сбравшійся мракъ.

Ужъ на что неказистъ Якимъ Нагой на видъ: „грудь впалая, какъ вдавленный животъ; у глазъ, у рта излучины, какъ трещины на высохшей землѣ; и самъ на землю матушку похожъ онъ: шея бурая, какъ пласть, сохой отрѣзанный, кирпичное лицо, рука—кора древесная, а волосы—песокъ“. „Человѣкъ каменнаго вѣка, онъ привыкъ къ душнымъ потемкамъ курной и грязной избы, не мечте бисера“... говорили и говорятъ о немъ тѣ „строгіе цѣнители и судьи“, „уважать кого должны мы на безлюдьи“. А Некрасовъ увидѣлъ въ этой „гориллѣ“ человѣка, да еще какого!

Съ нимъ случай былъ: картиночекъ  
Онъ сыну накопилъ,  
Развѣшалъ ихъ по стѣночкамъ  
И самъ не меньше мальчика  
Любилъ на нихъ глядѣть.

Пришла немилость Божія—  
Деревня загорѣлася—  
А было у Якимушки  
За цѣлый вѣкъ накоплено  
Цѣлковыхъ тридцать пять;

Скорѣй бы взять цѣлковые,  
А онъ сперва картиночки  
Сталь со стѣны срывать;  
Жена его тѣмъ временемъ  
Съ иконами возилася,  
А тутъ изба и рухнула—  
Такъ оплошалъ Якимъ!  
Слились въ комокъ цѣлковики,

За тотъ комокъ даютъ ему  
Одиннадцать рублей...  
„Ой, братъ Якимъ! не дешево  
Картинки обошлись!  
Зато и въ избу новую  
Повѣсилъ ихъ, небось?“  
— Повѣсилъ—есть и новыя,—  
Сказалъ Якимъ и смолкъ.

Это старъ, а вотъ малъ—дѣвочка-сиротка, Оеклуша,—этотъ удивительно изящный и нѣжный образъ, въ которомъ Некрасовъ воплотилъ страстную жажду свѣта въ крестьянскихъ дѣтяхъ. Предъ вами „Дядюшка Яковъ“, „сѣденый самъ“, „вздитъ“, „продаетъ понемногу“.

Дай ему свеклы, картофельку, хрѣну,  
Онъ тебѣ все, что полюбится—на!  
Богъ, видно, далъ ему добрую душу.  
Вадить, кричить то и знай:  
„По грушу! по грушу!  
Купи, смѣняй!“

„Намѣняли сластей, накупили:“ дѣвки—рожковъ, орѣховъ, малолѣтки—„пряниковъ, щукъ, окуней, китовъ, коней сусальныхъ“...

Жалко дѣвочку сиротку Оеклушку:  
Всѣ-то жуютъ, а ты слюнки глотай...

Поторговавши сладостями, „бабьимъ товаромъ“, старикъ выкрикиваетъ „новы коврижки-книжки, буквари“: „дѣткамъ наука, уменъ съ ними будешь“.

И букварей таки много купили.  
„Будетъ вамъ пряниковъ, нате-ка вамъ!“  
Пряники, правда, послаще бы были,  
Да рассудилось ужъ такъ старикамъ.  
Книжки съ картинками, писаны четко—  
То-то дойти бы, что писано тутъ!  
Молча крѣпилась Оеклуша сиротка,  
Глядя, какъ пряники дѣти жуютъ.  
А какъ увидѣла въ книжкахъ картинки,  
Такъ на глазахъ навернулись слезинки.  
Сжалился, далъ ей букварь старина;  
„Коли бѣдна ты, такъ будь ты умна!“  
Экой старикъ! видно добрую душу!

Нѣтъ, не даромъ Некрасовъ „дѣтскаго глаза любилъ выражение“, не даромъ изъ этихъ „внимательныхъ глазъ“—„все сѣрые, каріе, синіе глазки“ „смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты“—



шло „умиленье“ въ измученную, полную „мести и печали“, душу героя-раба: „въ нихъ столько покоя, свободы и ласки, въ нихъ столько святой доброты“. Онъ „часто видѣлъ“ крестьянскихъ дѣтей и потому „любилъ“ ихъ, эти дѣтскіе глазенки, горящіе блескомъ внутренняго огня, эти вдумчивыя, не по-дѣтски серьезныя, часто грустныя личики: потому-то, онъ такъ глубоко вѣрилъ въ „добрую почву“ души народной; онъ думалъ:

Не бездарна та природа,  
Не погибъ еще тотъ край,  
Что выводитъ изъ народа  
Столько славныхъ то и знай,  
Столько добрыхъ, благородныхъ,  
Сильныхъ любящей душой  
Посреди тупыхъ, холодныхъ  
И напыщенныхъ собой!

Нѣтъ, не бесплодна нива народная, еще совсѣмъ не поднять черноземъ:

...Учите - ка дѣтей!  
Не бѣда, что люди голы;  
Лишь бы стали поумнѣй.  
Перестанетъ ѣсть солому,  
Трусу праздновать народъ...

Свободный, производительный, не экспроприруемый трудъ и свѣтъ знанія въ той мѣрѣ, въ какой они изъ области мечты будутъ переходить въ русскую жизнь, будутъ повышать жизнедеятельность и, слѣдовательно, жизнеспособность народнаго организма. Будутъ возстанавливаться матеріальныя силы народа, будетъ крѣпнуть и свѣтлѣть его мысль, и земля уже не будетъ держать его въ плѣну, и свободный, сильный, во весь ростъ выпрямившись, станетъ „святорусскій богатырь“ на землѣ. Герой-рабъ, что сиднемъ сидѣлъ тридцать лѣтъ и три года—, не несуть-то все, не служатъ ножки рѣзвья“—встанетъ и бодро пойдетъ на тую ли работушку крестьянскую; но, какъ и „крестьянскій сынъ“, Илья Муромецъ, онъ не удовольствуется „крестьянствованіемъ“, онъ совершитъ рядъ подвиговъ богатырскихъ, чтобы устроить народную жизнь внутри и защитить ея интересы и нужды извнѣ,—онъ выучится быть гражданиномъ: „расправитъ свои ножки рѣзвья“, и „понесутъ“ и „удержать“ онъ его...

Гдѣ же, въ чемъ Некрасовъ видитъ основаніе для вѣры въ осуществленіе этой мечты о полномъ и совершенномъ (отъ всякихъ „крѣпей“) освобожденіи раба?

Оно прежде всего въ этомъ изумительномъ „упорствѣ“, съ которымъ герой-рабъ „терпитъ“ свою вѣковую страду. Это „изумляющее“ терпѣніе—совсѣмъ не то, о чемъ „молятъ попы по церквамъ“, это не терпѣніе холопа, которое только „досаду родить“: „чѣмъ хуже былъ бы твой удѣлъ, когда бъ ты менѣе терпѣлъ“,—это изумительная выносливость богатыря, которому „смерть на бою не писана“: бей, бей, бей, не убьешь, а удалю я про случай сберегу.

— Какъ вы терпѣли, дѣдушка?

„А потому терпѣли мы,  
Что мы — богатыри.  
Въ томъ богатырство русское.  
Ты думаешь, Матренушка,  
Мужикъ—не богатырь?  
И жизнь его не ратная  
И смерть ему не писана  
Въ бою - а богатырь!

Цѣпями руки кручены,  
Желѣзомъ ноги кованы,  
Спина... лѣса дремучіе  
Прошли по ней—сломалися.  
А грудь? Илья Пророкъ  
По ней гремитъ—катается  
На колесницѣ огненной...  
Все терпитъ богатырь...  
И гнется, да не ломится,  
Не ломится, не валится...  
Ужли не богатырь?

Это богатырство народа не сразу открылось Некрасову. Вмѣстѣ съ народомъ Некрасовъ прошелъ долгій трудный путь узнанія народной правды. „Бурлакъ“ 1860 г. (стих. „На Волгѣ“) и „Бурлакъ“ конца 1876 г. (въ „Кому на Руси жить хорошо“)—двѣ крайнія стадіи въ развитіи его „жгучаго, святого безпокойства за жребій“ народа. „Унылый, сумрачный бурлакъ“, какимъ его Некрасовъ въ дѣтствѣ зналъ и какимъ онъ видѣлъ его въ 1860 г., въ 1876 г. ему показался уже совсѣмъ другимъ—„измученнымъ“, но „съ походкой праздничной, въ рубахѣ чистой, въ карманѣ мѣдь звенить“:

Плечами, грудью и спиной  
Тянулъ онъ барку бичевой,  
Полднѣвный зной его палилъ,  
И потъ съ него ручьями лилъ,

И падалъ онъ и вновь вставалъ,  
Хрипя „дубинушку“ стоналъ;  
До мѣста барку дотянулъ  
И богатырскимъ сномъ уснулъ,  
И, въ банѣ смывъ по утру потъ,  
Безпечно пристанью идетъ.  
Зашиты въ поясъ три рубля;  
Остаткомъ—мѣдью—шевели,  
Подумалъ мигъ, зашелъ въ кабакъ.  
И молча кинулъ на верстакъ  
Трудомъ добытые гроши,  
И, выпивъ, крикнулъ отъ души,  
Перекрестилъ на церковь грудь:  
Пора и въ путь! пора и въ путь!  
Онъ бодро шель, жевалъ калачъ,  
Въ подарокъ несъ женѣ кумачъ,  
Сестрѣ платокъ, а для дѣтей  
Въ сусальномъ золотѣ коней.  
Онъ шель домой—не близкій путь,  
Дай Богъ дойти и отдохнуть!

И дойдетъ, и отдохнетъ, пусть и не близкій путь... И вмѣстѣ съ Гришей (ему завѣщаетъ поэтъ сложить „новую пѣсню“) ваши мысли съ бурлака „ко всей Руси загадочной, къ народу перешли“.

И долго Гриша берегомъ  
Бродилъ, волнуясь, думая,  
Покуда пѣсней новою  
Не утолилъ натруженной  
Горящей головы.

### Р у с ь.

Битву кровавую  
Съ сильной державою  
Царь замышлялъ.  
„Хватить ли силушки?  
Хватить ли золота?“  
Думалъ, гадалъ.

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и могучая,  
Ты и безсильная,  
Матушка Русь!

Въ рабствѣ спасенное  
Сердце свободное—  
Золото, золото  
Сердце народное!

Сила народная,  
Сила могучая;  
Совѣсть спокойная,  
Правда живучая!

Сила съ неправдою  
Не уживается.  
Жертва неправдою  
Не вызывается—

Русь не шелохнется,  
Русь—какъ убитая!  
А загорѣлась въ ней  
Искра сокрытая—

Встали не бужены,  
Вышли не прошены.

Жита по зернышку  
Горы нанопены!  
Рать подымается  
Неисчислимая  
Сила въ ней скажется  
Несокрушмая!

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и забитая,  
Ты и всесильная,  
Матушка Русь!..

„Сердце свободное“, „совѣсть спокойная“, „правда живучая“— вотъ не сгнившій въ топи рабства фундаментъ будущаго великаго зданія народной жизни.

„Повымахали косточки, повымотали душеньку, а удалъ молодецкую про случай сберегли!“ Это—отвѣтъ на вопросъ, который въ минуты „унынія“ терзалъ Некрасова „жгучимъ, святымъ безпокойствомъ“:

Люблю тебя, пою твои страданья,  
Но гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы  
Тебя на свѣтъ?

Онъ самъ, ибо смерть ему въ бою не писана, „удалъ молодецкую про случай сберегъ“ онъ... „Зашиты въ поясъ три рубля“... Онъ дойдетъ, онъ отдохнетъ, пусть и не близкій путь...

Некрасовъ не слышалъ наяву мощныхъ и радостныхъ аккордовъ новой пѣсни. Но „не все же имъ пѣсни пѣть унылыя... Съ хорошей пѣсенки духомъ поднимаются бѣдные, забитые“... И въ полуснѣ поэтическаго очарованія, насыщеннаго яркимъ свѣтомъ не поколебленной, пусть и колебавшейся вѣры, „краше прежней пѣсенка слагалась“.

Слышалъ онъ въ груди своей силы необъятныя,  
Услаждали слухъ его звуки благодатныя,—  
Звуки лучезарные гимна благороднаго—  
Пѣлъ онъ воплощеніе счастья народнаго?

## ГЛАВА III.

# Муки „больной совѣсти“.

### I.

Пала грусть-тоска тяжелая  
На кручинную головушку;  
Мучить душу мука смертная;  
Вонъ изъ тѣла душа просится...

*А. В. Колюцовъ.*

Онъ умиралъ „въ созерцаньи безмѣрныхъ страданій и въ сознаньи безсилья“—этотъ печальникъ горя народнаго; „какъ жертву на закланье“, его „влекла недуга черная рука“. „Боже, что съ нимъ сдѣлалъ недугъ!—писалъ Тургеневъ („другъ моей юности, нынѣ мой врагъ“, какъ говорилъ о немъ Некрасовъ незадолго до смерти) въ своемъ „Послѣднемъ свиданіи“—желтый, высохшій, съ лысиной во всю голову, съ узкой сѣдой бородой... Порывисто протянулъ онъ мнѣ страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошепталъ нѣсколько невнятныхъ словъ—привѣтъ ли то былъ, упрекъ ли—кто знаетъ? Изможденная грудь заколыхалась—и на съжатые зрачки загорѣвшихся глазъ скатились двѣ скупыя страдальческія слезинки. Сердце во мнѣ упало“...

Двѣсти ужъ дней,  
Двѣсти ночей  
Муки мои продолжаются;  
Ночью и днемъ  
Въ сердцѣ твоємъ  
Стоны мои отзываются,  
Двѣсти ужъ дней,  
Двѣсти ночей!

„Во вторникъ, 27 декабря, въ 8½ часовъ вечера, окончились для Некрасова его тяжкія, невыносимыя муки. Онъ

умеръ послѣ тяжелой агоніи, продолжавшейся болѣе полу-сутокъ<sup>1)</sup>).

Въ этихъ мукахъ, „невыносимыхъ, кромѣшныхъ“ мукахъ боль душевная едва ли не была сильнѣе физическихъ страданій. „Неутолимая тоска“ порой давила его изстрадавшуюся грудь, мучила душу „мука смертная“... И ему страшно дѣлалось... Не смерти онъ страшился, нѣтъ: онъ томился тѣмъ безысходнымъ „томленіемъ духа“, о которомъ еще древній говорилъ Соломонъ. „Суета суеть, суета суеть, все суета!.. Что было, то и будетъ, и что дѣлалось, то и будетъ дѣлаться, и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ... И оглянулся я на всѣ дѣла мои, которыя сдѣлали руки мои, и на трудъ, которымъ я трудился, дѣлая ихъ: и вотъ, все—суета и томленіе духа, и нѣтъ отъ нихъ пользы подъ солнцемъ“.

„Воля къ жизни“, желаніе, чтобы „отъ жизни краткой... какой-нибудь остался слѣдъ“, — свойственно всему живому; это—могущественнѣйшій инстинктъ. Но у человѣка онъ проявляется не только зоологически:

Боюсь не смерти я, о, нѣтъ!  
Боюсь исчезнуть совершенно,—

писалъ еще совсѣмъ юный Лермонтовъ. Для него „жизнь скучна, когда боренья нѣтъ“:

Мнѣ нужно дѣйствовать, я каждый день  
Безсмертнымъ сдѣлать бы желалъ, какъ тѣнъ  
Великаго героя...

...Мнѣ жизнь все какъ-то коротка  
И все боюсь, что не успѣю я  
Свершить чего-то. Жажда бытія  
Во мнѣ сильнѣй страданій роковыхъ...

Для такихъ „сильныхъ“ особенно тягостно „сознанье безсилья“; для нихъ, свѣтящихся жизнью, мучительны „сумерки души“, томителенъ „межъ радостью и горемъ полусвѣтъ“, когда

Душа сама собою стѣснена,  
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,  
Находишь корень зла въ себѣ самомъ.  
И небо обвинить нельзя ни въ чемъ.

Въ страшную минуту рокового конца, когда „ярко вспыхнувъ, гаснетъ свѣча, и сильный сумракъ поглощаетъ предметы... пол-

---

<sup>1)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“, 1877, № 334, 22 декабря. Привед. въ книгѣ А. Н. Пыпина „Н. А. Некрасовъ“, стр. 276.

зеть... и постепенно заволакиваетъ все\*, въ эту ужасную минуту смерти лишь немногимъ счастливымъ суждено спокойно и прямо смотрѣть въ лицо вопрошающей жизни, и, „въ минувшее проникнувъ“, видѣть въ немъ „дѣла“, а въ этихъ дѣлахъ—право на жизнь по смерти. „Переживание себя“, „переживание душою праха“—удѣлъ избранныхъ; имъ могила не страшна, они „спокойны душою“:

Нѣтъ, весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ  
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжить...

или:

Милый другъ! Я умираю  
Оттого, что былъ я честенъ,  
Но зато родному краю  
Вѣрно буду я извѣстенъ.

Милый другъ! Я умираю,  
Но спокоенъ я душою  
И тебя благословляю:  
Шествуй тою же стезею.

Такихъ мало, такіе „учать умирать“.

Природа-мать! Когда бъ такихъ людей  
Ты иногда не посылала міру,  
Заглохла-бъ нива жизни...

Некрасовъ умиралъ не спокойно:

Жизнь смѣется,—въ глаза говоритъ:  
Не лелѣй никакихъ упованій,  
Передъ разумомъ сердце смири,  
Въ созерцаньи безмѣрныхъ страданій  
И въ сознаньи безсилья умри!

Онъ не былъ увѣренъ въ томъ, что „переживетъ себя“, такъ какъ не былъ увѣренъ, что, „служа великимъ цѣлямъ вѣка жизнь свою *всецѣло* отдалъ на борьбу за брата-человѣка“. „Безпощадно“, въ виду приближающейся смерти, онъ вскрывалъ свои старыя раны. Черные, пугающіе призраки прошлаго рѣяли въ его болѣзненно-напряженномъ сознаніи. Онъ вспоминалъ, онъ видѣлъ:

Лукаво жизнь впередъ манила,  
Какъ моря вольныя струи,  
И ласково любовь сулила  
Мнѣ блага лучшія свои.  
Душа пугливо отступила...

И шель онъ „тропкой торною“ „во станъ безвредныхъ“, когда „полезнымъ“ могъ бы быть: „склонила муза ликъ печальный и тихо зарыдавъ, ушла“...

Онъ вспоминалъ:

Въ ночи..  
Когда свободно рыскалъ звѣрь,  
А человѣкъ бродилъ пугливо,

онъ, „сынъ больной больного вѣка“, „твердо свѣточъ свой держаль“...

Но небу не угодно было,  
Чтобъ онъ подь бурей запылалъ,  
Путь освѣщая всенародно;  
Дрожащей искрою впотьмахъ  
Онъ чуть горѣлъ, мигаль, метался...

Мучительны были эти воспоминанія, безотрадны были эти видѣнія. И вотъ теперь, „идя къ закату дней“, онъ думалъ: „я умру, моя померкнетъ слава... ей долгимъ, яркимъ свѣтомъ не горѣтъ на имени моемъ“:

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,  
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.

Онъ терзался безотвязной думой: „горемыка-пѣвецъ“, онъ „даже вполголоса не пѣвалъ“; умирая, онъ мучился сознаниемъ, что „робко“ и невнятно пѣлъ, и не сказалъ всего, что могъ сказать, и не такъ говорилъ, какъ долженъ былъ говорить.

Онъ вспоминалъ свою „угрюмую музу“, и видѣлась она ему въ „вѣнкѣ терновомъ“, „неласковая и нелюбимая муза, печальная спутница печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда страданья и оковъ, та муза плачущая, скорбящая и болящая“, что бывало

Украдкой, блѣдная, придетъ  
И шепчетъ пламенные рѣчи  
И пѣсни гордыя поетъ,  
Зоветь то въ города, то въ степи,  
Завѣтнымъ умысломъ полна;  
Но загремятъ внезапно цѣпи,  
И мигомъ скроется она...

Обозрѣвая угасающимъ взоромъ вмѣстѣ съ „угрюмой музой“ пройденный путь, на которомъ встрѣчалъ онъ такъ много „преградъ“ и такъ „мало свободныхъ вдохновеній“, онъ видѣлъ:

Чрезъ бездны темныя Насилія и Зла,  
Труда и Голода она меня вела...



То былъ тяжелый, крестный путь; здѣсь были „въ смѣшеніи безумномъ“ „расчеты мелочной и грязной суеты, и юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты, погибшая любовь, подавленныя слезы, проклятья, жалобы, безсильныя угрозы“... Тяжело было идти... И съ жгучей болью въ исколотившемся, надорванномъ сердцѣ поэтъ долженъ былъ признаться себѣ:

Не торговаль я лирой, но бывало,  
Когда грозилъ неумолимый рокъ,  
У лиры звукъ невѣрный исторгала  
Моя рука...

„Жадными очами“ вглядывался умирающій въ „гнусную расейскую дѣйствительность“, и съ ужасомъ убѣждался, что нѣтъ всходовъ на той нивѣ, по которой съ такимъ трудомъ, съ такими жертвами шелъ онъ, сѣя „разумное, доброе, вѣчное“. Смотрѣлъ онъ и „на оный путь—журнальный путь,—на путь, гдѣ шагу мы не ступимъ безъ сдѣлокъ съ совѣстью своей“,—„на трудъ, которымъ трудился“... „И вотъ, все суета и томленіе духа“, и нѣтъ отъ него пользы... Онъ пѣлъ „любовь и трудъ“, и, умирая, видѣлъ ихъ „подъ грудями развалинъ“: „куда ни глянь—предательство, вражда“. „Терпѣниемъ изумляющему народу“ онъ посвятилъ свою „музу мести и печали“, онъ „призванъ былъ воспѣть страданія“ тѣхъ, кто „безъ наслажденія живетъ, безъ сожалѣнья умираетъ“, сказать о „суровой долѣ“ „все выносящаго русскаго племени“, гдѣ жить значитъ платить „за крошку хлѣба каплю пота“, гдѣ „сгнбнуть ничто не мѣшаетъ“, и умиралъ въ мучительно тягостномъ раздумьи надъ „тайной довольства народнаго“:

Народъ освобожденъ; но счастливъ ли народъ?  
Въ жизни крестьянина, нынѣ свободнаго,  
Бѣдность, невѣжество, мракъ...

„Иныя времена“, начало которыхъ „провидѣлъ“ писатель („Горе стараго Наума“), такъ и не пришли; „мечты“ не свершились... И казалось угасающему печальнику „труждающихся и обремененныхъ“, что „безцѣльно звучала лира“ его, и „некому будетъ жалѣть“ о немъ:

Я настолько же чуждымъ народу  
Умираю, какъ жить начиналъ...

Почему? Этотъ вопросъ былъ едва ли не самымъ тягостнымъ для Некрасова; отвѣтить на него значило отдать на судъ потомства, на судъ всѣхъ, „раненое въ самомъ началѣ жизни сердце“,

обнажить „никогда не заживавшую, не закрывавшуюся рану“, которая „и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой такъ часто долѣ его“.

Но, видно, не даромъ „родимая“ „видалась“ съ „погибающимъ сыномъ“ своимъ; видно, не даромъ „волею твердою“ „укрѣпляла“ въ немъ „силу свободную, гордую“, что въ его грудь „заложила“; видно, не даромъ она—„чистѣйшей любви божество“—учила его „не робѣть передъ правдой-царицей“... „Какъ то одинъ литераторъ спросилъ у Л. Н. Толстого, ясенъ ли для него Некрасовъ, какъ личность. „О, вполне,—отвѣтилъ Л. Н.—Онъ мнѣ очень нравился за свою прямоту и отсутствіе въ немъ какого бы то ни было лицемѣрія. Всегда онъ прямо и открыто говорилъ о своихъ дѣлахъ и чувствахъ. Иногда въ его словахъ проскальзывалъ скорѣе нѣкоторый цинизмъ, нежели сентиментальность“. „Если кому-нибудь изъ его знакомыхъ,—говорить о Некрасовѣ Н. Г. Чернышевскій,—не ясно было, почему онъ поступалъ такъ, а не иначе въ какомъ-нибудь случаѣ, то надобно было только спросить у него, почему онъ поступилъ такъ, и онъ отвѣчалъ прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда бъ уклонился (онъ) отъ прямодушнаго объясненія своихъ мотивовъ,—ни одного такого случая не было, не то что лишь въ разговорахъ его со мною, но и во всѣхъ тѣхъ разговорахъ съ другими, какіе происходили при мнѣ. Онъ былъ человѣкъ очень прямодушный“<sup>1)</sup>. Не уклонился онъ отъ объясненія и по этому вопросу и, какъ ни больно ему было, „горькой правды“ не скрылъ и „робко голову склонилъ при словѣ: честный гражданинъ“:

Народъ! Народъ! мнѣ не дано геройства  
Служить тебѣ,—плохой я гражданинъ...

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,  
Терпѣньемъ изумляющій народъ!  
И бросить хотъ единый лучъ сознанья  
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;  
Но, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ  
Прикованный привычкой и средой,  
Я къ цѣли шель колеблющимся шагомъ,  
Я для нея не жертвовалъ собой;

<sup>1)</sup> См. назв. соч. Пыпина, стр. 245.

И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла,  
И до народа не дошла она,  
Одна любовь сказаться въ ней успѣла  
Къ тебѣ, моя родная сторона!

„Мучить душу мука смертная“... Страшнымъ призракомъ стояла предъ умирающимъ „людская злоба“ и пугала его „больную совѣсть“: „увеличить во сто кратъ мои вины людская злоба“.

Заступись, страна моя родная!  
Дай отпоръ!.. Но родина молчить...

---

## II.

„Человѣкъ онъ былъ“...

Тридцать лѣтъ прошло... „Человѣка давно нѣтъ,—говоритъ А. Н. Пыпинъ <sup>1)</sup>);—осталось одно дѣло писателя, одинъ умственный и поэтический трудъ,—то и другое было во всякомъ случаѣ явленіемъ не совершенно обыкновеннымъ... Естественно было разъяснить именно эту сторону лица, біографіи и литературнаго наслѣдія“, ту самую, о которой говоритъ „неизвѣстный другъ“, приславшій Некрасову стихотвореніе въ тѣ ужасные дни, когда „отпрянули въ смущеніи] стоявшія безсмѣнно“ передъ нимъ „великія страдальческія тѣни“ и „кричали безличныя: ликуемъ! спѣша въ объятія къ новому рабу и пригвождая жирнымъ поцѣлуемъ несчастнаго къ позорному столбу“... „Неизвѣстный другъ“, сказавши о томъ, что говорили <sup>2)</sup> „ликующіе враги“, спрашивалъ:

<sup>1)</sup> Назв. соч., стр. 6.

<sup>2)</sup> Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ—ложь;  
Прельщаешь ты притворною слезою  
И словомъ лишь къ добру толпу влечешь,  
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.  
Но ихъ рѣчамъ меня не убѣдить:  
Иное мнѣ твой взглядъ сказалъ невольно;  
Повѣрить имъ мнѣ было бѣ горько, больно...  
Не можетъ быть.

Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,  
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень,  
Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,  
А сердце холодно, какъ камень!  
Но отчего жъ весь міръ... и т. д.

Ср. слова Полонскаго „О Н. А. Некрасовѣ“, въ которомъ онъ видитъ „вѣщаго пѣвца страданій и труда“:

... пускай кричитъ молва,  
Что это были все слова, слова, слова,  
Что онъ лишь тѣшился порой

„Но отчего жъ весь міръ сильнѣй любитъ  
Мнѣ хочется, стихи твои читая?  
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?  
Не можетъ быть!“

И однако, „слишкомъ многіе изъ тѣхъ, кто писали и говорили въ „некрасовскіе дни“, останавливались, напротивъ, съ особеннымъ, какъ будто злораднымъ, усердіемъ именно на темныхъ, отрицательныхъ сторонахъ лица и біографіи“ <sup>1)</sup>.

Съ тѣхъ поръ прошло еще пять лѣтъ, а все еще не улеглась „людская злоба“, все еще есть охотники <sup>2)</sup> „добывать“ того, кто говорилъ о себѣ когда-то:

„Не мудрено того добить,  
Кого ужъ добывать не надо“;

---

Литературною игрою козырной,  
Что съ юныхъ лѣтъ его грызеть  
То зависть жгучая, то ледяной расчетъ.

Предъ запоздалою молвой,  
Какъ вы, я не склонюсь послушной головой;  
Ей нипочемъ сказать уму:  
За то, что ты свѣтилъ, иди скорѣй во тьму...  
Молва и слава—два врага;  
Молва мнѣ не судья и я ей не слуга.

<sup>1)</sup> Пыпинъ, *ibid*.

<sup>2)</sup> Я имѣю въ виду книгу г. Гутьяра „И. С. Тургеневъ“, Юрьевъ, 1907, а въ ней гл. X: „И. С. Тургеневъ и Н. А. Некрасовъ“. Приводя только „свидѣтелей обвиненія“, не слушая обвиняемаго и его защиту, г. Гутьяръ являетъ собою „неумолимаго“ прокурора, понимая это слово въ смыслѣ „обвинитель“, хотя, въ сущности, и эта роль ему не всегда по плечу, и онъ сбивается иногда на обывателя, „перемывающаго косточки“, который съ высоты своего „довольства“ „развѣнчиваетъ“ авторитеты (досталось въ его книгѣ и тому, кого самъ Тургеневъ назвалъ „великимъ писателемъ земли русской“). Его защита Тургенева оскорбительна для памяти прежде всего самого Тургенева. Вѣдь они примирились: „смерть примирила“ ихъ. Передъ ея испытующимъ лицомъ съ „глубокими, блѣдными глазами“, съ „блѣдными, строгими губами“ Тургеневъ не могъ обвинить въ происшедшемъ разрывѣ одного Некрасова: „мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но *насталъ недобрый мигъ—и мы разстались какъ враги*“ (курсивъ мой). Вотъ что рассказываетъ объ этомъ „последнемъ свиданіи“ Тургенева съ Некрасовымъ Н. К. Михайловскій. Некрасовъ въ долгіе дни своей послѣдней болѣзни „получалъ со всѣхъ концовъ Россіи множество писемъ, адресовъ, телеграммъ отъ почитателей, скорбѣвшихъ о тяжкихъ страданіяхъ любимаго поэта. Посѣщали его, конечно, главнымъ образомъ, литераторы. Посѣтилъ его и Тургеневъ, когда-то закадычный другъ, а потомъ врагъ, много несправедливаго о немъ сказавшій и отрицавшій даже его поэтической талантъ. Это посѣщеніе,

все еще „естъ (говоря словами Н. К. Михайловскаго) неумолимые, которые не прощаютъ и непремѣнно желаютъ развѣнчать Некрасова. Должно быть, ихъ собственная совѣсть чиста, какъ зеркало, въ которое они могутъ спокойно любоваться на свои добродѣтели и гражданскіе подвиги. Должно быть, ихъ головы увѣнчаны безспорными лаврами“. Они, эти „строгіе цѣнители и судьи“, „всѣхъ мѣряя на собственный аршинъ, въ чужой душѣ читаютъ ясно“. Въ ихъ грубомъ обращеніи съ человѣческой душой не видно той осторожности, какой она достойна; они не знаютъ (или забыли) мудрыхъ словъ: „кто знаетъ изъ людей, что въ человѣкѣ—только духъ человѣка, живущій въ немъ“. Еще въ началѣ своего поприща Некрасовъ видѣлъ этихъ враговъ своихъ — „друзей спокойнаго искусства“, „сплетающихъ хвалы“ „незлюбивому поэту“, который „чуждъ сомнѣнія въ себѣ — сей пытки творческаго духа“, который любитъ „безпечность и покой, гнушаясь дерзкою сатирой“. Такихъ „не гонять, не злословятъ, и современники ему при жизни памятникъ готовятъ“.

Но нѣтъ пошады у судьбы  
Тому, чей благородный геній  
Сталь обличителемъ толпы,  
Ея страстей и заблужденій.

Его преслѣдуютъ хулы:  
Онъ ловить звуки одобренья  
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,  
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Питая ненавистью грудь,  
Уста вооруживъ сатирой,  
Проходитъ онъ тернистый путь  
Съ своей карающею лирой.

И вѣря, и не вѣря вновь  
Мечтѣ высокаго призванья,  
Онъ проповѣдуетъ любовь  
Враждебнымъ словомъ отрицанья,

---

послѣ многихъ лѣтъ враждебныхъ отношеній и разлуки, окончательно убѣдилось бы страдальца въ близости конца, если бы онъ и безъ того не былъ въ этомъ увѣренъ. Я не присутствовалъ при этомъ свиданьи. Говорили послѣ, что оба бывшіе друга молча прослезились“... („Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. 1, стр. 84).

Зачѣмъ же г. Гутьяръ обвиняетъ одного Некрасова, оправдываетъ одного Тургенева? Какое право онъ имѣетъ выступать въ роли судьи, когда самъ Тургеневъ не судитъ? Зачѣмъ ему понадобилось поднимать эту тяжбу—печальный эпизодъ въ жизни обоихъ писателей, если они сами не хотѣли дѣлать ее достояніемъ потомства? Зачѣмъ? — вѣдь смерть *magistra* примирила ихъ.

Книга г. Гутьяра уже нашла надлежащую оцѣнку. Люди „разныхъ лагерей“ не разошлись во взглядахъ на эту книгу и осудили этотъ судъ, „равно лишенный и любви и пониманія“ („Вѣстникъ Европы“, ноябрь, 1907),—судъ человѣка, который „даже не желалъ быть безпристрастнымъ и хоть немного справедливымъ“ („Современный Миръ“, декабрь, 1907).

И каждый звукъ его рѣчей  
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,  
И умныхъ и пустыхъ людей,  
Равно клеймить его готовыхъ.

Со всѣхъ сторонъ его клянуть,  
И только трупъ его увидя,  
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,  
И какъ любилъ онъ, ненавидя!

Но и у трупа, и надъ свѣжей могилой, и надъ почернѣвшей могильной плитой—слышались и слышатся „хулы“, „крики озлобленья“ „враговъ суровыхъ“. Стихи его „карающей лиры“ все еще „жгутся“, и тѣ, кто не загорается ихъ огнемъ, а обжигается о нихъ, какъ и прежде, „готовы клеймить“ „обличителя“.

Не будемъ говорить о нихъ: скорбная годовщина смерти и похоронъ—не подходящее время для счетовъ: человѣкъ онъ былъ, и ничто человѣческое не было ему чуждо. *Errare humanum est.* „Выяснить все огромное значеніе „музы мести и печали“ для самой русской жизни,—говоритъ Л. Мельшинъ <sup>1)</sup>,—сможетъ лишь болѣе или менѣе отдаленная исторія; она же произнесетъ и окончательный приговоръ Некрасову, какъ человѣку и гражданину“. „Неизвѣстные друзья“ писателя, справляя по немъ печальную тризну, найдутъ глубокое нравственное удовлетвореніе въ бесѣдѣ о немъ съ тѣми,—увы, тоже мертвыми—друзьями покойнаго, которые близко его знали и, что особенно дорого, *sine ira et studio* пересказали свои личныя воспоминанія. Я имѣю въ виду А. Н. Пыпина и Н. Г. Чернышевскаго.

Книгъ А. Н. Пыпина „Н. А. Некрасовъ“ чуждо „то восторженное (хотя бы въ иномъ преувеличенное) отношеніе къ Некрасову, которое отвѣчало увлеченіямъ стараго времени“ <sup>2)</sup>; зато она даетъ безпристрастное и всестороннее обоснованіе того общаго начала для сужденій о Некрасовѣ, которое несомнѣнно введетъ этотъ „давнишній, старый споръ“ въ русло „исторической оцѣнки“ и, слѣд., положить конецъ „ликованію враговъ“. „Въ первые годы знакомства,—говоритъ А. Н. <sup>3)</sup>,—сложилась мои представленія о Некрасовѣ; потомъ они мало измѣнились. *Многое въ этомъ характеръ не давало нравственнаго удовлетворенія, но, въ общемъ счетъ и по силѣ благоприятныхъ впечатлѣній, въ моихъ впечатлѣніяхъ скорѣе преобладали и преобладаютъ симпатіи*“ (курсивъ мой). Къ тому же „общему счету“ сводятся впечатлѣнія отъ Некрасова и другого „современника, который близко зналъ Некрасова“,—Н. Г. Чернышевскаго: „Онъ былъ

1) „Очерки русской поэзіи“, стр. 141.

2) Стр. 6.

3) Стр. 7.

хорошій человекъ съ нѣкоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нимало загадочными сами по себѣ; не было ничего загадочнаго и въ томъ, почему онѣ развились въ немъ: общеизвѣстные факты его жизни очень отчетливо объясняютъ это“ <sup>1)</sup>).

Въ разъясненіе этого отзыва о Некрасовѣ позволю себѣ привести выдержку изъ письма его къ Тургеневу (отъ 27 іюля 1857 г.). Убѣждая Тургенева „поскорѣ воротиться домой (въ Россію) и жить спокойнѣе“, Некрасовъ пишетъ: „Здѣсь ждетъ тебя жизнь сѣренькая, но ты ужъ ее хорошо знаешь и сумѣешь, какъ и встарь, брать съ нея лучшее. А надо правду сказать, какое бы унылое впечатлѣніе ни производила Европа, стоитъ воротиться, чтобы начать думать о ней съ уваженіемъ и отрадой. Сѣро, сѣро! глупо, дико, глухо и почти безнадежно! И все-таки я долженъ сознаться, что сердце у меня билось какъ-то особенно при видѣ „родныхъ полей“ и русскаго мужика. Вотъ тебѣ стихи, которые я сложилъ вскорѣ по приѣздѣ:

Въ столицѣ шумъ—гремятъ витіи,  
Бичуя рабство, зло и ложь,  
А тамъ, во глубинѣ Россіи,  
Что тамъ? Богъ знаетъ... не поймешь!  
Надъ всей равниной безпредѣльной  
Стоитъ такая тишина,  
Какъ будто впала въ сонъ смертельный  
Давно дремавшая страна.  
Лишь вѣтеръ не даетъ покою  
Вершинамъ придорожныхъ нивъ,  
И выгибаются дугою,  
Цѣлуясь съ матерью-землею,  
Колосья безконечныхъ нивъ...

Что до меня, я доволенъ своимъ возвращеніемъ. Русская жизнь имѣетъ счастливую особенность сводить человекъ съ идеальныхъ вершинъ, поминутно напоминая ему, какая онъ дрянь,—дряню кажется и все прочее, и самая жизнь,—дряню, о которой не стоитъ много думать“ <sup>2)</sup>).

Въ послѣднихъ словахъ намѣчается глубокая жизненная драма. Узелъ ея завязывается самой жизнью, въ которой уживались рядомъ „идеальное“ и „дрянь“, „хорошее“ и „обыкновенное“; но лишь для немногихъ былъ ясенъ весь ужасъ этихъ

1) Назв. соч. Пыпина, стр. 244.

2) Пыпинъ, назв. соч., стр. 179.



„запутанностей“,—для тѣхъ, кто не могъ не думать о жизни, а размышляя о ней, какая она дрянь, не оставался равнодушнымъ къ тому „неизгладимому слѣду“, который и въ немъ самомъ оставили „года гнетущихъ впечатлѣній“, „навѣки поселивши въ душѣ привычки робкой тишины“. Здѣсь начало и источникъ того „рокового“, что превращаетъ жизнь почти всѣхъ лучшихъ русскихъ писателей въ „милльонъ терзаній“. „Писатель,—говорилъ Гоголь,—если только онъ одаренъ творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде какъ человекъ и гражданинъ земли своей, а потомъ уже принимайся за перо“. Это—люди чуткой, требовательной совѣсти, и потому для нихъ особенно тягостна жизнь, „въ сердцѣ бьющая могучею волной и въ грани узкія втѣсенная судьбой“. Если съ этой точки зрѣнія,—а она единственно правильная,—объяснять жизненную драму Некрасова, то получаютъ особенный смыслъ его слова о Гоголѣ въ одномъ изъ писемъ къ Тургеневу <sup>1)</sup>: „Вотъ честный-то сынъ своей земли! Больно подумать, что частныя уродливости этого характера для многихъ служатъ помѣхою оцѣнить этого человека, который писалъ не то, что могло бы болѣе нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считалъ полезнѣйшимъ для своего отечества. И ложь въ этой борьбѣ, и талантъ, положимъ, свой во многомъ изнасиловать, но каково самоотверженіе! Какъ ни озлобляетъ противъ Гоголя все, что намъ извѣстно изъ закулиснаго и даже кое-что изъ его печатнаго, а все-таки въ результатѣ это благородная и въ русскомъ мѣрѣ самая гуманная личность—надо желать, чтобы по стопамъ его шли молодые писатели въ Россіи“.

Это пожеланіе открываетъ „родную страну“ Некрасова, въ которую долженъ пойти тотъ, кто хочетъ понять поэта. Ее такъ опредѣляетъ Л. Мельшинъ <sup>2)</sup>. „Некрасовъ,—говоритъ онъ,—при всей глубинѣ и искренности своей любви къ народу, при всемъ несравненномъ знаніи народной жизни и психики..., никогда въ сущности не переставалъ чувствовать себя бариномъ-интеллигентомъ, находящимся въ неоплатномъ долгу передъ народомъ... Эта черта, которую Успенскій назвалъ „больной совѣстью“, болѣе приближала Некрасова къ поколѣнію младшему, нежели старшему. Герой-рабъ, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умѣлъ въ то же время до страсти,

<sup>1)</sup> Пыпинъ, назв. соч., стр. 187.

<sup>2)</sup> „Очерки русской поэзіи“, стр. 141.

до злобы ненавидѣть эту свою положительность, и болѣе „тяжкой работы совѣсти“, чѣмъ его скорбно покаянныя пѣсни, вплоть до 70-хъ годовъ, русская литература не знала. Въ глазахъ юныхъ современниковъ Некрасова покаянная нота его поэзіи была не недостаткомъ „величія“ въ характерѣ поэта, а, напротивъ, лучшимъ правомъ его на безсмертіе“.

Да, Некрасовъ былъ „честнымъ сыномъ своей земли“, потому что сумѣлъ въ душѣ своей спасти любовь къ странѣ своей родной, къ той родинѣ-матери, „грѣхами которой онъ самъ зарылся и для просвѣтленія которой сдѣлалъ такъ много“. И за то, что онъ возлюбилъ много, ему простится много. Въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ минутъ своей жизни, прося у родины прощенья, онъ говорилъ:

За каплю крови общую съ народомъ  
Прости меня, о, родина! прости!..

За каплю крови общую съ народомъ  
Мои вины, о, родина! прости!

Онъ искупилъ свои „вины“; онъ выстрадалъ себѣ прощенье. „Прямо жутко и страшно было слушать, — вспоминаетъ Н. К. Михайловскій <sup>1)</sup>),—эти обрывистыя, затрудненныя откровенныя рѣчи, когда Некрасовъ умиралъ. Умиралъ онъ долго и мучительно; несмотря на все свое самообладаніе, временами стоналъ, прямо кричалъ и плакалъ. Но въ свѣтлые промежутки неустанно думалъ и говорилъ о литературѣ. Поводовъ для этого было много. Онъ самъ писалъ или диктовалъ послѣднія изъ своихъ „послѣднихъ пѣсенъ“... Въ такомъ-то состояніи умирающей, худой какъ скелетъ, Некрасовъ и со мной, и со многими другими заводилъ свои затрудненныя, оправдательно-покаянныя рѣчи, перемежаемыя еще вдобавокъ стонами и криками. Очевидно было страстное желаніе выложить всю душу, уже еле державшуюся въ больномъ, изможденномъ тѣлѣ; страстное, послѣднее въ жизни желаніе раскрыть тайну жизни, можетъ быть даже не намъ, слушателямъ этой единственной въ своемъ родѣ исповѣди, а самому себѣ. Но умирающій не находилъ словъ для выраженія „той казни мучительной, которую въ сердцѣ носилъ“. Онъ то хватался за какой-нибудь отдѣльный эпизодъ своей жизни, то пробовалъ подвести ей общій итогъ, запинаясь и опять начиналъ. Въ сравненіи съ этой страшною сценой—ничто, дѣтскія игрушки

<sup>1)</sup> „Литературн. воспом. и соврем. смута“, т. 1, стр. 84—85.

тѣ шеголеватя публичныя исповѣди, авторы которыхъ само-довольно заявляютъ, что они отрясли прахъ прошлаго отъ ногъ своихъ и достигли высшей степени нравственнаго сознанія. Некрасовъ чувствовалъ и понималъ, что въ его прошломъ есть большая заслуга, отъ которой отречься не приходится. Но она трагически-фатально забрызгалась грязью, и предъ зіяющею пропастью смерти Некрасовъ не могъ ни другимъ рассказать, ни себѣ уяснить эту смѣсь добра и зла. Онъ старался, не могъ и мучился... Дѣло происходило въ той самой комнатѣ, въ которой поэтъ вспоминалъ своихъ „унесенныхъ борьбой“ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты,  
Пали жертвою злобы, измѣнъ  
Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты  
Укоризненно смотрять со стѣнъ..

Я не видалъ болѣ тяжелой работы совѣсти, да не дай Богъ и видѣть. А между тѣмъ такъ ли уже, въ самомъ дѣлѣ, велики вины Некрасова? И не искуплены ли онѣ благою стороною его дѣятельности и этою страшною, несказанною мукой совѣсти?"

Такъ оправдались слова „безконечно-трогательной молитвы-жалобы“. Онъ, котораго давила и порою гнула тяжесть жизни среди „ликующихъ, праздно болтающихъ, обагряющихъ руки въ крови“; онъ, котораго „душѣ мечтательно-пугливой“ не было дано „рѣшимости бороться“ въ „станѣ погибающихъ за великое дѣло любви“,—онъ „смертью доказалъ“,

Что въ немъ сердце не робкое билося,  
Что умѣлъ онъ любить...

„Смерть примирила...“ „Передъ ночью непробудной“ онъ не остался одинъ... Та „казнь мучительная“, которую онъ „въ сердцѣ носилъ“, дала „любовь и миръ“ его душѣ „страдающей и бурной“. И эта дивная гармонія съ людьми и Богомъ примирившейся совѣсти нашла себѣ изумительно человѣчное выраженіе въ „голосѣ чудномъ“, „голосѣ матери родномъ“:

Пора съ полуденнаго зноя,  
Пора, пора подъ сѣнь покоя;

Усни, усни, касатикъ мой!  
Прими трудовъ вѣнецъ желанный!  
Ужъ ты не рабъ—ты царь вѣнчанный,  
Ничто не властно надъ тобой!..

Усни, страдалецъ терпѣливый!  
Свободной, гордой и счастливой  
Увидишь родину свою...  
Баю-баю-баю-баю!

Еще вчера людская злоба  
Тебѣ обиду нанесла;  
Всему конецъ, не бойся гроба!  
Не будешь знать ты больше зла!  
Не бойся клеветы, родимый:  
Ты заплатилъ ей дань живой...

Не бойся горькаго забвѣнья:  
Ужъ я держу въ рукѣ моей  
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,  
Даръ кроткой родины твоей...

Уступить свѣту мракъ упрямый,  
Услышишь пѣсенку свою  
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой...  
Баю-баю-баю-баю!..

---

## ГЛАВА IV.

### У „ВЕЛИКОЙ МОГИЛЫ“.

Нужны намъ великія могилы,  
Если нѣтъ величія въ живыхъ...

Тридцать лѣтъ тому назадъ, 30 декабря 1877 года, хоронили Николая Алексѣевича Некрасова. „День былъ ясный, но чрезвычайно морозный, — рассказываетъ очевидецъ. — Громадная толпа самаго пестраго народа сгруппировалась съ ранняго утра около квартиры, въ которой болѣе 20 лѣтъ жилъ Некрасовъ. Молча, спокойно, съ соблюденіемъ должной торжественности, ожидала публика гроба на улицѣ, около самаго подъѣзда. Ровно въ 9 часовъ толпа *молодыхъ* людей вынесла гробъ на рукахъ. Впереди гроба несли вѣнки съ девизами изъ стиховъ покойнаго, и процессія двинулась по Литейной къ Загородному проспекту. *Громадная масса народа*, скучившаяся вначалѣ на одномъ мѣстѣ, стала постепенно растягиваться и, по мѣрѣ движенія процессіи, раздѣлилась на двѣ главныя группы. *Во главѣ процессіи шла молодежь*, сзади гроба двигалась толпа изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ нашего общества. Въ передовой группѣ молодежи можно было видѣть *представителей почти вѣсѣхъ учебныхъ заведеній*: студентовъ университета, медицинской академіи и другихъ специальныхъ заведеній и воспитанницъ женскихъ курсовъ и гимназій. *Молодежь, схватившись за руки образовала цѣпь* четырехугольникомъ. *Въ серединѣ этой цѣпи впереди другихъ шли двѣ крестыянки* въ полушубкахъ и несли небольшой *вѣнокъ изъ зелени* съ надписью: „Отъ русскихъ женщинъ“, высоко поднявъ его надъ головою. По временамъ ихъ смѣняли другія женщины. За ними *следовали студенты и воспитанницы съ громадными вѣнками изъ живыхъ цвѣтотъ*. На одномъ вѣнкѣ была надпись: „Слава печальнику горя народнаго“, на другомъ: „Некрасову студен-

ты“, на третьемъ: „Безсмертному пѣвцу Некрасову“, и на четвертомъ: „Некрасову соотрудники“. Сейчасъ же сзади цѣпи шель хоръ студентовъ, пѣвшихъ не переставая вплоть до моилы молитвы и духовныя пѣсни. По обѣимъ сторонамъ этой группы ѣхало по одному жандарму. Затѣмъ шель священникъ съ діаконами, и, наконецъ, та же молодежь несла гробъ, постоянно смѣняя другъ друга. Сзади гроба двигалась толпа, состоявшая, кажется, изъ всѣхъ находящихся въ Петербургѣ литераторовъ, артистовъ и художниковъ, адвокатовъ, профессоровъ и пр.“<sup>1)</sup>

Не правда ли, эта „своеобразная картина“ производитъ впечатлѣніе величественнаго символа: „у гробового входа младая будетъ жизнь играть...“

Встали—не бужены,  
Вышли—не прошены...

Рать подымается  
Неисчислимая,  
Сила въ ней скажется  
Несокрушимая!

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и забитая,  
Ты и всесильная,  
Матушка Русь!

Думается, и теперь, 30 лѣтъ спустя, толпа, окружающая Некрасова, мало измѣнилась въ своемъ составѣ и даже расположеніи: впереди молодежь, въ которой идутъ и тѣ, кому посвящены мечтанія поэта. Все еще мало ихъ, „лапотниковъ“, но съ каждымъ годомъ все больше, и, прежде одинокіе, теперь они смыкаются въ ряды, которые становятся все гуще. Сзади неопредѣленная толпа, въ которой преобладаютъ разночинцы-интеллигенты.

Попробуемъ разобраться въ сложномъ настроеніи этой толпы „неизвѣстныхъ друзей“.

Что влекло и влечетъ къ Некрасову молодежь? „Когда по окончаніи Крымской войны,—говоритъ Л. Мельшинъ<sup>2)</sup>),—всѣмъ стало ясно, что идти дальше по пути мрака и застоя Россія не

<sup>1)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“, 1877 г., № 336, 31 декабря. Привед. у Пяпина, назв. соч., стр. 280—281. Курсивъ вездѣ мой.

<sup>2)</sup> „Очерки русской поэзіи“, стр. 167.

можетъ, не рискуя своимъ историческимъ существованіемъ, общество русское вдругъ поняло, что есть *нѣкто*, чьи интересы въ тысячу разъ важнѣе для блага и счастья родины, чѣмъ интересы небольшой своекорыстной кучки дворянъ. То былъ великій историческій моментъ... Могучая общественная волна подняла и Некрасова; въ поэзіи его, болѣе свободно звучащей теперь, чѣмъ въ сороковые годы, появились новыя—то гнѣвныя, то восторженныя ноты...—Одно за другимъ стали выходить въ свѣтъ наиболѣе сильныя и характерныя его произведенія“. Этимъ произведеніямъ, по словамъ Л. Мельшина, принадлежитъ „видная роль“ „въ возникновеніи и развитіи того замѣчательнаго идеалистическаго движенія въ нашей литературѣ, которое извѣстно подъ именемъ народничества. Не даромъ такъ любилъ Некрасова одинъ изъ главныхъ его представителей—Г. И. Успенскій“<sup>1)</sup>.

Чтобы ближе опредѣлить ферменты этого движенія, я приведу небольшую выдержку изъ одного некролога, набросаннаго подъ живымъ впечатлѣніемъ „скорбнаго извѣстія“. „Молодое поколѣніе,—говорилось въ немъ,—прежде всего запоминало стихи Некрасова и по нимъ училось сочувствовать народному горю и сознавать свои гражданскія къ народу обязанности... Выступая на поприще своего гражданского служенія, поэтъ, оглядываясь вокругъ себя, имѣлъ полное право сказать глубоко выстраданныя слова:

Въ насъ подъ кровлею отеческой  
Не запало ни одно  
Мысли чистой, человѣческой  
Плодотворное зерно.

Это-то зерно человѣческой мысли и насаждалъ Некрасовъ всею своею литературною дѣятельностью“.<sup>2)</sup>

Къ глубокой скорби лучшихъ сыновъ Россіи, все еще не перестала быть „страна родная“ для нихъ „постоялымъ дворомъ“; все еще „тянетъ пѣсенку“ свою, хотя и „черезъ силу“, та „нянюшка“, что „у двора у постоялаго... сидитъ“:

„Ниже тоненькой былиночки  
Надо голову клонить,  
Чтобъ на свѣтъ сиротиночкѣ  
Безпечально вѣкъ прожить.  
Сила ломить и солomuшку,—  
Поклонись пониже ей...“

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> „Бирж. Вѣдом.“, 1877, № 334, см. у Пыпина назв. соч., стр. 276—277.

И пока будетъ звучать эта „пѣсня безобразная“, пока будетъ „катиться шутя жизнь привольная и праздная“ тѣхъ, „кому на Руси жить хорошо“, насчетъ „суровой доли“ „убогаго и темнаго роднаго уголка“, „гдѣ трудно дышится, гдѣ горе слышится“,— до тѣхъ поръ не перестанетъ отдаваться въ чуткихъ молодыхъ сердцахъ „пѣсня Еремушкѣ“:

Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ  
Душу вольную отдай,  
Человѣческимъ стремленіямъ  
Въ ней проснуться не мѣшай.

Будешь рѣдкое явленіе,  
Чудо родины своей;  
Не холопское терпѣніе  
Принесешь ты въ жертву ей:

Съ ними ты рожденъ природою,  
Возлелѣй ихъ, сохрани!  
Братствомъ, Равенствомъ, Свободою  
Называются они.

Необузданную, дикую  
Къ угнетателямъ вражду  
И довѣренность великую  
Къ безкорыстному труду.

Волюби ихъ! На служеніе  
Имъ отдайся до конца!  
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,  
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

Съ этой ненавистью правую,  
Съ этой вѣрою святой  
Надъ неправдою лукавою  
Грянешь Божьею грозой...

„Выучи наизусть и вели всѣмъ, кого знаешь, выучить пѣсню Еремушкѣ Некрасова,—писаль Добролюбовъ своему пріятелю, И. И. Бордюгову.—Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но *идутъ прямо къ молодому сердцу, не совѣмъ еще погрязшему въ тинь пошлости*“ <sup>1)</sup>. Вотъ гдѣ, по свидѣтельству одного изъ самыхъ „честныхъ“, неумиряющее начало того „живого, кровнаго союза“ между писателемъ и „честными сердцами“, о которомъ говорилъ умирающій Некрасовъ.

Все еще „среди міра дольняго для сердца вольнаго есть два пути“ и, пока они будутъ, не потеряетъ своей силы „святая пѣсня“ поэта, его вдохновенный и вдохновляющій призывъ—„взвѣситъ силу гордую, взвѣситъ волю твердую—какимъ итти“.

Одна просторная  
Дорога—торная...  
Страстей раба,

---

<sup>1)</sup> Добролюбовъ говоритъ далѣе: „Боже мой, сколько великолѣпныхъ вещей могъ бы написать Некрасовъ, если бы его не давила цензура“. И, чтобы показать, въ какую сторону гнула цензура „тягучій стихъ“ Некрасова, Добролюбовъ исправляетъ „опечатки“: напечатано „истиной“, надо читать „равенствомъ“, напечатано „къ лютой подлости“, надо читать „къ угнетателямъ“. См. „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, т. I, стр. 534. Мною выдержка взята у проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго: „Исторія русской интеллигенціи“, М., 1906, ч. I, стр. 382.



По ней громадная,  
Къ соблазну жадная,  
Идетъ толпа.  
О жизни искренней,  
О цѣли выпренной  
Тамъ мысль смѣшна;  
Кипитъ тамъ вѣчная  
Безчеловѣчная  
Вражда—война  
За блага брѣнная;  
Тамъ души плѣнныя  
Полны грѣха;  
На видъ блестящая,  
Тамъ жизнь мертвящая  
Къ добру глуха..  
Другая тѣсная,  
Дорога честная.  
По ней идутъ  
Лишь души сильныя,  
Любвеобильныя  
На бой, на трудъ  
За угнетеннаго,  
За обойденнаго..  
Умножь ихъ кругъ,  
Иди къ униженнымъ  
Иди къ обиженнымъ  
И будь имъ другъ! <sup>1)</sup>

Эти „святыя пѣсни“ „идутъ прямо къ молодому сердцу, еще не погрязшему въ тинѣ пошлости“. Такъ говорилъ о Некрасовѣ „праведникъ“, который умиралъ, „спокойный душою“, „оттого что былъ честенъ“. Ему мы не можемъ не вѣрить. *Similia similibus*, слѣдовательно, такія пѣсни могли выйти лишь изъ „молодого сердца, еще не погрязшаго въ тинѣ пошлости“, пусть и „прилипала“ къ нему порой „дрянь“ жизни. Вотъ за что любило, любитъ и будетъ любить Некрасова „племя молодое“...

Не случайно собралась у могилы Некрасова и разночинная интеллигенція: въ томъ „глубокомъ страданіи“, отпечатокъ котораго, по словамъ очевидца, лежалъ на почившемъ, было что-то „преклоняющее на жалость“ и „пронзающее“ всякаго, кто, „черствѣя съ каждымъ годомъ“, умѣлъ въ душѣ своей спасти любовь къ странѣ своей родной. Въ этомъ безмолвномъ страданіи слышалась мольба о состраданіи: „Я братъ твой“...

---

<sup>1)</sup> Этотъ вариантъ „пѣсни“ взятъ мною изъ книги Л. Мельшина „Очерки русской поэзіи“, стр 190.

...не забудь,  
Кто выдержалъ то время роковое,  
Есть отъ чего тому и отдохнуть.  
Богъ на помочь! Бросайся прямо въ пламя  
И погибай!  
Но кто твое держалъ когда-то знамя,  
Тѣхъ не пятнай!

„Будь Некрасовъ человѣкъ въ моральномъ отношеніи обыкновенный,—говоритъ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій,—онъ не испытывалъ бы тѣхъ ужасныхъ терзаній совѣсти, о которыхъ свидѣтельствуемъ Михайловскій. Мало того: въ его поэтическомъ наслѣдіи не доставало бы тогда какъ разъ самаго главнаго—его „покаянной поэзіи“, т. е. его лучшихъ созданій („Рыцарь на часъ“ и др.), которыя навсегда останутся въ нашей литературѣ. Но и это еще не все: не будь Некрасовъ натурою моральною и человѣкомъ великихъ мученій совѣсти и великаго покаянія, онъ не былъ бы поэтомъ народничества, народнаго горя, и онъ, этотъ „моральный грѣшникъ“, не посвятилъ бы своихъ силъ и дарованій служенію высокимъ идеаламъ, которымъ беззавѣтно отдали жизнь свою Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ, эти праведники, творившіе мораль, донинѣ насъ животворящую“ <sup>1)</sup>).

Думается, я не буду неправъ, если скажу, что „въ наши великіе трудные дни“ покаянныя нѣсни Некрасова получаютъ особую силу; онѣ „зовутъ, и рыдаютъ, и хватаютъ за сердце“; „укоръ и поученье въ нихъ“, гнѣвомъ и скорбью втѣсняются онѣ въ сознание русскаго интеллигента, и властно требуютъ, чтобы онъ „сурово совѣсть допросилъ“. Будемъ искренни. Развѣ „недавнее время“, „благодатное время надеждъ“ не стало и для насъ уже прошедшимъ?

Приводя наше прошлое въ ясность,  
Проклиная безправье, безгласность,  
Произволь и господство бича,  
Далеко мы зашли сгоряча...

... Но гдѣ же ты, сила?

Все, что въ сердцѣ кипѣло, боролось,  
Все лучъ блѣднаго утра спугнуль  
И насмѣшливый внутренній голосъ  
Злую пѣсню свою затулуль:  
„Покорись—о, ничтожное племя!—  
Неизбѣжной и горькой судьбѣ;  
Захватило васъ трудное время

<sup>1)</sup> „Исторія русской интеллигенціи“, ч I, стр. 387.

Неготовыми къ трудной борьбѣ...  
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,  
Но для дѣла вы мертвы давно;  
Суждены вамъ благіе порывы,  
Но свершить ничего не дано...

„Рыцарь на часъ“... Вотъ это „пронзающее“ и вмѣстѣ „преклоняющее на жалость“... Въ этой „безконечно-трогательной жалобѣ-молитвѣ“ „погибающаго сына“ къ „родимой“—и безпощадный судъ, мучительная казнь, и страшные стоны изстрадавшейся души, и горячая мольба о прощеніи, и громкій крикъ о помощи, и вдохновенно торжественныя увѣренія...

Повидайся со мною, родимая!  
Появись легкой тѣнью на мигъ!...

Я кручину мою многолѣтнюю  
На родимую грудь изолюю,  
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,  
Мою горькую пѣсню спою.  
О, прости! то не пѣснь утѣшенія,  
Я заставлю страдать тебя вновь,  
Но я гибну—и ради спасенія  
Я твою призываю любовь!  
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,  
Чтобы кроткія очи твои  
Смыли жаркой слезою страданія  
Всѣ позорныя пятна мои!  
Чтобъ ты силу свободную, гордую,  
Что въ мою заложила ты грудь,  
Укрѣпила ты волею твердою  
И на правый поставила путь...

Треволненья мірскаго далекая,  
Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ,  
Русокудрая, голубоокая,  
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ,  
Подъ грозою величаво-безгласная—  
Молода умерла ты, прекрасная,  
И такой же явилась ты мнѣ  
При волшебнo-свѣтящей лунѣ.  
Да! я вижу тебя, блѣднолицую,  
И на судъ твой себя отдаю.  
Не робѣть передъ правдой-царицею  
Научила ты Музу мою;  
Мнѣ не страшны друзей сожалѣнія,  
Не обидно враговъ торжество,—  
Нареки только слово прощенія,  
Ты, чистѣйшей любви божество!

Что умѣлъ онъ любить...

Что враги? пусть клеветуютъ язвительнѣй,  
Я пощады у нихъ не прошу:  
Не придумать имъ казни мучительнѣй

Той, которую въ сердцѣ ношу!  
Что друзья? наши силы не равныя:  
Я ни въ чемъ середины не знаю,  
Что обходятъ они, хладнокровныя,  
Я на все безразсудно дерзалъ;  
Я не думалъ, что молодость шумная,  
Что надменная сила пройдетъ—  
И влекла меня жажда безумная,  
Жажда жизни—впередъ и впередъ!  
Увлекаемъ безславною битвою,  
Сколько разъ я надъ бездной стоялъ.  
Поднимался твоею молитвою,  
Снова падаль—и вовсе упалъ!  
Выводи на дорогу тернистую!  
Разучился ходить я по ней,  
Погрузился я въ тину нечистую  
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.

Отъ ликующихъ, прайдно болтающихъ,

Обагряющихъ руки въ крови  
Уведи меня въ станъ погибающихъ  
За великое дѣло любви!

Тотъ, чья жизнь бесполезно разбилася,  
Можетъ смертью еще доказать,  
Что въ немъ сердце не робкое билося,

„Рыцарь на часъ“... эти огненные слова „жгутъ сердце“ всякому, кто „по дорогѣ тернистой“ „разучился ходить“ и „погрузился въ тину нечистую мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей“, но въ комъ „душа очерствѣтъ“ и „сердце остынуть“ еще не успѣли, кто еще умѣетъ молиться „Богу добра и любви“,

Чтобы простилъ, чтобъ заступился,  
... Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ...

„Рыцарь на часъ“... Невольно поднимается въ памяти этотъ „печальный образъ“ и въ его укоризненно-скорбномъ взглядѣ, какимъ онъ смотритъ на насъ, „одинокихъ, потерянныхъ“, „подъ берегами ведро прождавшихъ“,—въ этомъ взглядѣ есть что-то „рѣжущее глаза“, какъ будто онъ хочетъ сказать: „Да я ли одинъ? Смотри: Михайловъ, Петровъ, Семеновъ, Алексѣевъ, Степановъ... не пересчитаешь: наше имя легіонъ!..“

„Какая странная судьба этого изумительнаго стихотворенія Некрасова,—говоритъ Михайловскій о „Рыцарѣ на часъ“,—которое, если бы онъ даже ни одной строки больше не написалъ, обезпечило бы ему „вѣчную память“ и которое едва ли кто-нибудь, по крайней мѣрѣ, въ молодости, могъ читать безъ предсказанныхъ поэтомъ „внезапно хлынувшихъ слезъ съ огорченнаго лица“. Мнѣ вспоминается одинъ вечеръ или ночь зимою 1884 или 1885 года. Я жилъ въ Любани, ко мнѣ пріѣхали изъ Петербурга гости, большею частью уже не молодые люди, въ томъ числѣ Г. И. Успенскій. Поговорили о петербургскихъ новостяхъ, о томъ, о семъ; потомъ кто-то предложилъ по очереди читать. Г. И. Успенскій выбралъ для себя „Рыцаря на часъ“. И вотъ: комната въ маленькомъ деревянномъ домѣ; на улицѣ, занесенной снѣгомъ, мертвая тишина и непроглядная тьма; въ комнатѣ, около стола, освѣщеннаго лампой, сидитъ нѣсколько человекъ, повторяю, большею частью не молодыхъ; Глѣбъ Ивановичъ читаетъ; мы всѣ слушаемъ съ напряженнымъ вниманіемъ, хотя наизусть знаемъ стихотвореніе. Но вотъ голосъ чтеца слабѣетъ, слабѣетъ и—обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминаніе. Но вѣдь оно, пожалуй, даже не личное. По всей Россіи вѣдь разсыпаны эти деревянные домики на безмолвныхъ и темныхъ улицахъ, по всей Россіи есть эти комнаты, гдѣ читаютъ (или читали?) „Рыцаря на часъ“ и льются (или лились!) эти слезы“... Затѣмъ, указавши на то, что до самой смерти Некрасова это стихотвореніе оставалось совершенно нетронутымъ критикой, Михайловскій про-

должаетъ: „Что же это значить? То ли, что многочисленныя враги Некрасова не смѣли коснуться этой блестящей безпощадной искренностью поэтической жемчужины, а еще болѣе многочисленныя друзья и почитатели благоговѣйнымъ молчаніемъ выражали свое уваженіе къ интимной сторонѣ житейской драмы, воплощенной въ этомъ воплѣ души?.. Во всякомъ случаѣ „неизвѣстный другъ“, приславшій Некрасову въ трудную минуту его жизни ободряющее стихотвореніе, былъ правъ, когда, перечисливъ обращаемыя къ поэту упреки, говорилъ:

„Но отчего жъ весь міръ сильнѣй любить  
Мнѣ хочется, стихи твои читая?  
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?  
Не можетъ быть!“<sup>1)</sup>

И долго, долго еще эту „жемчужину“, „воплемъ жалобнымъ и стономъ“ переливающуюся въ нашей душѣ, будутъ читать тѣ, чье „сердце надрывается отъ муки“, „внемля въ мірѣ царяшіе звуки барабановъ, цѣпей, топора“,—тѣ, кого „совѣсть больная“ тревожитъ,—тѣ, кто любитъ отчизну, но у кого нѣтъ „силы желѣзной“—„жить для нея“, „нѣтъ „воли желѣзной—сгинуть“:

Нужны намъ великія могилы,  
Если нѣтъ величія въ живыхъ.

Нужны и дороги особенно теперь, въ „часъ отлива“, когда

Смокли честныя, доблестно пѣвшіе,  
Смокли ихъ голоса одинокіе,  
За несчастный народъ вопіяшіе...  
Но разнузданы страсти жестокія,  
Вихорь злобы и бѣшенства носится  
Надъ тобою, страна безотвѣтная:  
Все живое, все честное косится...  
Слышно только, о ночь неразсвѣтная,  
Среди мрака, тобою разлитого,  
Какъ враги, торжествуя, скликаются...  
Такъ на трупъ великана убитого  
Кровожадныя птицы слетаются,  
Ядовитыя гады сползаются!..

Теперь о третьей группѣ въ толпѣ, окружающей писателя, о тѣхъ, чьи „страданія воспѣть“ считалъ своимъ призваніемъ Некрасовъ, о тѣхъ, кто былъ „конькомъ обычнымъ“ его „угрюмой музы“, о тѣхъ, кто въ поэтическихъ мечтахъ „печальника горя

<sup>1)</sup> „Русское богатство“, февраль, 1897. Мною выдержка взята у Л. Мельшина, цит. соч., стр. 109—110.

народнаго“ занимает такое центральное и большое мѣсто, чьи страданія „были въ глазахъ Некрасова какъ бы символомъ страданій всего русскаго народа“,—о мужикѣ.

Какъ только обозначился ясно въ сознаниі поэта-гражданина „тернистый путь“, которымъ долженъ былъ идти его Пегасъ съ крапивою въ размашистой гривѣ, Некрасовъ понялъ, что „дворянскому роду“ онъ не придастъ „блеска“ лирой своей, и „посвятилъ мечтанія“ свои народу. Вотъ очень характерный эпизодъ, рассказанный Головачевой-Панаевой въ ея „Воспоминаніяхъ“. Въ 1847 г. появилось стихотвореніе Некрасова „Бѣду ли ночью по улицѣ темной“. Какъ-то И. С. Тургеневъ и В. П. Боткинъ сказали Некрасову, что свѣтская изящная женщина не нашла поэзіи въ этомъ стихотвореніи. Некрасовъ на это отвѣтилъ:

„Пусть не читаетъ моихъ стиховъ свѣтское общество,—я не для него пишу“.—„Значить ты, любезный другъ, пишешь для русскаго мужика, но вѣдь онъ безграмотен!“ язвительно замѣтилъ В. П. Боткинъ.

— Мнѣ лучше тебя извѣстно, что есть много грамотныхъ мужиковъ, да и скоро русскій народъ поголовно будетъ грамотенъ, несмотря на то, что у него нѣтъ учителей.

— И будетъ выписывать „Современникъ“,—улыбаясь произнесъ И. С. Тургеневъ.

— Bravo, bravo, Тургеневъ!—воскликнулъ В. П. и съ сожалѣніемъ въ голосѣ продолжалъ:—Ай, ай, любезный Некрасовъ, поразилъ ты насъ: такой практическій человѣкъ—и вдругъ такая маниловщина въ тебѣ.

— Имѣете право потѣшаться надо мной!—мрачно отвѣтилъ Н. А. Некрасовъ.—Я васъ еще болѣе потѣшу и удивлю, если выскажу вамъ свою откровенную мысль, что мое авторское самолюбіе вполне было бы удовлетворено, если бы, хотя послѣ моей смерти, русскій мужикъ читалъ мои стихи“.

За этимъ „хотя послѣ смерти моей“ чувствуется, пусть и не крѣпкая, надежда найти этого читателя еще при жизни. Этой надеждѣ не суждено было исполниться, и оттого-то, умирая, Некрасовъ видѣлъ себя „настолько же чуждымъ народу“, какъ и тогда, когда „жить начиналъ“. Но, „вѣруя въ народъ“, онъ оставилъ своимъ друзьямъ завѣщаніе:

Вамъ же—не праздно, друзья благородные,  
Жить, и въ такую могилу сойти,  
Чтобы широкіе лапти народные  
Къ ней проторили пути...

Эти „друзья благородные“ не остались въ долгу передъ „пѣвцомъ народныхъ золь и бѣдъ“; убѣжденно, а потому и убѣдительно, они говорили умирающему другу-учителю:

Напрасно мнишь, что ты и жилъ  
И умираешь нелюбимъ  
Никѣмъ, что рокъ тебѣ судилъ  
Народу быть всегда чужимъ.  
Пѣвецъ народныхъ золь и бѣдъ,  
Пѣвецъ крестьянскаго труда,  
Ты былъ намъ дорогъ съ дѣтскихъ лѣтъ—  
И будешь дорогимъ всегда.  
И наша „сѣрая“ толпа  
Тебя когда-нибудь прочтетъ,  
Отъ „лаптя“ бѣднаго тропа  
Къ тебѣ, повѣрь, не зарастетъ...

Тридцать лѣтъ прошло отъ того печальнаго дня, когда положили „надгробный камень“ на „душную могилу“ Некрасова. Тридцать лѣтъ!.. А все еще не проторили къ ней пути „широкіе лапти народные“... Все еще не уступилъ свѣту „мракъ упрямый“, и „надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой“ не „пѣсенка“ Некрасова слышится, а тотъ „стонъ“, что „у насъ пѣсней зовется“. До народа, для котораго она слагалась, все еще „не дошла“ она, эта пѣсня „мести и печали“. Все еще не самъ онъ читаетъ ее, а какъ и прежде, „распѣваетъ съ чужого голоса“.

Почему? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ одно стихотвореніе, посвященное памяти Некрасова и появившееся вскорѣ послѣ его смерти:

Тьма безпросвѣтная, грусть безысходная,  
Скоро ль вамъ будетъ конецъ?  
— Знаешь ли, масса народная,  
Умеръ твой дивный пѣвецъ?

Тихо. Повсюду молчанье могильное..  
— Какъ намъ, кормилецъ, то знать?  
Хлѣбушка вотъ до весны лишь хватило бы,  
Гдѣ ужъ тутъ книжки читать!..

И все же среди „неизвѣстныхъ друзей“ Некрасова мужиковъ годъ отъ году становится больше. Просвѣщеніе, какъ ни боятся его, какъ ни гонять его свѣтогасители, которымъ вреденъ свѣтъ, проникаетъ въ среду крестьянства и борется съ „мракомъ упрямымъ“, и одолеваетъ его. И все виднѣе дѣлается народу его „суровая доля“, и все милѣе и ближе ему „печальники“ его страданій. Поэтому слѣдуетъ признать безусловно вѣрнымъ

взглядъ на будущее „музы мести и печали“, высказанный едва ли не лучшимъ ея цѣнителемъ, Мельшинымъ: „Если бы даже,—говорить онъ,—на „верхахъ“ нашей много всякихъ видовъ выдавшей интеллигенціи и дѣйствительно можно было подмѣтить охлажденіе къ музѣ мести и печали, то жизнь съ каждымъ днемъ все замѣтнѣе выдвигаетъ впередъ новаго, свѣжаго читателя, могучаго какъ своей численностью, такъ и всепобѣждающей вѣрой въ торжество свѣта и правды. Не сегодня-завтра этотъ новый читатель заполнитъ всю жизненную сцену, и никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что для Некрасова онъ явится читателемъ-другомъ... Жажда правды—вотъ настроеніе, которое одно имѣетъ подъ собой твердую почву. Свѣтлое и широкое будущее принадлежитъ поэтому великому „печальнику горя народнаго“, не устававшему твердить:

Пускай намъ говорить измѣнчивая мода,  
Что тема старая—„страданія народа“  
И что поэзія забыть ее должна,—  
Не вѣрьте, юноши, не старѣетъ она!

Да, къ сожалѣнію, эта „старая тема“—страданія народа—„не старѣетъ“. Долго не состарѣется и поэзія Некрасова. Больше того: еще впереди та пора, когда исполнится „чудная пѣсня“, какую „ангелъ свѣта и покоя“ пропѣлъ умирающему пѣвцу:

Дождись весны! Приду я рано,  
Скажу: будь снова человѣкъ!  
Сниму съ главы покровъ тумана  
И сонъ съ отяжелѣлыхъ вѣкъ,  
И музѣ возвращу я голосъ,  
И вновь блаженные часы  
Ты обрѣтешь, собирая колосъ  
Съ своей несжатой полосы...

„Вотъ честный-то сынъ своей земли! Больно подумать, что частныя уродливости этого характера для многихъ служатъ помѣхою оцѣнить этого человѣка... Какъ ни озлобляетъ противъ него все, что намъ извѣстно изъ закулиснаго и даже кое-что изъ его печатнаго, а все-таки въ результатѣ это благородная и въ русскомъ мѣрѣ самая гуманная личность—надо желать, чтобы по стопамъ его шли молодые писатели въ Россіи“.











Цѣна 1 р. 25 к.





7-10  
44674/12-8

PG 3436 .S65

Zastupniki narodnye :

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 040 738 564

DATE DUE			

**STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES**  
**STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004**





